

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

---

М О С К В А

1909 г. 3-й том. 0

Москва, Главлит А 56-820.

СТАТ — формат Б/5 176—250

---

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Леонид ЛЕОНОВ. — Соть, <i>роман</i> . . . . .	5
2. Ник. АСЕЕВ. — Белый берег, <i>стихотворение</i> . . . . .	77
3. Иван МАКАРОВ. — Остров, <i>рассказ</i> . . . . .	79
4. Ник. УШАКОВ. — Спешить, как мне, не надо счастливой де- вочки, <i>стихотворение</i> . . . . .	90
5. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентрль, <i>роман</i> . . . . .	91
6. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, <i>повесть</i> , продолжение . . .	115
7. ГОРЕВ. — Первый день, <i>рассказ</i> . . . . .	134
8. Марк ТАРЛОВСКИЙ. — Бахчисарай, <i>стихотворение</i> . . . .	141
9. Николай АССАНОВ. — Бигичи, <i>стихотворение</i> . . . . .	143
—————	
10. Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Первое покушение на В. И. Ленина 1 января 1918 г. . . . .	145

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. А. СОКОЛОВ. — Великие будни, <i>очерк</i> . . . . .	160
12. Борис АНИБАЛ. — Преступление работницы Прасловой, <i>очерк</i> . . . . .	180
13. Н. ШПАНОВ. — Северные очерки. I. Холгол — остров кумки .	185

### ЗА РУБЕЖОМ:

14. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной политики</i> . . . . .	203
15. Г. ГАУЗНЕР. — Наше чувство путешествия . . . . .	217
16. Вал. ДЫННИК. — Письмо из Берлина . . . . .	220

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Заметки журналиста . . . . .	227
18. А. ЛЕЖНЕВ. — Разговор . . . . .	245

	<i>Стр.</i>
19. Н. ЗАМОШКИН. — Важный шаг к мастерству (о книге П. Слетова «Мастерство») . . . . .	260
20. Августа РАШКОВСКАЯ. — Восстание против разума, <i>новинки французской литературы</i> . . . . .	265

**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**

Н. ВИЛЕНСКАЯ. — Вера Инбер «Так начинается день» . . . . .	263
Борис АНИБАЛ. — Р. Фраерман «Буря» . . . . .	269
Я. ФРИД. — М. Константэн-Вейер «Человек над своим прошлым»	269
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — М. Аронсон и С. Рейсер «Литературные кружки и салоны» . . . . .	270
А. БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ. — И. М. Файнгар «Америка и Европа в мировом хозяйстве» . . . . .	271

---

# С о т ь

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

1

**Л**ось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда. Стоя на раскинутых ногах, лось растерянно слушал свое сердце: С его влажных пугливых губ падали капли в ручей, рождая призрачные круги по воде. Вдруг он метнулся и канул в лесные сумраки, как камень в омут.

Об этой тайной водопойной тропке ведало, должно быть, все лесное жительство: так читалось по следам у ручья. Из-за дерева выступил корявый старичок. Кроме неба да желтых прошлогодних осок, в воде отразилась собачья шапка да длинные, не по тулову, руки, повисшие из рукавов. Вздывая ноздри, сердито внимал старичок оглушительному гомону пробужденья. В тот крайний час угасающего дня лес начинал хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду. Первыми застонали зяблики, и где-то в соседнем болотце, укромном месте птичьей любви, проникновенно отозвались бекасы. В позлащенной закатом высоте проплакала скопа о своих жертвах, нарождающихся по земле, горлинка навзрыд звала своего хохлатого супруга, гукнула выпь... и первая звезда, нежнейшая, явилась над болотом. Уже и на старичка простирался колдовской зуд весны, уже и сам готов был скакать и кататься заедино с обезумевшей птичью, но тут серный ветерок скользнул ему в ноздрю. Он чихнул, заморщился и отступил в тень. Стоит ноне сохлый можжучный кусток у ручья, и самой неистойвой весне не пробудить его.

Дебрь угрюмилась, замолкали любовные хоры, и только те беспечальные лесовые жители, которых успело пригреть апрелем, лениво копошились на своем пригорке. Перед лицом неслыханой беды они предавались суетливому волненью, и одни запирали бревнами входы, а другие прямо ложились навзничь, торопясь сразиться и погибнуть в борьбе. Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье. И хотя

лишь забава двигала рукою человека, они угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло. — Увадьев вынул палец из муравейника и понюхал: он пахнул терпким муравьиным потом.

— Двигай, двигай... — крикнул он спутникам своим на дорогу.

— Да гуж лопнул! — превесело отвечал возница, шаря в передке запасные веревочки. Все веселило его равнодушную старость: и лихая распутица, обязывающая к приятному безделью, и эта нерубленая синь, надежная броня от мирских треволнений, и эти, наконец, беспутные седы, которых он вез из одной неизвестности в другую. — Дорога!.. пропасть в ней крещеному, как собаке в ярманке. — Но он ухмылялся всей своей волосатой харей и, судя по азарту речи, всемерно одобрял эту зыбучую, родную грязь.

Телега плясала на ямах, спрятанных под водой, кнут задевал о ветви; Сузанне казалось, что лошаденка растягивается, передняя ее часть убегает куда-то в окончательное небытие, а нехитрое колесатое сооружение, именуемое подводой российского мужика, так и стоит на месте. Едучи в синюю мглу, Увадьев раздумчиво жевал почку, сорванную с придорожной крушинки; на языке долго держалась душистая, волнительная горечь. «Весна, — кисло думал он, — размазня чувств и душевная неразбериха...» и мысленно грозил ей кулаком. Он не любил гульливой этой бабы, которая безобразит на дорогах и голос которой простуженно клокочет ручьями; он вообще не любил ничего, что крошилось под грубым рубанком его разума, и если уцелел в его памяти какой-то весенний овражек, усеянный одуванчиками по скату, он стыдился этой, самой сбивчивой своей страницы. Зато и лес встречал без привета этих трех строителей людского блага. Густилась тьма, уже не оживала потревоженная тайна, дорога временами пропадала, и, хоть дразнили изредка остожины на полянках, все не объявлялось теплое жилье. Понуры, как черный манатейный монах, выходил на дорогу вечер.

Щурками от дремоты глазами Увадьев вглядывается в темноту, и воображением дурашливая овладевает сумятица. Продрогшие деревья обнимают друг друга, греясь в исполинских схватках. Темные глазки лесных хозяев перебегают в буреломе. Холод неуклюже копошится в рукавах, и Увадьев медленно догадывается, что девушка вправо от него совсем замерзла. Ее четкий и ненавистный профиль смутно мерцает под полями мужской шляпы; ее высокие сапоги до колен закиданы грязью. Он досадует, что с нею и десятками подобных ей суждено ему делить труды по великому начинанью. Его злит близость женщины, и он не верит, что это тоже власть весны.

— Водки хотите, товарищ?

Она оборачивается, почти испуганная его заботливостью:

— Спасибо, Увадьев, я не пью водки.

— Что же вы пьете когда промокнете?

— Я пью только молоко...

Она смеется уже не в первый раз, и ему хочется жевать свой негибкий язык. Тогда за спиной шевелится Фаворов, инженер, третий в подводе; не без словесной красоты он распространяется о Петре, который почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осушал пространное российское болото. «Не то, не то,—хочется кричать Увадьеву.—Твой Петр был кустарь, он не имел марксистского подхода...» И опять он ощущает свой язык как суконную стельку, в насмешку засунутую ему в рот. Так идут минуты, и теперь только один возница, наобум тыча кнутом во мрак, дивуется на фаворовское словотечение.

Глуше хлюпают колеса в колеях, меркнет свет в подорожных водах; хрипит надсадно правая чека, в нос вторгаются древние запахи ледяной сыри и разопревшего коня. Дремучее дремлет, утомясь недавним любовным припадком. Таинственно течет лесная ночь, и, как речная в заводи трава, ветви отклоняются по течению. Она в'едается все глубже, зараза сна. Мир опрокидывается, и все летит из-под ног. Склонясь к себе на мокрые колени, Увадьев дремлет, но и ночная его греза все о том же.

По бесплодным пространствам Соти несутся смятение и гомон сплава, а невдалеке, подобные чудовищным кристаллам, мерцают заводские корпуса; там, в шести огромных черных яйцах, в тишине укрощенного неистовства происходит медленное рождение целлюлозы. Двигутся зубчатые ленты из реки, влача на берег свою ежеминутную добычу; унывно поют стаккера, ссыпая в темные монбланы мокрый баланс, и Увадьеву любви вдвойне эти стальные, неоскудевающие руки. Сам он, Иван Абрамыч Увадьев, идет заводским полем сквозь знойкую северную непогодицу; одиночество томит и радует его. Ему навстречу огромным, машинным шагом, невозможным наяву, движутся Бураго и Ренне, отец Сузанны; они чему-то смеются и длинными пальцами указывают в него с высот своего страшного роста. До боли в шее он задирает голову, и ледяная изморось брыжжет ему в оголившееся горло. «Спешите, спешите, товарищи, вы строите социализм!» — кричит он вверх, стараясь прочесть в глазах их сокровеннейшие мысли. — «Тим-тим...» — басовито и бессмысленно отвечают те, оставляя Увадьева в томительном недоумении. Опять они идут, и сапоги их пожирают дорогу, как те каменные бегуны на бумажной фабричке, где он родился. «Тим-тим!» — нараспев говорит Бураго, вращая белками глаз, выпуклых, как яичная скорлупа, а Ренне вторит ему отрывистым и важным мычаньем. «Тим-тим...» — во внезапной ярости кричит и Увадьев, постигая по-своему смысл начавшейся игры, — «тим - тим!» И вот волшебством сна он шагает впереди них, подмигивая ближнему стаккеру, легко и мощно приподнятому над землей; и машина понимает... Потом рвется непрочная оболочка сна, и ознобляющий толчок возвращает Увадьева к яви.

Подвода стоит среди тесной поляны, и черная копна сена на ней, как высокая иноческая скуфья. Звезды пропали, точно ссыпала их в мешок все та же беспутная бабица и сама села на мешке. Дороги нет,

под ногами травянисто чвакает весна, и вот уже не разобрать спросонья, в котором веке происходит дело. Ель и ночь. Несколько поодаль Сузанна мужскими словами отчитывает возницу, который тем временем недрыми охапками натаскивает сена своей клячонке. Увадьев шатко идет к вознице; все еще заслоняют действительность громоздкие образы сна.

Уже не радует мужика вынужденная остановка:

— Эва, конек малость с дороги сошел.

— Сам-то где же был, тим-тим?

— Да там, где и ты: во снах рыбку удил!

Мгновенные злость борется в Увадьеве с дремотой:

— Не чуди, Пантелей. Это ты меня, а не я тебя нанимался везти в Макариху. Ищи теперь дорогу, чортова погонялка!

Мужик странно молчит и вдруг стремительно, не щадя добра, удаляет шапкой о землю:

— Тута, товаришш, ночевать станем. Нельзя ехать: заведут! У нас поехал один эдак-то, глянул, а колес-то под ним и нету...

Увадьев упруго вскакивает на передок:

— ...кланяйся деткам, Пантелей! — и уже шарит упавшие вожжи.

Держа лошаденку под уздцы и чуть не плача, мужик ведет подводу в крайний мрак ночного бора. Снопы ледяных брызг, хрустких на зубах, извергаются из-под колес. Лошаденка фыркает и шарахается чего-то, недоступного немощному глазу человека. Фаворова, который ушел искать дорогу, все нет; ему кричат, но он не откликается. Спичек нет, ибо курит только Фаворов, а Увадьев пятые сутки жует антикурительные леденцы. Ни ветра, ни неба, ни путеводных звезд на нем, и лишь где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель. Телега снова упирается в мрак; Увадьев, расставя руки, пытливо шарит тьму и не узнает сперва мокрой, волосатой щеки Пантелея.

— ... передеваюсь. Вера у нас такая: заплутался — надо кожу наизнанку вздеть. Ходят... ишь, ишь, выступает как! Эй, кто ...? — жалобно кричит мужик и, как ослепленный, вертит головой.

— Не ори, кому в эту пору в лес охота!

— Они везде, они — где подумал, там и ходят. У нас Пярково эдак-то зашел да двой сутки бездорожно и маялся. Напослед скитаний выдался он эдак на плешинку лесовую, видит: сидит воин на пенышке, лапоток обуват. Тут он сразу и смекнул, что Невский Александр...

— Беглый поди... — угрюмо косится Увадьев, и уже самому ему мнится, будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога.

— Не, скиток тут его... вот и бродит... Ну, а Пярково-то сам из солдат, подходит, кланяется — дескать, насчет путинки бы! А воин встал да как маханет его ручкой промеж бровов. Так у него руки-ноги дыбом и встали, у Пяркова-то. Из Епы он, вот святителю дух епинный и не понравился...

Приспустив козырек мехового картуза, Увадьев задумчиво жуёт карамельку:



— Деток-то много наковырял, дудкин сын?

— Четвертого ожидаю к покрову.

— Быть значит и детками дураками: вся порода в тебя осиновая. Езжай, букалище!..

Сам он, однако, идет вперед и осторожно, без предупреждения хватается смутительную ногу. Та хитра, она не вырывается, не убегает; она ждала нападения, и Увадьев держит лишь осклизлый, свежееобструганный брус. Тьму торопливо разгребают руки. Бревенчатый, на насыпи, не на нонешнюю совесть ставленный частокол охраняет сердце леса. В щелке меж кольев мерцает невзрачный огонек, поминутно заслоняемый веткой. Весна спустила своих псов; ветры, тихо скуля, ищут снег. Заблудившаяся телега гремит на выпученных корневищах и цепляется осями за стволы. Просека уводит вниз, и здесь является Фаворов; он напрасно пытается закурить: отсырелый табак не принимает огня. В недолгом свете спичек, негаданный, как наваждение, рождается кривой деревянный крест. На карте, которая в кармане у Фаворова, нигде не помечен этот тайный скиток.

Двое недружно бьют сапогами в ворота. Идут какие-то куски времени; ни окрика, ни псинаго лая, да и елозящих шорохов за воротами не отличить сперва от разнозвучных журчаний апреля. Потом в проеме квадратного оконца, прорубленного на высоте плеча, возникает рука с фонарем; а за нею тянется кудлатая рыжая голова в скуфейке. Глаза смотрят в глаза. Пантелей шумно крестится и кланяется огню.

— Пошто в ворота бубните?.. грабители аль грабленные?— дерзко кричит монашек; видение женщины ошеломляет его и понукает на эту стремительную дерзость.— Нам и собственных блох прокормить нечем!

— Отпирай, инженеры мы, — глухо говорит Фаворов и тычет пальцем в форменную свою фуражку.

Фонарь качается, и вся вселенная раскачивается вокруг него.

— Дозвольте, у игумена благословлюсь сперва...

Со стуком падает окошко, снова уныние и гулкой весенней капель. Карамелька во рту Увадьева пахнет скверными духами и прилипает к зубам; украдкой от Сузанны он отдирает ее пальцем. Ворота раскрываются настезь; сутулый и в рваном полушубке поверх манати. низко кланяется новоприбывшим. И уже не дерзко, а плачевно суетится в фонаре заморенный великопостный огонек.

— За молитв святых отец наших... помилуй нас!— Он напрасно ждет ответного аминя, и рыжий гневно потрясает фонарем, но тот отводит его в сторону повелительной рукой и новым поклоном извиняется за неразумие младшего.— Дорогу ищите?

— В Макариху плыли, гражданин игумен,—объясняет Увадьев.

— На полунощнице игумен... а в Макариху, эва, через реку. Только лед опаслив ноне: весь во швах да в промоинах. Сидеть вам тут до воды...—Исподлобья он смотрит на Сузанну, и, видимо, же-

ланье укрыть живых от непогоды превозмогает в нем запреты святителей вводить женщину в обитель.—Пожалуйте, в дом божий все вхожи...—Придерживая визгливую половинку ворот, он дает знак Пантелею ввести подводу.

Отсырелые постройки пахнут мокрым деревом и пронзительным весенним навозом. В крохотной звоннице медноголоса кричит ветер. Через грязь ведут высокие мостки. Непогода усиливается, и тем слаще терпкое тепло келий.

— Могильная у вас тишина, отец,—для почину говорит Увадъев.

— Приличествует монаху могила,—эхом вторит старик, смущая гостя новым поклоном.

— Вы не кланяйтесь, не становой... не люблю.

— Не тебе, а высокому облику, что тебе на подержанье дан, поклоняюсь!

Увадъеву хочется возражать много и увесисто, но распахивается дверь в тепло и сон... ослабшая рука покорно тянется к скобке. Рыжий монашек пропускает гостей вперед. Дверь закрывается, как прочитанная страница, и опять овладевает округой хлопотливая суетня весны.

## 2

Стоят леса темные от земли и до неба, а на небе ночь. Незримо глазу положен на небе ковш; ползет ковш ко краю, выливаются на жадную землю сон, покой и тишь. Мир спит, и никому неизвестно в нем про укрывшихся в длинных, приземистых избах черных мужиков. Было время, соловьиным щекотом встречал лес буйные весенние набеги, но состарилась лиственная молодь, одолела его могучая хвоя, и сны иные стали ночевать в их омраченных мудростью верхушках. В ту пору зеленой младости сошлись на этом месте блаженный Мелетий, который умер впоследствии, наколовшись о змею, да еще Спиридон, что значит круглая плетеная корзина. Бегунов из мира, приманила их девическая нетронутость места, они и стали зачинателями этой северной Фиваиды.

К ним, как ручейки к самородному озерку, притекали разные люди, которые тоже не нашли, чем обольститься на этой удивительной земле. Сбежались ручейки воедино, и вышла тихая, угрюмая река; ее истоки затерялись в людских низинках, а устьем приникла она к той обширной голубой чаше, откуда извечно утолял жажду ветхий человек. Жили бедно, жили впроголодь; гнали смолу, продавали меды на спасов, ибо монаху стыдно пчеловодом не быть, и долгие годы ни урядники ни богомольцы не нарушали обительского уединения. Ночными призраками, бездорожьем, ядовитыми воспареньями болот бог охранял свое гнездовье.

А потом проведали о спасенниках купцы, наезжали пожить наедине с нечистою душою и за недолгий постой дарили скиту мешок ядрицы, либо прибор столярный, либо конька пошелудивее, потому что не

храбровать же на нем монаху, либо ситцевых чернот, завалавшихся на складе, а один, именем Барулин, которого здесь и погребли, на медное било расщедрился, плиту в семнадцать пуд; в нее и били, благовествуя праздники или часы отдохновенья. Некрупный шел сюда купец, не удавалась обители мирская слава. Тогда хозяйственный Авенир завел старцев в скиту, и первые воистину обладали даром развязывать незамысловатые мужицкие узлы, а потом измельчало званье. попадали в него не по благодати, а по назначению, и ко времени великого скитского разорения состоял в старцах один лишь безногий Евсейко.

В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и путлял медведь, но в начале века, в голодный год, двинулись сюда переселенцы, и многие селились на угодьях, которые от века скитские водители почитали за свои. Так родилась Макариха на Соти, привольная Шоноха на Шуше, Ильюшенско на Голомянке да на Быче Лопский Погост. Сперва терпели вторженье, рассчитывая на их-то спинах и воздвигнуть обительскую славу, но мужик пер во множестве, голодный и плодущий, как небитая саранча. Последующие наставники, птенцы Авенировой выучки, уже воевали с настырными мужиками; и авва Сергей, к примеру, пойму через сенат оттягал, собираясь строить на ней конный завод, но помер в губернаторской канцелярии, где хлопотал о воспрещении рыбной ловли в Соти; падая, уже неживой, он схватил писаря за хохол да так и повалился вместе с писарем на пол. Не с того ли и началась гибель империи, которая для скита, без преувеличения, была крушением самой планеты. В тот же год, слегка побунтовав, мужики безобидно пахали скитские земли, рыбу же возили на продажу в городок; зимами, впрочем, они попрежнему хаживали через лед послушать протяжное иноческое пенье. Скит возвратился в прежнюю скудость.

...Стоят леса темные от земли и до неба, а на земле сон. Спит все, чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу отпев, спят боковы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, который безвыходно сидит в келье, как коряга; Феофилакт, всегда обсаженный, точно все обтирали руки об него; Ксенофонт, бегун с Афона; Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что значит чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня вопреки имени своему; Устин, всегда носящий пыль и ссадины на лбу; еще Филутий, Кукий, Пупсий и некоторые другие, помянутые в ином и лучшем месте. В угловой покосившейся келье спит на голых досках задушевный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которых проставлены заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обительских рублей; спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; спит, и кошка ему лысину лижет.

Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая

колоколена, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, Вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешены колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойкое утро духова дня, напоенное колокольным плеском и птичьим щебетом, ждет обитель губернаторского приезда... Богомольцами да всякой калечной паствой затоплена соборная площадь; по ней похаживают шустрые монастырские служки, сортируют народ, ибо равно и взору вышнего и земного начальства приятны умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние... и будто всех он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановой чешуей, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображен на стене собора, смягчает свой немилосердный, санкирный лик. Губернатора сопровождают чиновники с алчными лицами, чиновников сопровождают жены с желтыми складчатыми шеями, а жен их—вертлявые молодые люди, которые тоже без удовольствия улыбаются.

«Тим-тим,—приветственно говорит губернатор, кивая по сторонам,—тим-тим!» А Вассиану понятно, что это означает—«дать сему казнохранителю персидских изразцов на лежанку, с конями, цветами и воинами!» Он бежит чуть поодаль, Вассиан, и все смотрит, все смотрит, с умиленьем и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, что сейчас произойдут похороны, а покойник—это он и есть, шествующий впереди, нарядный и добротный сановник. «Тим-тим,—зябко шепчет Вассиан, кланяясь и забегая сбоку,—тим-тим!» И показывает, придерживая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырские деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» в захлебку звенят колокола; и даже нищий длепец, высунувший из толпы кружку под милостыню, воодушевленно лопочет свое гнусавое «тим-тим».

Уставясь в тьму, Вассиан лежит с открытыми глазами, и нет во тьме ответа смятенным Вассиановым запросам. Сообщница Вассианова уединенья, кошка, мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Вассиан зажигает свечу и уныло, как кляча вытертый свой хомут, обводит взором келью. Все в ней, от стоптанных ошметок у порога до подпалинки на иконе от упавшей свечи, вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, напрасно Вассиану даются ночи. Он берет с подоконника узкий ящик с землей; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улыбается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остатки своей жизни, и они произрастали у него в изобилии, достигая порой ошеломительных размеров.

— Неслыханно,—дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы.—Это уже не редька, а целый продукт!

— Нет,—себе на уме улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца.—А есть в этой земле нетронутая сила, и никто еще ее не раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел места на земле.

— Хлебушки-то у нас унылые,—возражал председатель, косясь на редьку, ибо па́хли у Вассиана овощи.

— Не умеете силу раскопать, живете, как цыган в палатке, без любви к месту, а все жадничаете, за боговым тянетесь...—И принимался за повествование, как он сжигал накорчеванные пни, как рыл водосточные каналы, а тощие, мытые пески ежегодно уваживал нечистотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пахло от Вассиана; в трапезной врыт был для него особый стол, который все обходили. «Он злак любит,—говаривал про него худительный брат Филофей.— Нюхнуть одинова, вовек не 'отплюешься!»

...А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на добровольное послушание. Туман напознал на берег, в природе торжественная начиналась ворожба. Он зашел за черпаком и корзиной, уже не пропуская жиж, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход по ямам. Шла середина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жудкую черноту, в которой иногда отражались звезды, и относил на грядки. Со старившись наедине с природой, он привык населять свою глушь существами, вычитанными из рукописных цветников; он привык угадывать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близился закат дня его, а все медлил тот, и не удавалась встреча.

Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи Тимолаевой, когда раздался крикот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, застегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотол казначею. Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том пространстве один предстоял Вассиан сбывшемуся своему мечтанью.

— Трудишься, отец?—полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку.—Видно, и у нас даром-то не кормят!

— Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей.

— Чего ж присматриваешься, аль признал?

— Ты бес...—путаясь в мыслях, сказал Вассиан.

— А бес,—чего ж не вопишь?—засмеялся тот, и туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды.

— Гласу нет...

Брезгливая горечь отразилась в лице беса:

— Ну, старайся, отец!—и, стуча по мосткам, сокрылся в тумане.

Внезапная немочь разлилась по телу казначея; спотыкаясь, он бежал по цельным грязям и вдруг, негаданным образом, оказался на бе-

регу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь еще тужилась и си-нела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на вет-вах, расстилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся в нем, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была разболтана когда-то вся последующая история людей, строительств и городов. Глухой треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка. Со страхом слушал Васиан ворчливое пробуждение реки... Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них; он тогда не знал, что на деле еще большая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чортом и монахом. Уже ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса звали Б у м а г а.

## 3.

Утром, заново вылупливаясь из небытия, вещи выглядели с наив-ной и несмелой новизною; вот также и человек тотчас по сотвореньи умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; слышалось в нем и сдержанное рычанье вод и тягучие жалобы лесов, напоенных предвещьем гибели; мягкий, как теплая вода, он озноблял. С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы вели-кой реки, долгие лесные версты текли извилисто, как бы отыскивая друг друга, и самое слияние их походило на робкое об'ятье двух раз-лученных однажды сестер. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, наверно, скитские старики. любоваться на закаты, величавые, как веч-ность.

Воистину краше Соти не обрести было Вассиану места на земле. Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пуга-ющее желание подняться над ними и лететь. Было холодно наедине с этой пустыней и с первобытным небом, повисшим над ней. Увадьев си-дел тут долго, изредка потирая охолодавшие руки и созерцая могучую синюю шерсть лесов, в которой только-что начали простригать дороги; он сидел неподвижно, точно пришитый гвоздями, и только приход Фа-ворова всколыхнул его оцепенение.

— Простор-то... прямо хоть апокалипсис новый пиши!—крикнул он с узкой ступенчатой тропки, внизу которой еще чернел на снегу костяк прошлогоднего парома.—Глаза ломит простором...

— Еще пиво хорошо тут пить, — минуту спустя откликнулся Увадьев.

Фаворов с кроткой неприязнью покосился на этого обмозоливше-гося человека, которым новорожденная идея замахивалась на обвет-шалый мир. Самого его восхищала всяческая пустыня своею отречен-ной красотой и еще той обманчивой свободой развития, которая су-ществует только в природе; он верил, что Увадьев одобрит ее лишь тогда, когда через нее, заасфальтированную, проедут на велосипедах.

загорелые смеющиеся комсомольцы, и со скукой отвернулся в сторону деревушки. Раскинутая на скатах небольшого холма, она цветом отсырелых кровель, державших кое-где клочья снега, удивительно напоминала разломленный ржаной ломоть, густо посыпанный солью.

— С'едим ломоток - то, — кивнул он потом на обреченную Макариху. — Смотрите, там разместится лесная биржа... вот, где баба идет с ведрами. Варочный корпус будет там, где собака. Стихия... не боязно?

— Ничего, глаза страшат, а руки делают, — все также односложно, не своими даже словами, ответил Увадьев, и Фаворов с любопытством обернулся.

Вкруг скамьи, по песку, еще рябому от апрельской капли, лежали узкие, немужские следы; Увадьев изучал их с тяжким и недоверчивым вниманием. Для обоих имя этой женщины, побывавшей тут часом раньше, звучало одинаково необыкновенно, но в одном оно посылало волнение почти такое же, как вот эти корявенькие, набухшие прутки бересклета, сбегавшего к реке, а другой был готов глумиться над ним, потому что в этом заключалась его единственная оборона. Вдруг Увадьев встал и мгновенно прислушивался к самому себе:

— Пойдем... пучит меня от ихнего гороху. — Горох в эту великопостную неделю был единственной едой в скиту, где порой и вода именовалась пищей.

...здесь-то, на опрятной дороге, засыпанной крупным вечным песком, и нагнал их посланец от игумена, тот неласковый рыбак, с которым познакомились ночью. Засунув руки за широкий кожаный пояс, деливший его злое и быстрое тело пополам, он остановился в нескольких шагах и выжидательно молчал.

— Подходи, парень, не бойся. Мы тоже живые... — бросил для начала Увадьев.

— Игумен велел на задушевную беседу привести...

— Душу мы тут спасать не собираемся! — подзадорил Фаворов.

— Значит губить ее собираетесь здесь?

Он кидал слова с небрежной силой и, раскидав свой запас, собрался бежать, но Увадьев задержал его мимолетным вопросом, и они пошли вместе.

— Парень молодой, тебе бы в миру куралесить!

— Ношу бремя мое, пока ног хватат, — недружелюбно усмехнулся монах.

— Что ж, в ногах ума нет. Как зовут-то тебя?

— Геласий я.

— Вот, и имя-то тебе какое приклепали чудное. Даже как-то на алюминий похоже!

— Геласий значит смеющийся, — резко и вызывающе сказал диакр.

Увадьев многозначительно переглянулся с Фаворовым:

— Над чем же ты смеешься, Геласий?

Тот понял насмешку, и рыжая грива его стала еще краснее. Теперь он шел прямо по грязям и наступал смаху, точно хотел забрызгать спутников своих.

— Над всем, что в мире! Жулики да дураки... за волосья друг дружку теребят, а правда так и лежит в сторонке... и красоты нет. В тебе что ль правда?—очень тихо спросил он, и Увадьев, дрогнув, заинтересованно покосился в его сторону.—Врешь, она не любит мордастых, она их за версту бежит, правда-то...

— Ага, вот какой оборот,—посмеивался Увадьев. Длинные бороды ползучего мха свисали с деревьев; сорвав одну из них, все старался он приспособить из нее хоть веревочку, но не удавалась веревочка никак.—А ты красоты да правды не в дырке этой ищи, а в живых. Живые-то в мире живут...—Ему все хотелось вывести разговор из закоулка на более просторную дорогу, и опять рвалась непрочная веревочка.

— Ноне и мертвые ходят,—жестко бросил Геласий, и худая рука его схватила воздух.—Там, где живому боязно, мертвому нипочем...—И, точно избегая Увадьевских возражений, он прыгнул в лес через канавку и пропал; только мелькнула черная скуфья, которой не под силу было сдерживать его вьющихся бунтовского цвета волос, да хрустнула по пути обломленная ветка.

— Люблю злых,—минуту спустя сказал Увадьев.—Тугая, настоящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, обиженных, поднимающих руку люблю.

— Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы, — непонятно пошутил Фаворов.—Люди этого не упрощают.

— Мое от меня не уйдет.

Просека кончалась. Дежурный вратарь, по-бабьи задрав рясу, подбежал к ним из сторожки подтвердить повеление игумена. Имея достаточно времени, они решили принять приглашение, а тогда к ним присоединилась и Сузанна. В последнюю минуту, однако, Фаворов чуть не отказался; нянька пугала его в детстве монахами, и он навсегда сохранил брезгливую неприязнь к людям, одетым в эти нелепые долгополые одежды. Кроме того, его делом было строить, а дробить и мять людскую глину он по справедливости предоставлял Увадьеву. Превозмогло то же самое любопытство, которое влекло и его спутников.

Четыре изгнивших ступеньки сводили к толстой двери в игуменскую землянку; было ясно: чем властней стучалась в эту дверь весна, тем исправней, разбухая от влаги, выполняла она свое назначенье. Сузанна гадливо толкнула ее ногой; но дверь открывалась наружу, и ей пришлось взяться рукой за осклизлое железо скобки. Не ладан, которого беспричинно боялся Увадьев, а тот кислый, как бы из капустной кади запах, когда мужики много и бездельно сидят в тесноте, пахнул ему в лицо. Кир, игумен, ждал не один, и Увадьев привычно, как на митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испытал легкое затруд-



нение. Вдоль бревенчатой стены, низкой и без единого окна, сидели старики, числом до двенадцати, водители и камни этой человеческой пустыни. Все они были носителями каких-нибудь душевных искривлений, пригнавших их сюда, и оттого Сузанна с изумлением видела ноздратые носы, вислые уши, пылающие глаза или, напротив, способные утушить пламя других глаз, огромные цынготные рты, разодранные немим криком, раздутые руки или руки такие выразительные в худобе своей, точно их подчеркнуто лепил иронический художник. Сам игумен толстыми закопченными пальцами оправлял пламя светца; огонь облеплял его пальцы, не замечавшие ожога.

— Здорово, отцы,—кивнул Увадьев, сгибаясь и пролезая в нору. Одновременно со спутниками он подумал, что игумен нарочно зазвал их в эту яму, где почти вопила скитская скудость.—Как попрыгиваете?—повторил он на всякий случай.

— Дрожим!—отвечали ему из глубины кельи.

— Немудрено, в эку щель залезли,—безобидно улыбнулся Увадьев.—Тут и мокруша поди чихает...

Все помолчали, пока гости усаживались на заранее поставленную для них скамью.

— Ты шапочку-то сыми, тута не простудишься. Эка надышали!—поскрипел ближний старик, и, хотя не слышалось пока ни вражды ни порицания, Увадьев решил не итти ни на какую уступку.

— Не сердчайте, граждане монахи. Голова у меня в войне контужена и от воздуха как бы дрожание на нее находит. Я иной раз и сплю в шапке, такое обстоятельство!—Он мельком взглянул на Сузанну, но та не одобряла, кажется, его выдумки.

Тут, шаркая стоптанными сапогами, сухонький монашек внес большой медный чайник; белый пар бился из носка. На растопыренных пальцах он держал стаканы по числу гостей; наспех обмахнув стол полой своей замусленной рясы, он налил в стаканы густого березового чая и поспешно удалился.

— Вот, грейтесь чайком. Хоть и ночные, а все гости,—поклонился Кир, придвигая три серых от времени куска сахара, сохранявшихся, видимо, вместе с рублями в обительской сокровищнице.—Самим-то нам правило не велит да и отвыкли...

— Чаек обожаю,—просто сказал Увадьев; соскоблив с куска грязцу и налипший на него русый волос, он неторопливо отправил его в рот.—Волос сладости не убавлят!—взмахнул он бровью, почитая и грязцу за нарочную выходку Кира.

— Вот и славно,—приветливо продолжал игумен,—давайте ознакомимся сперва. От века признавали мы берлогу по желтой проплешине в снегу под вывороченным корнем; советских людей по обличью признаем.—Он поклонился, как бы извиняясь за свое ненамеренное оскорбление.—А мы мужики. А до пострига зверя тут промышляли, лис били, лосей загоняли. Михейко, эва, у медведицы дитенка крал, она ему малость ляшку поела: так и хромат доселе на одно колено.—Ви-

димо, он волновался; пальцы его бегло обжимали пламя, как бы пытаясь вылепить из него знак, достаточный для устрашения Увадьева. — А сам-то я живописец был. И я исправный, сказывают, был живописец. Успенье, дорогой мой, в ноготь мог написать. Иконка, и молиться можно, а вся в ноготь. Шестнадцать человек, и каждый с личиком, и у каждого в глазку соседик отразился.

— Очень интересно, — молвил Увадьев, приступая к чаю. Он пил его с видимым удовольствием, невзирая на явный березовый привкус, пил не спеша, и даже легкая испаринка проступила у него по лбу. Игумену он не возражал до поры, справедливо угадывая, что карьере игумена предшествовала многолетняя деятельность скитского духовника.

— ... а сам я сюда пришел от неправды людской, — тянул Кир, озираясь на братию.—Братца у меня повесили, обожаемого братца. Удалили на Костроме...

— Кто ж его так нехорошо, братца вашего?..—вступил в беседу Фаворов.

— Кто!.. у кого власть, у того и петля. Царишко удавил, ему пределу нет.

— Правды что ль добивался? — недоумясь недавним разговором с Геласием, любопытствовал Фаворов.

Игумен засуетился; в движениях его скользнуло кратковременное раскаянье, что не воздержался от упоминания о братце.

— Как тебе сказать, дорогой мой?.. людишек он побивал. Ведь поискать, так и праведника в петлю вставишь. Без греховинки-то вон огонь един, да и тот жжется...—И опять он продолжал говорить, цветистой многословностью своей вызывая негодование братии, а Увадьев все пил и, бережно отставив в сторонку допитый стакан, принялся за другой, от которого отказался Фаворов.

Монахи терпеливо глядели ему в рот, напрасно выжидая, что вот он сам обнаружит, много ли власти возложено на него, много ли беды привез с собою. Волновались они не зря, уже творились в округе вещи, несообразные с древним обликом Соти. Еще с зимы в Макариху стали собираться многолюдные артели рабочих, которые тут же и расселялись по мужицким избам. Толком никто не знал, а десятники да техники лишь перемигивались на скороспелые тревоги черноризцев. Не меньше двухсот подвод, нанятых из окрестных деревень, ежедневно везли со станции бутовый камень, алебастр, железо всех сортов, паклю, стекло, гвозди; они везли и вязли в добротных российских грязях: распутица вконец раз'ела зимники. Одновременно с этим свыше четырехсот мужицких топоров да лопат прокладывали грунтовую дорогу на Шоноху, прочерченную каким-то сумасшедшим чертежником прямо через болотистые леса. Чуть не по колено в воде, тотчас за метчиками, шли рубщики, открывая мостовщикам и дерновщикам широкую, шестиметровую тропу; они безжалостно врубались в десь, от топоров переняв свою повадку, и там, где раньше щебетала птиць да путлял

сонливый зверь, встали нынче хлибкая брань да железный клетот. На виду у всех по слепительному весеннему насту ежедневно бродили кучки людей с треногами и все искали, все искали в трубках нивелиров тот безвестный лысый бугор с часовенкой, при которой от века существовал монах, собиравший даяния со всяких мимоезжих людей. Вечерами они возвращались злые и молчаливые; ели так, точно в утробе у каждого сидело по батальону солдат; спали так, что и пушками не пробудишь. Округа терялась в темных догадках, и даже сам Лука Сорокаветов, родитель макарихинского председателя, присяжный отгадчик мировых тайн, только руками разводил на запросы однодеревенцев. Явствовало лишь, что по проложенной дороге прикатит в скорости лютая машина, которая неминуемо пожрет и несусловную прелесть места, и тишину — наследие дедов, а вместе с ней и Мелетиево детище.

Еле переводя дыхание, Кир смотрел украдкой на эту невозможную глыбу, свалившуюся ему на голову, на его большие в темном пушке руки, такие же широкие в запястьях, как и в ладони, на его костистые, в роде наковален, колени и, хотя не делил с ним чайного удовольствия, такая же испарина проступала у него по лицу. А тот все пил, наевшись селедки в обед, и цвет его причудливо менялся, как у стали в закалке. «Эка, чай-то хлещет, ровно на каменку в бане льет!»

— Каки вас сюды ветры завеяли?—не вытерпел он, наконец.

— А нас не ветры, мы сами, — очень строго произнесла Сузанна, и все посмотрели на нее с осуждением, точно совершила явную непристойность.

— То-то, сами... Ты, бабочка, сиди; баба посля всех тварей сотворена была, не с тобой речь! — твердо обрезал игумен, а Увадьев даже от стакана оторвался, чтоб удостовериться, не начался ли уже скандал; все пока обстояло благополучно. — И Геласия-то сутемень напугали. Да и сами в страхе живем! Соглядатаи с трубами по полям ходят, в трубы ищут, а чего искать? Мест много, на все места людей нехватат!

— Мы не таких местов ищем, — вставил Увадьев, неуверенно берясь за третий стакан, и тотчас Кир оживился.

— Каких местов ищите?.. для поправки, так на Соленгу езжайте; там и калеки ходят, и бесплодны рожают, как поживут. Домой-те приедешь, а начальство и не узнает: рожате чисто вымя коровье станет... А коли охотных местов надо, так это на осьмидесятой отсоль версте, местность Креуша. Все идите, все идите, сперва сухопутьем, а там болотце встренется, вы и его прейдите! Добычники сказывают, лоси-то прямо на опушках табуняются...

— Рыжички там хороши, — нечаянно проговорился один с маленьким лицом, совсем увязшим в бороде, и вдруг зашелся в оглушительном простудном кашле.

— Рыжички тоже очень хорошо, — поддержал Увадьев, когда все пришло в прежнюю стройность.

Кир опустил глаза, а пальцы его стремительней побежали по лестовке.

— А то поживите бельцами у нас, молением да ладаном не поневолим. У каждого своя вера, как ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и черемухи запоют...—Он так и не заметил своей оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор; тоскливо и тускло светилась в нем беда. — Мятажно в скиту стало, и не вы, гости ночные, мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо везут, а мы не ропщем, а мы поем богу нашему, доньдеже есмы. Назад тому ста годов боле воздвиглась тут, у мочажков, черная Максимова изба, мать киновии нашей. А был Максим не барин, не штабский сын, не купцовой жены племянник, был он солдат беглый. Двадцать лет воевал врагов царских, не одну бадью крови отдал, а в отмену службы велено было забить Максимку палками, он и убег сюда, чтоб тут Мелетием зваться. Вот мы и живем, как вареники в масле, корье жуем да всяку лобуду лесную, еще воздухом дышим, за сырых бога молим, за помин рупь в год берем.. за ту единую вину нашу простите нас, гости ночные!..

— Чего ты юлишь, пускай они юлят да право свое покажут! — шепнул гневно ближний старик, несравнимо косматый. — Наше право вот оно... — и совал Фаворову в руки скрипучую грамоту с восковой печатью; в красном воске виднелась благословляющая рука.

Фаворов, посмотрев бумагу, сказал м е р с и и отдал назад.

— Бога-те отсель взашей, а на его место свояка посадишь? — бурчал все тот же старик. — Что ж, коли непьющий, может, и сойдет!

И тотчас, как по сговору, монахи засмеялись, задвигались, заговорили. Они всяко хаяли свое место, и один разумно указывал на дикость людей и лесов здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни царь, ни его верные псы не трогали священного убежища. Кто-то крикнул со стороны, что царь-де ременной плеткой стегал, а этот, поди, железную привез, и тогда сразу наступила тишина, точно перед строем в барабан ударили. Увадьев сосредоточенно жевал карамельку; подозревая, что скиток мог иметь крепкие корни в окрестных мужиках, он до времени избегал ссоры, но по лицу его достаточно было видно, что царишко ему не резон. Уже грозила нахлынуть буря на этот непроглядный человеческий лес, но тут неожиданно в действие вступил Фаворов, и развязка этой опасной встречи затянулась.

— А, кстати, что это такое, ваш бог? — заинтересовался инженер и полез, было, за папироской, но вспомнил исключительность места и вынул лишь носовой платок.

— Бог — это все, что есть, а чего нет — тоже бог, — спокойно сказал молчавший дотоле молодой монах, и Увадьев удивился, как это он проглядел его раньше. — Начало вещам — он, он же и конец, ему же и поклонись.

— Скажи, скажи им, Висарьон, — обрадованно сунулся Кир. — Порадуй батюшку!

— О несуществующем не может быть и мысли, — улыбочато метнулся Фаворов, соображая, про какого батюшку помянул игумен. — Но хорошо... ваш бог... имеет ли он вес, объем, величину?

— Нет.

— Что же он такое?

— Бог!

— Это Парменид, но только в русских смазных сапогах! — громко сказал Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в нем таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, чтоб уж не сдавался. — Где же он живет?

— Везде.

— Значит он постоянно движется?

— Нет, неподвижно божество и не подобает ему перебегать с мѣста на место. Тот, кто сам конечен, всему домогается конца найти...

— Ксенофан! — блеснул глазами Фаворов. Ему нравилась эта безрезультатная, годная хоть бы и для древней Александрии словесная прятка. До начала большой работы оставались еще несколько дней ледохода, и он не прочь был размять в этом споре затекшие от скитской скуки мозги. — Что же он делает или чего жаждет он?..

— Жажда — смертности нашей основа. Он не имеет жажды.

— Значит он мертвый?

— Нет, но вечный... — скрипел фаворовский противник, заслоняясь испытанными элейскими щитами. Может быть, он нарочно обращал на себя внимание этим спором, слишком неподходящим к такой именно мужицкой Фиваиде; все видели, что он слишком много знает о боге, чтоб верить в него. Одежда его была неряшливей, чем у других, но руки его, тонкие и чистые, достойные зависти любого архимандрита, на странные наводили подозренья; их он прятал тщательней, чем глаза, рассаженные глубоко в подбровных ямках. Из впалых щек его отвесно, как у китайского архата, текла борода, и ему, видимо, еще не надоело изредка гладить ее ладонью. Кроме явных и просторных этажей имелся в этом человеке какой-то душевный подвальчик, и Фаворов решил когда-нибудь еще поговорить с ним на досуге.

— Вы—образованный человек, вам стыдно быть здесь, — заметил он вскользь.

— На протяжении веков господь побивал нашу землю не только дураками, он карал ее и умниками... — обиженно бросил Виссарий, смутясь пристального Сузаннина взгляда, и вдруг поспешно вышел из землянки.

Его проводили неуклюжим, испуганным молчаньем; никому другому не было под силу продолжать незавершенный поединок. Снова грозила начаться рукопашная, и Кир, не дожидаясь, пока улягутся нахлынувшие страсти, осторожно приступал к своим хозяйским обязанностям.

— Вот и живите у нас... погуляете, поспорите. Спор, он проясняет. А надоедят серячки наши, в Макариху поедете. Деревушка весе-

лящая, все и старухи-то, прости господи, танцухи... — Вместе с тем, страшась утратить до срока увадьевское расположение, он постарался свести беседу на более безопасные вещи. — Молодая-т женка, что ль, твоя? — уже ласковой кивнул он на Сузанну.

Увадьев, который зевал втихомолку, так и не дозвенул до конца.

— Не, женка у меня там, далеко... — неопределенно махнул он, и все поняли, что разлуку с ней он переносит без особого вреда для здоровья. — А это техническая помощница наша, химичка и вообще... — И этот второй его жест был еще непонятней первого.

— Ишь ты, и жалованьишко, поди, получаешь! — мямлил Кир, глядя на ноги Сузанны. — Не обижает хозяин-то?..

Но прежде чем Сузанна успела ответить, случился тот беспремерный в истории скита скандал, который и обнаружил истинные настроения Мелетиева стада. Не обронивший ни слова с самого начала, грузно поднялся с места рябой Филофей, и Увадьеву не трудно было понять, что этого не переменишь, что с этим придется драться до конца. Он был кузнецом когда-то, но променял на моление славное свое ремесло, и теперь только большие черные руки его можно еще было уважать в нем. Наверно, он умышленно шел на открытую распрю, потрясая огромной головой и даже в этом, малом, подражая тому неистовому Аввакуму, которого положил как печать в сердце своем.

— В каких трудах помощница-т... во днях аль в нощи? — с хрипотцой спросил он. И все вокруг опять засмеялись резким звуком распиливаемого дерева, а он стоял посреди, как гора среди малых холмов, обдуваемая ветерками. Старики задвигались, пламя закачалось в плоске, как маятник, по бревенчатой стене заскакали угловатые тени, — целые вереницы гримасничающих теней.

— Уймись, Филофеюшко, не срами... — только и умел крикнуть Кир хулительному брату.

— Кол, кол сунь в гортань мой, не престану... — и вытянутый палец, как ружье, наставлял в старинного врага своего Кира. — Полно блекотать-то! Свету како общенье с тмой?.. ты его чаишком поишь, а он, эвон, ржет, аки жребя! — махнул он на Фаворова, который откровенно улыбался на эту внезапную волну страстей. — Ты мне, Кирушко, перстом не грози! Ежедень бей меня святым кулаком да по окаянной шее... и побьешь, и во чрево мне песок насыпешь, и умру... да восстану, да оживу в сотне уст, да опять вопить стану. А опять побьешь, мертвый смердеть стану, псиной тебя задушу...

— Псы-то по естеству смердят, а в тебе дух воняет! — Усталость мешала игумену удерживать долее достоинство власти.

— Пес есмь солнца моего, лаю поколе жив... хвостом обижен, ино и хвостом бы вилял. В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку отмахнут да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнет земля и колынется небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться почнут... заревет труба, на гору положена... тоды я тебя вопрошу, Ки-

рушко, старого балдака: хде был?.. Летучие самокаты бегли, пену да пар из железных морд пущали, драконы со змейчихами в обнимку шли пить сок людского сердца, потребный вышнему, а ты им сединкой своей путь разметал? Эх, метла-метелка: балы, машкарады, смрад их тебя прельстил? Танцуй, танцуй под ихнюю свирель!..

Так, брызгаясь и клокоча, он громил тот, уже отошедший век, останком которого был сам. Подземным чутьем мужика он угадывал, что великий бунт людской несет ему еще неслышанное посрамленье. Легче было воображать мир попржнему, каменной залой, где при догорающих солнцах кружатся обезумевшие пары и сидит розовый, овеществленный блуд. Этот мир жег и Увадьев, и вместе с Филофеем плясал бы на развалинах его, если б только при разрушеньи уцелел и сам Филофей. Предчувствуя это, оттого-то и грозил Филофей, что всех их отставят от насиженного места, оттого и избивал словесным бичом кроткое, обреченное стадо.

— Рассеемся тогда, — сказал слепой Аза в тишине всеобщего испуга. — Кость в поле лежит, много ль ей надо? И ветерком обдует, и дождик вымоет, и солнышко погрееет... А, может, хороших людей обижаешь?

Как-будто только этого возраженья и ждал Филофей:

— Молчи, мертвяк! — сызнова воспалился он. — Ты годок у брата погостюешь, а там почнешь по серебряным облакам с тросточкой гулять... А моя смерть у твоей еще титьку сосет. Ноне все хорошие, все с ружьями... Эй, горемыки миленькие, кланяйтесь ему, хорошему!.. — Вскочив, он громоздко поклонился Увадьеву и опять повалился на место, а братия раздалась в стороны, как от камня вода.

Последнее и злейшее, чем крик, наступило молчанье, но все еще металось в перекрестных дыханьях нестойкое пламя светца. Увадьев обстоятельно изучал свою ладонь, что случилось с ним лишь в приступы крайнего гнева.

— ...за чаек я и заплатить могу, — сказал он потом, приподымаясь с места. — Нехорошо у вас вышло, отцы. Теперь будем говорить так. С богом нам пока на Соти не тесно, рано вздымаетесь. Я смирных не люблю, но и занапрасну их не трогаю. Больше говорить не о чем, смекайте сами ваш привет...

И уже готов был покинуть негостеприимную эту яму, но всего за мгновенье до его ухода что-то заворчалось на койке в углу, и старики озабоченно переглянулись. Неожиданный смрадик об'явился в келье, но, как Фаворов ни приглядывался, нигде не виднелось ни падали, ни мертвеца. Он слабо щекотал ноздри, одурял, позывал на рвоту, ежесекундно усиливаясь, и вдруг из тряпья, как попало сваленного на койке, высунулась тощая, голая рука. Недолго покачавшись и не найдя, за что уцепиться, она бессильно свесилась, почти упала к полу. Тогда, понукаемый кивками и шопотом стариков, Кир попытался как бы слезать ее и водводить обратно. Но рука усердно отбивалась дет-

ским кулачком, потому что не хотела назад, в смрадное свое уединенье. Кир отступил, и только тут гости поняли, почему именно сюда, а не в просторную трапезную, например, призвал их на собеседование игумен.

## 4

То и был Евсей, врачеватель душевных недугов и сокровище скита. Разбитый какой-то давней и вонючей болезнью, он безвыходно лежал здесь многие годы, и никто из живых не помнил его самостоятельно ходящим по земле. По установившемуся обычаю, правящий игумен служил ему добровольным келейником; он его и кашицей кормил и обмывал по временам теплой водицей, хотя больше всего в жизни не терпел Евсей воды. Еще не переносил он никакого моленья, и ему потрафляли, потому что жил он единственно затем, чтоб привлекать в скит скудные денежные средства. Сюда, в темень и смрад, приходили к нему мужики за поученьем, в простоте душевной полагая, что, чем страшней она, внешняя мерзость, тем выше внутренняя благодать.

Про него говорили, что и он вдоволь побродил по гиблому донышку жизни и радости не обрел по плечу себе. Ему приписывали и мудрость, и высокое происхождение, а он был простой наемный косец и, кроме искусства безустанной косьбы, не умел ничего. Он ходил от села к селу, нанимаясь в богатые дворы, и его даже не особенно обижали, пока не произошло несчастье. Потный, он купался раз в коряжистой Енге, и что-то шершавое скользнуло ему по ногам; с этого началось, и Гордий, шестой по счету преемник Мелетия, подобрал его, уже обезноженного, с дороги. Его положили в землянке, и первое время он лежал в забвении, пока не надоумился вышереченный авва Авенир извлекать из него пользу. Из поколения в поколение он стал переходить как достояние и бремя, а со временем и сам привык ко всеобщим заботам и к подневольной роли прозорливца. Один век сменился другим, за иное страдали люди, а он все лежал и, кажется, только теперь начинал постигать торжественную радость бытия.

Лишь малая часть разговора с гостями доходила в Евсеевы потемки. Многого он не уразумел по ветхости разума, но, видимо, учуял необычность происходившей распри. Жизнь шла мимо него, и он не вынес, наконец, могильного своего одиночества... Столпясь в дверях, гости наблюдали стариковскую суету и не уходили.

— Кирюха, Кирюха... — капризно и тоненько закричал из норы своей Евсей. — Чего ж Виссарьонушко-те смолк? Когтí, когтí ихнюю мать...

— Убежал он, батюшка, може, живот с капусты занул! — в тон ему прокричал игумен, складывая руки дудкой и наклоняясь над незримым существом.

— Кирюха... куда ты прячешься от меня, Кирюха?



— Тут я, тут, батюшка! — Он хлопотливо поискал глазами и, схватив кусок сахара, сбирался сунуть его в руку старца, но сахар выпал из дрожавших пальцев, а поднимать его с полу стало уже некогда.

— Что, что в миру-то? — с томлением, как бы издалека вопрошал Евсевий.

— А дым, дым в миру идет, ничего не видать за дымом! — забывая о присутствии чужих людей, отвечал Кир.

Некоторое время ушло на то, чтоб дошли до Евсевиева уха сказанные рядом слова.

— Дым-то, откеда он?

— Из людей дым, батюшка!

— Сколько веков полыхаит... — плаксиво рассудил Евсевий, и сердитый кулачок разжался. — Благодетели живы ли?

— Благодетели ноне сами копеечке ради...—горько признался Кир.

Так прошло несколько минут; старики шептались, рука бездействовала, шел копотный воздух от светца, и в нем слоисто колыхался мрак. Вдруг койка заскрипела, точно лез наружу святой, соскучась о жизни и людях.

— Что... что они строить-то будут?.. больницу, что ли?.. Да откройте меня, жулики... кобели, откройте меня!

— Баба тут, батюшка, — совсем потерянно сообщил Кир. — Баба, живая...

Окончательно смущенные бунтом Евсевия, старики просительно взирали теперь на Увадьева, которому одному дано было удовлетворить скандальное любопытство старца, но тот безмолвствовал, лишь покачивая головой, и ничем не выражал намерения вмешаться вповь. Тогда Сузанна двинулась с места, и всем показалось, что лицо ее не предвещает доброго. Старики опять зашумели, ибо в прорыв, который свершала Сузанна, неминуемо должны были хлынуть новые полчища людей, любопытствующих о тайне. Закрыв руками незрячие глаза, хныкал Аза в уголке, и не понять было, плакал он или смеялся; Вассиан лучил скошенные глаза в сторону, точно ждал оттуда сабельного удара; вдруг вскочил Ювеналий и опрометью, подобный летучей мыши, бросился в дверь, а задетый чайник с грохотом покотился за ним.

Старики кричали:

— Зададут теперь сырынаду!

— Псыня на пададь бежит...

— Храните Евсейку!..

Никто, однако, не посмел остановить ее на полпути к ложу Евсевия.

— Откройте его! — Голос ее надломился и повелительность не удалась, но рябой Филофей тотчас же сдвинулся с места и, поднеся огонь, разворошил тряпки на Евсейке.

Сверкали Филофеевы глаза:

— Зри... эва, каквй молодец лежит!

Лишь немного привыкнув к теплоте тленья, исходившей из дыры и колебавшей пламя, она заглянула. Там в колодце из грязной ветоши ворочалось маленькое, сплошь заросшее как бы шерстью лицо человека, а ей показалось — мохом. Должно быть уже сама земля просвечивала сквозь истончавшую кожу лба. Нижняя губа его капризно выдавалась вперед, а глаза были закрыты; святого слепил свет, и густейшие брови его дрожали от напряженья. Вдруг волосы, росшие как попало и во всех направлениях, распахнулись: Евсевий открыл глаза. Было так, будто заглянула в самое чрево земли сквозь ту непостоянную, бегущую протоплазму, в которую цветисто разряжен мир. Теперь Сузанна не удивилась бы, если б этот первобытный дикарь рассказал вдруг про ту доисторическую метель, которая когда-то в отсутствие людей вилась над Сотью. Она защурилась и отступила.

— ...и блохи едят и вонь томит, — жалобно просвистел святой, всячески принаравливаясь к свету. — Баба! — прошелестел он потом, хотя вряд ли различал лицо Сузанны; и сразу весь затормошился, как бы намереваясь бежать от приступившего зла; не бежал он вовсе не оттого, что потерял свою власть над ногами. — Бабочка... мази принеси мне... какой ни есть мази. Кожа у мене на ногах расседается. Лежать-то надоело, ой, кои веки невосклонно лежу...

Он так и не успел израсходовать до конца Филофееву милость; башнеподобный накинул на него подобие домотканного половичка, и голос с другого берега прекратился.

— На ножки он ослабел, попортились у него ножки... — торопливо зашептал Вассиан, пытаясь коснуться Сузанниной руки. — А уж такой, сказывают, бегун был...

Та в раздумьи кусала свои отвердевшие губы:

— Бегун-то бегун... На воздух бы его, отцы. Больного человека в экой вони содержите!

— Так ведь на воздухе-то ноне самая простуда и ходит, а вонь... Своя-то вонь каждому мила! — все домогался ее улыбки казначей. — И ты не гляди, что малодушье обуяло святого. И гора плачет, как ее кирками бьют...

— Я не гляжу, не гляжу, — улыбнулась, наконец, она, но совсем не так, как хотелось Вассиану. Минуту спустя она спросила тихо: — Этой... брат Виссарион давно у вас поселился?

— Четвертый год, маточка... Евсевию больно полюбился, души тает в нем! — заюлил Вассиан, а она уже взялась за скобку.

Фаворов тотчас, как гайдук, последовал за ней, и один Увадьев в непостижимом оцепенении все еще наблюдал чуждое ему происшествие. Созерцание этих людей в горящем дом поселяло в нем не враждебность, пожалуй, а какое-то брезгливое сочувствие; было что-то очень понятное ему в этом наивном куске шестнадцатого века. Глаза его раскосились, он не ожидал встретить здесь такую человеческую пустыню, но тут кашлянул Аза невзначай, и Увадьев медленно пошел в сенцы; тут и догнал его Кир, игумен.

— ...слушай-ка, постой, обожаемый товариш!—В потемках цыгнотный рот его произносил совсем не те слова, которые он заготовил впопыхах, за короткую минуту передышки.—Возьми-ка, вот, спрячь... Там, в миру, и табачишку надо купить и колечко женке... женки-то ноне, ух, форсливы, а какое ноне жалованьишко. Бери, бери, от чужого добра не обедняешь! А мы вам завтра и лошадку срядим, вы и поедете... будто искали, да не нашли, а? — Он совал что-то в бок Увадьеву, не нож, но и не пустую руку, а тот все хмурился и не понимал. — Мы бы и больше дали, да нету! Тут двадцать два, ты посчитай-ка, двадцать два тут...

Грозиво наливаясь бешенством, Увадьев неуклюже полез за карамелькой.

— Сам я, отец, не курю, и тебе не советую, а жую вот конфетки. Попробуй, сладкие! — Открыв жестянку, он положил один леденец, как копейку, в протянутую руку Кира и снова сунул ее себе в карман.— Пососи вот... А на деньги эти купи себе облигацию крестьянского займа. Процент большой, да и выигрыш попадается. Ну... будь умник!

Поскрипел кирпичик на блоке, и дверь захлопнулась, а Кир все стоял с увадьевским угощением в ладони. Кто-то тряс его за рукав, кто-то заглянул в глаза, но торчали там лишь бессмысленные белки. Леденец, вырезанный сердечком, розово играл в корявой ямке ладони. Потом как бы трещина раздвоила лицо Кира, и обе половинки жестоко затерлись одна об другую: он плакал. Тут же, невдалеке, стоял Филофей и усмешливо почесывал тяжкую свою, увесистую как деревянный ковш, челюсть.

Беда приблизилась вплотную, и уже не отворотить ее стало от скита. Бывало, забредали повалыные моры в округу; деревни лежали в бреду, и ни одно колесо не шумело по дороге: можно было отсидеться за частоколом. Бывали пожары; шли огненные потоки, клокотал дым едкий, а над несжатыми полями топотал в поганом плясе рыжий дед, соломенный огонь: можно было рыть канавы и тем одним ограничить место непотребного его веселия. Напала раз преждевременная весна; деревья распустились до срока, ручьи гремели вчетверо против обычного, бесилась птица в высоте, а монахи в дырявых лодках пускались к бабам в Макариху; двое и погибли в водопольи. Тогдашний Иов выписал музыкальный ящик; в час, когда потемки бором идут, вставлял в него Иов хрусткое подобие железного блина, и блин побулькивал разные безгреховные напевы. Впоследствии сменял его Авенир на холст Ипату Лукиничу из Макарихи; служа в швейцарах у одной питерской баронессы, раз в год наезжал тот домой, выпивал, заводил музыку и благоговейно созерцал мелодическое вертенье блина. Набегала тучка и прояснялось небо, и снова моталась жизнь, как нитка на веретено...

— Не быть нам боле, — плача сказал Кир, и братия поняла, что не ему, немощному и уже низверженному, а башнеподобному Филофею правительствовать впредь на Соти.

## 5

Вырытого в эту встречу глубокого оврага так до самого отъезда гостей и не переходил никто; еду носил им из трапезной за особую приплату скромный и запуганный чем-то Тимолай. У него при случае спросил раз Увадьев о Геласии, но тот смутился, покраснел и нехотя сообщил, что на него наложена Филофеем эпитимья — мыть полы по всей обители; дознаться сущности Геласиева проступка Увадьеву не удалось. В ожидании дня, когда начнет действовать перевоз, гости шатались по еще необсохшему лесу, и Увадьев попрежнему уходил один, а Фаворов не роптал на доставшееся ему одному бремя — сопровождать Сузанну. Увадьев ходил много и не без пользы; в одно из своих странствий он набрел на замечательный песок, великолепный для бетона, а в другой раз, в лесной сторожке, отыскал газету на стене, напомнившую ему с огромной силой тот год, когда он впервые, еще учеником, пришел в революцию. Это оказался тот самый тридцать пятый номер «Русского Государства», в котором впервые был напечатан обвинительный акт против лейтенанта Шмидта. Осторожно содрав пожелтевшую бумагу, он потащился с нею на полюбившийся ему обрыв и там застал Геласия; стиснув виски руками, иннок шурко гляделся в пространство перед собой; ветерок шевелил путаную его медного цвета гриву. Внизу, скрежеща и мерца, шел лед. Уже стемнело, и сквозь суматошные волны облаков, подобно камню, выпущенному из пращи, стремглавая летела луна.

Посдвинув палочкой Геласиеву скуфью, Увадьев присел рядом, и оттого, что глаза уже не справлялись с выцветшей газетной печатью, попытался продолжить старый разговор о красоте и правде, но тот отвечал скупно, хотя и без особой брани. Все же из мелких Геласиевых оговорок ему удалось вызнать кое-что, и прежде всего то заманчивое обстоятельство, что за восьмилетнее пребывание в скиту Геласий так и не свыкся с необходимостью душевного самооскопления. Посреди разговора он поднялся и ушел, а Увадьев, хоть по старинной слабости и считал себя ловцом человеков, не остановил его ни звуком; в дикарской борьбе, которую в эту пору вел сам с собой Геласий, он все равно не смог бы помочь ему ничем.

Он был рад, в сущности, и тому немногому, что разгадал в Геласии. Сюда привела его еще мать, забитая солдатка, привела мальчика на годичный срок, то ли желая снять с себя непосильную обузу, то ли надеясь, что хоть отсюда сын достучится в немилосердную дверь правды. Ее задавило поездом в соседнем уезде, а мальчик так и остался в скиту. Первые годы Ганька батрачил подпаском в окрестных селах, принося в обитель свою скудную долю, и сначала ему нравилась и ряска, которую ему тут же сшили по росту, и суровый уклад скита, по которому с него, как со взрослого, требовали труда и молитвы. Подросши, он держал перевоз на реке и, долгими часами выжидая какого-нибудь шального путешественника, вдоволь имел времени поразмыслить над книгой или над судьбой. Книги в большинстве попадались

церковные, и во всех с такую страстной ненавистью живописалось о женщине, что ко времени событий на Соту у него только и мыслей было, что об этом сладком и неминуемом ужасе. Воображение мучило его; он видел ее всяко: в бреду сновидений и в беспамятстве голодного тифа, драконом и огненной ямой, пушистым красным облаком и длинной, пронзающей иглой; в ее истинном виде он не знал ее никогда. Осенью он иногда убегал, неделю бродил где-то в неизвестности, и только холода пригоняли его на теплое место, назад; весной, когда самый воздух бывал заряжен бунтом и желанием, он верил, что это грех и воеет на бору, встав голой мордой на восток...

Появление Сузанны не походило на то, как описывалось это в темных, источенных жуками патериках: не в огне, не в облаке, не в обольстительной наготе, а скрипучую телегу Пантелея трудно было бы принять и пьяному за апокалипсическую колесницу... но она явилась ночью, в таинственный час весны, когда каждый сучок в лесу коробило смутительным ветром пробужденья. Рыбу бьют острогой, когда она спит; ад высылал за ним своих гонцов в виде, который не будил подозрений. Ночи его стали тревожны; оранжевый пар выходил из стены и обволакивал ему руки; он пил воду, и она вызывала в нем ядовитую стрыжку; он схватил снега в горсть, и самый снег был ему оранжев. Стало так, точно река неслась вдесятеро быстрее, дразня хмелекипящими своими водоворотами, и один, самый близкий, был стремительнее остальных...

Геласий пытался говорить с Тимолаем, с которым связывала не столько дружба, сколько одинаковая судьба; они вместе когда-то пастишили на Лопском Погосте.

— ...видел, а? — и Тимолай сразу понял, что речь о приезжей. — Руки-то видел ее? Легкие, поди, пуха легче...

— Персты тонкостны, действенны... — оторопело согласился Тимолай, застигнутый врасплох.

— А губы-то черные... как хлеб черные, видал ты?

Тимолай недоверчиво глядел на помраченного в разуме.

— Что ты... они не бывают черные! — и бежал, страшась последнего, что имел сказать ему Геласий.

Через сутки Геласий пошел к Филофею, который был его духовником. Тот чинил замок и давал распоряжения Вассиану; глаза его уже нуждались в помощи стекол, но очков в уездном городке не нашлось, и оттуда выслали пенснэ со шнурочком; было забавно Геласию видеть стеклянные крылышки на его квадратном носу.

— ...с Красильниковца за сапоги получено? — допрашивал Филофей.

— Вот Геласий завтра комиссара повезет, кстати и получит.

— А с Шибалкина за колоду?

— Половину уплатил, а на другую мясца сулил прислать на праздниках.

— Впредь деньгами бери, без баловства. — Он внушительно посмотрел на Геласия, с темным лицом стоявшего на пороге. — Нажрут-ся мяса — цепями их потом не удержишь. Нам чиниться надо, извет-шъл корабль, а и на гроб ноне даром лесу не дадут... Стыдно живем: крыши текут, в иконостасе птицы гнездятся; стою надысь — на по-с капнуло. С часовни ничего не присылали?

— Вот, все тут... — И казначей высыпал перед ним детскую гор-стку меди. — Гривенничек царской чеканки попался. Ноне и бога-то норовят надуть!

— Глядеть надо! — зыкнул Филофей и с грозным лицом вкле-пывал в замок новый стерженек для ключа. Пересчитав даяния верных, он прогнал казначея, и тогда на Вассианово место неробко уселся Геласий. — Навестить зашел? — поднял он голос и, мельком взглянув на высокий, весь в прыщах, лоб Геласия, должно быть уловил сущность Геласиева смущенья. — Где это тебе дьявол рожу-те заплевал? Ишь, в небе звезд мене, чем на тебе этой дряни...

— Жажда палит, — сипло ответил тот.

— Жажда... — И крылышки отпали от его вздущегося носа. — Человек, он земляного состава. Потому никаких морей не хватит на-поить землю, когда жаждет она. — И опустил глаза, радуясь аскетич-еской красоте образа.

— Каб не жаждала, не рожала бы столько! — тряхнул головой инок.

Филофей омраченно усмехнулся и, как бы готовясь к вра-чеванию души, вытер о передник руки, рыжие от керосина и ржавчины.

— Небось, думаешь, — осторожно начал он, упираясь локтем куда-то в пах себе, — что стар я, волосами зарос? А и доселе, быват, распалюсь — хоть в землю себя зарывай для остуженья, — он глубоко захлебнул воздух, и в груди его скрипнуло что-то. — А потом прочту в книге, как все это бывало и как прошло... и отойдет.

И впрямь, еще не истаял в его ушах рассыпчатый смех трактир-щицы Аграфены Петровны, муж которой заказал однажды кузнецу рессоры к таратайке, а получил вдобавок и пискуна. В свое время он вдосталь нахлебался жизни и теперь с неуклюжим жаром топтал ра-дость именно за то, что она не обманула да и не насытила его. Голос его крепчал, взвивался в нем бич и слова громыхали, как звенья якор-ной цепи; целые полчища одичалых Антониев Великих толпились в об-ширной его груди; добровольным истреблением воли призывал он бо-роть смерть, а Геласий видел распластанного на траве жеребеночка и его с тоской откинутую морду. Сцена эта навсегда отпечатлелась в серд-це Геласия. Пастушонком он проходил мимо кузничного двора и слу-чайно видел, как жеребенка приспособляли на службу человеку. Свя-занный по ногам, с губой, до крови вкрученной в лещотку, конек ле-жал смирно, кося глазами и сосредоточась на ожидании казни, а Фе-дот уже заносил над ним равнодушную руку коновала. Игристого это-

го конька больше всех любил в своем стаде Ганька, — с того и возненавидел кузнеца.

Вдруг с утроенной силой пробудилась детская ненависть, и в самом грозном месте поученья, когда сверкало Филофеево слово, как топор, вскинутый над шеей нечестивца, принялся Геласий отстукивать сапогом песенку о ножку стола.

— ...не стучи, не скалься!

— Штучка одна смешит, — совсем неробко признался тот и подмигнул, останавливая в разбеге гремучий Филофеев поток. — Как Грушка в кузню к тебе бегала... там ребята в стене паклю повыдергали и засматривали в дырочку. Мы ее, Грушку, кулебячкой прозвали... так и смеялись: во, опять кузнец кулебячку ест...

Духовник сидел красный, и можно было ждать, что вот сейчас что-то расплавится в нем и, прожигая дерево, чадно потечет в подполье. Точно стремясь оторваться от ладони, шевелились на столе хваткие пальцы коновала; вдруг они округились вокруг тяжелого рашпиля, и тут должен был бы произойти еще неслыханный в летописи скита эпизод, но Геласий во-время поднялся и пошел к двери, беззащитной своей спиной смиряя Филофееву ярость. Еще не пели в нем птицы, и густей, чем весенний туман, облекал его страх. Ничто не рассеивало в нем уверенности, что приезжая гостя и есть то орудие, которым ад положил продырявить его целомудрие; как ни доброжелательно относился Увадьев к монашку, он расхохотался бы тогда, у обрыва, на его признание... Уйдя, Геласий до сумерек бродил в лесу, следя из засады за дверью Сузанниной кельи. К вечеру напала на него лихорадка.

В стенах этой кельи прятались целые поколения клопов, простоватые предки которых питались, наверно, еще блаженным Спиридоном; предвидя прелести деревенского житья, Сузанна захватила с собой гамак. Полулежа в нем с книжкой, она рассеянно глядела на угольный тлен в печурке, распространявший сухое, жесткое тепло. Приятная немота вливалась в ноги, вещи распахивались в каких-то неожиданных и неуловимых смыслах, зримый мир переставал существовать, а взамен явилось другое. Застылая река, из-за сугробов летят пронзительные стрелы мороза, и будто Савка поит коней у дымящейся проруби, приплясывая от стужи, а за спиной его побрякивает обрезанная винтовка... Упавшая книга не разбудила ее; она проснулась, когда иной холод, не условный холод сна, засочился к ней из двери. В потемках она не узнала воспаленных и просительных глаз Геласия; страшно было не то, что чудовище вошло к ней, а те минуты, в течение которых чудовище обнюхивало ее, спящую.

— Лежи, лежи!.. — и шопот странным образом сочетался с везделивым запахом лука и кожи. — Это я, Геласий... вот я пришел. — Стыд душил его. — Давай, давай... как это делается... давай!..

Келья сразу стала вдесятеро теснее; напирали самые стены. Оранжевое тепло, только теперь оправданное в воображении Геласия, вы-

деляло из темноты одну ее обнаженную коленку. Он не шатался, но мог упасть в любую минуту. Взгляду его представляло то неспелое, вяжущего вкуса яблоко, к которому потянулась однажды и неумелая рука Адама. Оно дразнило его сны, внушая право именно на такое ночное вторжение, оно гонялось за ним по пятам, и даже в грудях Вассиановой репы, которую он накануне перебирал от прели, лукаво и множественно мнилось ему то же самое естество.

— Вымойся сперва...—гадливо произнесла она и, вскочив, быстро подтянула спустившийся чулок.

Он не уходил, потому что она не гнала его смехом; еще он не уходил потому, что трехминутное пребывание здесь не утолило его трехдневного жара. Ошеломительней всего было, почему мир отказывается от его безоговорочной сдачи. Он стоял с опущенными руками, и пятна стыда на его лице были намалеваны как бы красной сажей. Померкшие его глаза остановились на ивняковой ветке в крынке; глянцевиная зелень несмело тянулась к свету.

— Что это?

— Верба.

Он повторил:

— ...верба. Зачем?

— Так, для красоты.

Он подозрительно коснулся ветки, не разумея в ней чуда, ради которого стоило бы нести ее сюда.

— Какая ж в ней... краса?

— Весна... начинает жить.

— ...жить, — повторил он. Тут за толстой стеной глухо, точно в шапку, закашлял Аза, и Геласий, как бы пробуждаясь, провел себя ладонью по лицу.

Внешне ничем не отразилось на нем случившееся преображение. Утром он вместе с Тимолаем смолил лодку, на которой завтра должен был отвезти Увадьева, был скромней обычного, но зато сон и прожорливость напали на него. Остаток дня он провалялся у себя, а Филофеева эпитимья так и осталась неисполненной... На мутной, вихрящейся воде качалась лодка. Геласий прыгнул в нее первым и ждал, прилаживая руки к веслам. Старую, неустойчивую скорлупу относило от берега, Увадьеву пришлось сделать несколько шагов по воде. Тотчас что-то хрустнуло в борту, булькнуло под днищем, Геласий оттолкнулся веслом от берега, покидаемого навсегда, и, вот, течением рвануло лодку.

— Заплеснет аль подтекать станет — вычерпывай. Вон и баночка тебе для упражненья! — кивнул Геласий на деревянную бадейку, всячески сторонясь упорного Увадьевского взгляда.

Едва вышли из заводи, сразу все переменялось вокруг; несмотря на Геласиёвы усилья, лодка стояла ровно и смирно, точно повисшая на якорях, а по сторонам закружилась бешеная вода, увлекая в глубину грязные, источенные льдинки. Зато стремглав неслись берега,



и Увадьев еще не успел рассмотреть толком серую цаплю близ куста, в столбняке застывшую на полувзлете, как уже увидел ястреба. Сидя на кочке, весь на ветру, он надменно и лениво чистил крыло, раскинутое во весь его вольный мах. Тогда, бросив весло, Геласий замахал на него шапкой, но тот не улетал, словно верил, что в этот день его нельзя истребить целиком.

— Гроби, гроби, опрокинешь еще! — недовольно пробурчал Увадьев.

— Вычерпывай, вычерпывай...

Увадьеву показалось, что Геласий улыбается, а вместе с ним и ястреб; он подумал и взялся за неминуемую бадейку. Лодка выходила на средину реки, и хотя Геласий хитрил, переправляясь наискосок, все же проигрывал в единоборстве. Мало-по-малу пот начал проступать на его рыжих висках, и тогда Увадьев решил продолжить незаконченный разговор.

— Ну, так как же, парень, а?

— Да все так же, ура советска власть, — небрежно кинул тот. — Вычерпывай, твое дело невелико...

День был востропанный, резвый; в облачных проемах густилась снь, и чем гуще она становилась, тем величественней спокойная мощь реки.

— Вот ты в прошлый раз выразил, что на свете, дескать, только жулики да дураки... А известно ли тебе, что есть еще другие люди, которые справедливости ищут и кровь за нее отдают?..

— Это которы хлеб у мужиков отбирали? — почти равнодушно переспросил Геласий, но сбился с весла, и брызги густо хлестнули в Увадьева. — Один и досель в болотце гниет, куда его Березятов засунул. Не слыхал про Березятова? Очень такой человек был, солдат. Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины рождается, а вы ее ломом, тишину-те, карежите...

Покачивая головой, Увадьев зачерпнул воды в ладонь и пытался сжать в руке эту частицу стихии, которую предстояло покорять.

— Не твои слова, Геласий. Твои проще...

— Красота — мое слово! — вскинулся тот.

— Чудаковое слово, красота!.. Вот мы встанем на этом месте, где старики сидят... видишь? Будем строить большой завод, каких праведники твои и в видениях не имели. На том заводе станем мы делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пропасть, без дела стоит. Из нее станут другие люди бумагу делать — для науки, пороха — чтоб отбиваться от врагов, и многое другое на потребу живым, а между прочим и шелк. К тому времени ты сбежишь из своей червоточины, потому что успеешь сгнить, не торопись!.. и станешь ты вольный, трудовой гражданин, на работу поступишь, зазнобину себе заведешь первый сорт... и будет она, Шура, скажем, или Аня, шелк носить. Вот тебе и красота!

В машинных движеньях Геласия появилась какая-то презрительность; все чаще соскальзывало весло, и, если бы не кожанка, до берега Увадьев добрался бы совсем мокрым.

— Это все так, это для прикрытия сраму, а душа... душу куда определишь? Она что гвоздь, полежит без дела — заржавеет!

Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не одному только Геласию:

— Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, или ел, или держал в руках... я знаю их на ивет и на ошупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают?.. где это продают?

— Как же я рыбине об'ясню, зачем мне ноги дадены! Она и без ног свою малявку сыщет...

До берега оставалось все еще далеко, а спор близился к концу: обоих начинала сердить эта обоюдная несговорчивость.

— ...а ты и с ногами не отыщешь. Восемь лет в дырке сидишь, а что ты отыскал, покажи! Молодости твоей мне жалко...

— Обречен я на младость вечную...

— Вот именно, обречен... А какая-то бабеночка ждет тебя в свете; может, и плачет, что запаздываешь!

Весло стало злей зарываться в воду, Геласий терял власть над собою:

— ...с чего мне все про бабеночку твердишь? Сестренку, что ль, заблудящую имеешь, приладить ко мне хочешь?.. — закричал он сквозь сжатые зубы и вдруг, прежде чем Увадьев успел остановить его, вскочил с места. Скинув шапку, еле удерживая равновесие, он низко и порывисто кланялся своему пассажиру: — Прости... за брань и за шумность мою прости. Злой я, злой... злой...

Не насытись одним поклоном, он кланялся все размашистей, пружинно сгибаясь в пояснице и нарочно раскачивая лодку. Вода захлестнула через борт, лодка неслась по самой середине реки, а Увадьев лишь щурился на одержимого и, может быть, любовался на него украдкой. Проскочив сажен полтора, лодка стала поперек течения, и в эту крайнюю минуту Геласий снова подхватил весла.

— Плаваешь, видно, хорошо, парень, — через силу усмехнулся Увадьев, когда уже подходили к берегу. — Выйдет из тебя прок, но долго тебе гореть, пока твой прок выплавится. И когда невтерпех тебе станет от огня и воя твоего, приходи ... днем и ночью, всегда приходи. Ну, гуляй, пока не встретимся! — сказал он на прощанье.

— В пекле, может, и встретимся! — откликнулся Геласий, вытягивая лодку на берег.

...Там на бревнах сидели макарински старики, подсушивая ветерком слежавшиеся за зиму бороды.

— Эх, так и не черпнула! — с сожалением зевнул один, и зевок его затянулся настолько, что сосед успел свернуть цыгарку. — Нет, что ни говори, а жисть наша все-таки ску-ушная...

## 6

С момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла. Он шел, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна. Прежде всего встретил он косоного мальчишку; примостясь на завалине, мазал тот неопределенной мазью огромные отцовские сапоги.

— Здорово, гражданин, — пошутил Увадьев.

— Нефта плохая стала, — куда-то в воздух произнес мальчишка. — Ране невпример маслянистей была...

— А ты откуда помнишь, шкет, какая ране была? Тебя, поди, и в проекте еще не было!

— Ходи, ходи мимо! — проворчал мальчишка, гоня взглядом, как нищего.

Рабочие ютились в дырявых сараях в дальнем горелом углу деревни, и убогим очагам не под силу было бороться с весенними холодами. Такие же лапотники, они жаловались на здешних мужиков, которые, вопреки устоявшейся славе сотинского гостеприимства, драли и за молоко и за уголь, а вначале приняли чуть не в колья. Пока не обсохла топкая апрельская хлябь, работы велись замедленно; ветку успели провести всего на три километра из одиннадцати, назначенных по плану; грунтовая дорога двигалась не быстрее. Не обходилось и без российских приключений; в Благовещенье ходили молодые рабочие в Шоноху и угощались в складчину у прославленных тамошних шинкарей, угощались до ночи, а утром уронили с насыпи подсобный паровичок, подвозивший материалы. Когда добрался туда Увадьев, человек тридцать, стоя по щиколку в ростепельной жиже, вытягивали на канатах злосчастную машину, но той уже полюбилась покойная сотинская грязь. Тогда люди усердно материли ее, как бы стараясь пристыдить, а потом долго, зябкими на ветру голосами пели вековечную дубинушку; пели уже полторы суток, — достаточный срок, чтоб ублажать и не такое.

Наскочив вихрем, Увадьев сбирался разругать производителя работ, но тот лежал в Шонохе с воспалением легких, а десятник увиливал и всех святых призывал в свидетели, что пьян не был; и действительно, до той степени, когда человек лежит и ворон ему глаза клюет, а тот не слышит, десятник в Благовещенье не доходил; паровичок же скинулся сам, чему содействовали весенние воды. Раскостерив десятника до изнеможения, Увадьев помчался на другие работы и везде встречал непорядки: цемент складывали под открытым небом, моторы везли неприкрытыми от непогоды, поверх стекла грузили ящики с гвоздями. Агитнув где следует, а порою и пригрозив, Увадьев воротился к вечеру в Мақариху усталый и мрачный и, засев в чайной, ждал Лукинича, который все еще не возвращался.

По заслуженному, щербатому полу ходил петух в чайный какой-нибудь об'едка. Косясь на него, трое строительных рабочих раскупо-

ривали консервную коробку, а на них поглядывал мужик с сухой ногой, сидя просто так; вытянув сухую ногу, как шлагбаум, он играл прутиком с котенком. Пушистый этот зверок принадлежал, по заключению Увадьева, девочке, которая тут же деловито протирала большой белый чайник с цветами, а отец ее, совершенный жулик по лицу, щелкал на счетах за покривившейся конторкой; внизу были видны его опорки, вскинутые на босу ногу. Когда петух приближался, нога пыталась шибануть его, но тот был изворотливей. Люди, проходя через трактир, месили два разнородных запаха — махорки и кислых щей, но те не смешивались никак; соблазнившись ароматом, Увадьев с'сл тарелку капустного варева и собирался предаться чаю, но тут-то и появился Лукинич.

Наступали сумерки; трактирную посуду выпукло и багрово раскрасил закат. Уклоняясь от света, Лукинич сел в тень, но Увадьев рассмотрел его и здесь: был то некрупный, неопределенного возраста мужик, с грустным и плоским, как у полевого сверчка, лицом; одетый в старую военную шинель с отстегнутым хлястиком, снабженный доброкачественными усами, мужик показался Увадьеву молодежывым. Молодила его как раз шинель.

— Задержался, рабеночка перекладал, — виновато сообщил Лукинич. — Мать-то у него закопали два месяца тому, так вот и живем — я да дите, да еще дед, родитель мой, обитает. Может, видали его на лавочке, на берегу?.. который на евангелиста-т смахивает? Он и ест.. Лука, такая оказия! — Лицо его при этом стало еще грустнее, но Увадьеву почему-то все это нравилось. — Чего ж вы так, без чаю и сидите? Эй, Серпион Петрович, подкинь нам малость для подкрепления.. выпиваете? — деловито осведомился он. — А то... для первого знакомства.

— Нет, уж я лучше чайку, — решил воздержаться Увадьев, хоть и чувствовал нехорошую влажность в сапогах.

— А то пейте: где власть, там и сласть, надо пользоваться! — Не боясь занозить ладони, председатель прилежно смахивал крошки со стола, и петух, уже отправлявшийся на насест, вернулся с полдороги. — А то, если конфузу боитесь, домой поедем. У меня пьян-мелодико есть, от монахов откупил, приятно гремит... Скучотно живем, знаете! — Болтая без умолку, он вместе с тем прощупывал гостя и раз даже, как бы ненароком, положил свою ладонь поверх увадьевской; прикосновенье председателя было холодное и влажное, точно земляной глыбы. — А то и тут: запрем как бы на переучет товаров и гульнем, а? Эй, Серпиоша, ты нам цейлонского, да погуще завари!

— Цайлонский карасином залили, — заметил Серпион, изображая оживленье.

— Чаек после щец хорошо, — поддельваясь под равнодушие, начал Увадьев и даже зевнул для вящшей конспирации. — Как у вас тут, к свету знания-то тянутся?

Председатель разливал чай и сделал вид, что не заметил маневра:

— Тянулись бы, да некуда. Прошлу осень погорельцы пришли с Енги. С малыми детьми, а дело осеннее... ну, и разместили в школе. А они, знаете, с горя-то самогон почали варить... а школа-то деревяная, а огонь древо любит. Ну, знаете, и полыхнуло!—Ему неприятен был, видимо, этот разговор.—Ты, Серпион, хоть бы в баретки какие обулся... товарищ-то не за налогом приехал. Азиат ты, Серпиоша! — Когда он снова поднял глаза, они были ясны, прозрачны и ласковы. — Вы как любите, погуще, в накладку?

— Мне... погуще,—промычал Увадьев.

Лукинич же, напротив, веселился:

— Школа подгадила... да ведь и у вас не слаще: паровичок-то все лежит! Ничего не поделаешь, весна, ее не оштрафуешь.

— Работу какую-нибудь ведете... или как?—мрачнел Увадьев.

— Какая ж работа, вон наша вся работа!—Он кивнул за окно, где рядком, в тесноте и под сенью двух столетних ветел ютились Центроспирт, исполком и сберкасса. Увадьев тяжело и строго поглядел на председателя, но тот бесстрашно выдержал его взгляд и даже нашел силы усы покрутить.— В скиту, извиняюсь, устроились? А мы вас с той стороны ждали!

— Да, мы на Нерчемскую фабрику заезжали... дело было. Давно в председателях?

— На Парижскую Коммуну два года было. Ы и ране во властях ходил, знаете: швейцаром служил. Между прочим ничего, но трудная работа. Стоишь, как кочан в одежках, да все крюка ищешь... куда новую шубу повесить. По двести человек бывало! А потом, как барню покончили, так я и поехал сюда, строить новую жисть. Вы пейте чаек-то! С лимончиком бы, да не растут у мужиков лимончики, а то с лимончиком бы хорошо...

Уже минуты три барабанил Увадьев по столу, еле сдерживаясь, но вдруг качнуло его вперед и гневом застлало сознание:

— Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ!

— ...а вы не доводите нас до до этого, — так же, залпом, выпалил тот, но тотчас спохватился; видно было, что такие оговорки случались у него не часто. И тогда, как бы желая загладить неудобную для первой встречи шероховатость, кинуло его на нескончаемую болтовню, временами походившую и на доносную сплетню. Тут и выяснилось, что к Савину Гаврилу, лучшему в волости бедняку, ходит в праздники брат, сторож из лесничества; они пьют сообща, после чего надевают старые картузы и идут драться на улицу и дерутся до ключев, после чего, испив водицы, расходятся миролюбиво. С истории о загубленных рубахах перескочил он на Лышева Петьку, секретаря местной взаимопомощи, который набрал из кооперации товаров на трешницу, а денег не платит, ссылаясь на бедность; на увещания должностного лица, чтоб занял хоть у приятеля, отвечал злодей превесело, что ежели и даст ему под пьяную руку знакомец, то и сам не доплатит столько же. И еще рассказал он про молодого Жеребьякина, который, чтоб в Крас-

ную армию не итти, все искал заболеть дурной болезнью, для чего ездил в город и возвратился с удовольствием. Лукинич не щадил языка, и от прежнего казенного благополучия не осталось и тени, а Увадьев, когда наскучила ему эта словесная кутерьма, обнаруживавшая лишь великое душевное беспокойство макарихинского председателя, просто раскрыл окна и стал глядеть на улицу.

День огненно плавился на горизонте; слепительный металл его стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, еще небывалые на Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текет...»—от глупости или тоски сказал про закат сухоногий мужик, шумно покидая чайную; пугало его преждевременное заклятие сотинского дня. Окраска неба быстро менялась; насколько хватало глаза, везде, по глубокой предночной синеве разбросались крутые облачные хлопья; теперь небо походило расцветкой на казанское мыло. Вдруг Увадьев посвистал себе под нос и высунулся в окно.

По улице шли трое таких, что никак нельзя было оставить их без вниманья. Огромный, молодеватый детина, в пиджаке и сплавных сапогах, шагал справа; изредка он трогал все один и тот же клапан гармони и чутко прислушивался к звуку; ремень его многорядки великолепно облегал ему надменную и сильную шею. Слева мелко и часто ковылял на деревянных обрубках тоже молодой еще парень в кожаной куртке, с черным не без удали лицом; он не поспевал даже и за медленной ступью приятеля, злился, пыхтел, усердно преодолевая деревенскую грязь, уже тронутую заморозком.

— Мокроносов Егор да невалид Василий жениться пошли...— сказал в самое ухо Увадьева председатель и немедленно раз'яснил, что когда-то, тотчас по возвращении из армии, дыбил Егор всю округу на новый лад, был с отцом—одним из столпов сотинской знати—на ножах, мучил молодежь и крошил древний обычай, пока не завязли в липучем людском равнодушии его неутомимые лемеха.—У нас стареют скоро; еще вчера дитем было, а назавтра, глядь, бородкой обросло... — шептал Лукинич, но тот совсем не слушал, привлеченный другим, не менее знаменательным обстоятельством.

Посреди веселого того ряда шел Геласий, хозяин гульбы, угощавший скороспелых приятелей на скитской, видимо, счет. Скуфейки на нем не было, и медные космы его приобрели, наконец, себе желанную свободу. Наклоняясь вперед, весь сосредоточась на внутреннем своем огне, он шел вразв'алку, как ходили когда-то кандальники, и, подобно каторжному ядру, влеклась за ним его короткая тень; через каждые три шага он останавливался и строго глядел на нее, но та не отставала. Перейдя мосток, Мокроносов широко размахнул гармонь и разбрызгал звуки по тишине. Тотчас, задыхаясь и стенья, инвалид закричал беспутную песню, и Вассиан, напрасно дожидаясь Геласия в тот вечер, наверно, слышал ее со своего мыска... В небе легкий, как лодочка в разливе, покачивался молодой месяц, изливая ледяной, всепроникающий свет.

Потирая руки от холода, Увадьев захлопнул окно.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

## 1

Ветры дуют с моря, ветров много, дуют сообща. Рожденные на океане, баюканные в ледяных колыбелях, они в поисках иного, теплого раздолья нестройными толпами вторгаются на материк. Лгали птицы, гости юга: в лесах мрак да тишь, в тундрах ровень да болото вересом поросли, а на вересине комар сидит да лапой пузо гладит... Закутанные в метели, они поют тогда унывные песни о покинутой и милой родине, и вот на всей великой низменности, слегка холмистой и покатою к морю, останавливаются реки, наваливаются снежные небеса, а земля лежит бездыханна, одета в белые лохмотья зимы. К маю снова налетают обманщицы, дружно верещат ручьи, бегут крикливые ветры юга, а снег, разделенный поровну между Двиной да Волгой, шумливо расплзается по своим отечествам-морям. Тут его заодно на радостях грузят рубленным лесом, грузят шпальником, коротьем, пиловочником... поверх плотов садятся веселые, горластые ребята, и освобожденные воды тащат, не чуя тяжести, не умещаясь в берегах.

Они едут и смотрят: по склонам холмов ельники, а по холмам сосна; пески да глины, да супеси. Дует моряна с севера, зелены лезут туго, а жители все охотники да рыбаки. Лесные еще смолу курят, преречные скотинкой живут, а оставшая треть разбредается с осени по отхожим промыслам. Города здесь по пальцам перечесть, оттого вой в городах и безработица. Оттого повелось от века: чуть снег—артелями расходятся по лесам, курятся черные избушки в глуши, с гулким скрежетом валится промерзлый лес, а бойкие крестьянские клячонки стаскивают его на берег первобытным волоком, без подсанков, за ноздрю. А в самых дебрях, куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит тленье, гибнет лес на корню, болотится, засорен перестоем да валежником, откуда всякая цветная гниль, в жару—отлупа, в холод—морзобоина и другая стихийная порча добра. Летом, едва теплынь, на тех же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается великая гарь. Костерка не притушит охотник, сунет любознательности ради спичку в мох мимохожий озорник, и тогда на сотни верст страшно полыхает дебрь; ветер чешет ее огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, забытое в костре. В те месяцы все там, хлеб и вода, пахнет дымом; в отускневшем зное расслабленно звенит комар, и самый дым для горожан не боле, чем признак пришествия весны. В лесничьих сторожках одичалые, приставленные к лесу в дядьки, сидят бородачи; они спят и видят неопишуемые сны, страдают чудовищными флюсами и пьют втихомолку, зарастая волосом и равнодушные ко всему.

Именно пропадающее изобилие лесов и людей здешних, невлеченных никак в хозяйственный кругооборот страны, и надоумило Сергея Потемкина заказать знающим людям эскизный проект небольшого бумажного предприятия. Ни существовавшая в соседней губернии на речушке Нерчме бумажная фабричка Фаворовых, ни

четыре изветшалых лесопилки, ни воры лесные не могли истратить полностью годичный отпуск лесов. Строенная в незапамятные времена Павла и с его царского благословения оборудованная изношенными машинами, фабричка с натугой обслуживала лишь местные потребности; из лесопилок всегда работала какая-нибудь одна, остальные чудесно бездействовали, а воры крали по бревнышку, имея целью скопить за зиму сруб на отделенного сына. Вывозился к тому же крупный лес, а мелочь, дурняк да вершинник, все, что тоньше законных четырех вершков, оставалось на месте. Падаль заражала здоровый лес, плодился жучок, и одним лишь дятлам не под силу было справиться с сокрытым недугом: дятлы жирели, но и жучок не убывал. Потемкин волновался, Потемкин торопил с предварительным обследованием, ночей не спал Потемкин, смущаемый гибнущими богатствами края; сам уроженец Соленги, юность до солдатчины проработавший на сплаве, а потом бумажником, он по опыту знал о возможностях своей родины. Оттого в беседе с приятелем, попадавшим к нему в губисполком, он всегда заводил разговор все о том же.

— Гляди, миляга...—И тащил к карте, которая, как нарядный ковер, украшала в молодости своей и стены губернаторского кабинета.— Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу... стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, пустынные, черти, все—кроме разума и воли. У меня ежегодно тысяч двадцать десятин сгорает, а в засухи...—Он именно хвастался размерами своей беды, определявшей размах его богатства.—Смекай: избыток рабсилы, хозяйства нетрудоемкие... кто в лесорубы не уйдет, тот штаны жгет на печи да с голоду пухнет. Тьма, ведь они до сих пор керосин от кашля пьют... керосин, внутрь, понимаешь? А тут можно жизнь вдохнуть, кабы деньги. Жизнь продается за деньги...

— Ну и действуй... вывози своих чертей, продавай!—смеялся приятель.

— Купи, я тебе целые эшелоны наловлю... лесных, водяных, запечных! Процентом двадцать за наличный расчет, а остальное шестимесячными векселями, а?—и горячее человеческое тепло исходило от него.

— Ты энтузиаст, ты известный энтузиаст,—закуривая, усмехался приятель и знал наперед, что денег Потемкину взять неоткуда.—Кстати, у тебя детишек, никак, прибавилось?.. девочка?

— Следи, говорю!—И он с новым ожесточением тыкал в то место карты, где Соть встречается, наконец, свою небуйную сестрицу. Он тыкал сюда ежедневно, мутное пятно образовалось на Балунни, но покуда наклеенная на добротном холсте карта выдерживала напор хозяина.— Сюда, гляди, направляется вся древесина с Тыньмы, с Соленги, с Шимолы с притоками, с Уртыкая... много леса, мильон кубов в год... э, куда больше! В этом месте мы ее задержим, обработаем... здесь его обсосут сорок тысяч мужиков, а там...



— Суетлив ты, Сергей, и карту вконец испакостил. Из пятна-то хоть суп вари! Ты его нашатырным спиртом попробуй,—всемерно сопротивлялся приятель. Тощий живот Потемкина препоясан был ремешком, а пряжкой служила никеллированная бабочка; от безустанного порханья этой бабочки пестрило у приятеля в глазах.—Рублей поди, пятнадцать карта стоит...

— Ты... всерьез слушать можешь?—не в шутку сердился Потемкин.

— Чертила, дороги-то ведь нету!

— Тут только ветку... одиннадцать верст. На ветку-то и у меня хватит.

— А деньги?

— Ты дашь, ты богатый.

— Но я же не работаю больше в банке. Меня в резину перекинули.

— А в банке кто?

— В банке Жеглов пока.

Потемкин хмурился и глядел в окно, где по обледенелым мосткам скользил на одном коньке мальчишка; в посинелых от стужи пальцах он держал кнутик, которым воодушевленно подстегивал самого себя.

— Жеглов?... он в ревсовете семнадцатой не был? Я знал одного Жеглова... хотя тот, кажется, не Жеглов, а Жигалов... такая жалость.—Вдруг он махнул рукой и виновато улыбнулся.—Э, все равно, следи... С Тентелевки мы везем глинозем, а соду из Перми: вода же — фрахт дармовой! Серный колчедан, ты следи за моим пальцем, с Кыштыма... там как раз новый способ пробуют. Медь от серы отделяют, а получают... как его...—Торопливо приподняв за лицо гипсового Маркса, он вытащил из-под него толстую папку и бешено залистал страницы.—Вот, нашел: флотационные хвосты получают...

— Хвосты,—понура повторял приятель.

— Я, может, и путаю, но, по-моему, именно так; флотационные. Извести у меня полны карманы, хлорировать будем сами. Купи, я тебя засыплю известью! А еще тут осенью геолог один наехал; целое лето копался у меня на Пысле, а потом я его вот здесь час целый чаем отпаивал...

— Озяб, что ли?

— ...каолины отыскал, почище габаркульских! — Он вспомнил, что к каолиновому кладу нет ни дороги пока, ни тропки и в изнеможении присел на край стола.

Приятель с чувством вдавил окурочек в переполненную пепельницу:

— Слушай, друг: я в резине, в резине сижу, понимаешь? Я калоши делаю, шины, кишки резиновые... Могу изрядную соску, не хуже довоенной, дивчине твоей подарить: в десять лет не изгрызет, а?

...Так, бесплодно мытаря друзей, просиживая ночи с знакомым инженером над проспектами заграничных фирм, мечтая о пролетар-

ском островке среди великого крестьянского океана, он первоначально имел в виду нечто в роде Нерчемской фабрички для высоких писчих и печатных бумаг, способных выдержать любые фрахты. Постепенно мечтание его пухло, множилось и уже громоздкие принимало очертанья. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно провидела природа их будущее назначение. Железнодорожная ветка Вологда—Мычуг позволяла бесперебойно снабжать бумагой потребляющие центры, а в случае прокладки намеченной по пятилетке магистрали Солонга—Кемь значение потемкинского предприятия возрастало благодаря возможности использовать и внешний рынок. В месте слияния помянутых рек громоздился крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окруженный достойными его лесозаводами; напуганный собственной мечтой, Потемкин стал вдруг сдержан и молчалив... Строительство идет полным ходом. Пять тысяч строителей в три смены заканчивают возведение корпусов. Из Англии везут варочные котлы, каждый вместительнее его исполкомского кабинета; из Америки шлют оборудование лесных бирж, еще невиданное в Европе; турбогенераторы и дефибреры едут из Германии. Медлительно и лениво стальные чудища расползаются по узорному, плиточному полу и тотчас же их впрягают в широкие ремешные вожжи. Они еще спят, но однажды с ревом и грохотом пробуждаются к работе, и в этот ответственный день Потемкин ведет неведомого Жеглова хотя бы на водонасосную станцию. Все волнуются, но не показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешеномчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные насосы, а Потемкина не раздражают нарисованные кем-то на шее чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вначале, а вдвое, и в каждом бьет в лицо масляный зной, дуют зловещие электрические ветерки. В разлинованных улицах заводского городка цветут акации...

— Смотри, смотри, — дрожим шопотом говорит Потемкин, — познать класс можно из книг, но почувствовать — только тут, у машин, когда они в работе...

Край благоденствует, рабочий вопрос улажен, лозунги о социализме сходят в жизнь со своих уличных полотнищ. При электрическом свете мужики коллективно едят многокалорийный обед и, благодарно любясь на портрет комбината, слушают радиомузыку. Жизнь им легка и приятна, как новорожденному миру, но Потемкин и тогда не предается заслуженному покою. Потемкин не спит; он выпрямляет и углубляет древние русла рек, четверо увеличивает их грузоподъемность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потемкин объединяет три губернии вокруг своего индустриального детища. Потемкин открывает бумажный техникум и произносит знаменитую впоследствии речь о пользе бумаги. Целлюлозные реки текут за границу, процент целлюлозы в газетной массе утраивается, все чрезвычайно удивлены, и сам он тоже втихомолку чему-то удивляется. В его снах, как в ночной реке,

преувеличенно и зыбко отражаются дневные планы. Сны подгоняют явь, а явь торопит сны...—Оно истощало его, это непосильное мечтанье, как голодного мысль о хлебе.

Готчас после предварительного обследования он заказал экономический эскиз комбината. Лучшие статистики губернии, химики, техники, инженеры полгода любовно вышивали этот замечательный ковер. Написанный самым деловым стилем, отпечатанный на полутряпичной бумаге самыми грамотными машинистками губернии, снабженный картами и диаграммами почти перламутровой раскраски,—проект по стройности своей походил на стихотворение. Сперва шли экономические предпосылки целесообразности, возвышенные почти до лиричности; затем, вслед за перспективами потребления, поминалось кое-что и вкратце о возможных или обещанных железных дорогах; потом дружные хоры цифр пели о сырьевой базе, и, наконец, проект заключался описаньями рек и их бассейнов, с высотами половодного и межженного уровней, с указанием мощности, а в некоторых случаях даже и химического анализа воды. «Нужда в бумаге,—говорилось в заключении проекта,—обострившаяся благодаря отпадению производящих окраин, повышается с каждым годом и грозит перейти в бумажный голод. Политическая обстановка дня и переход на культурную революцию, имеющую завершить материальные завоевания, внушительно требуют развития отечественной бумажной промышленности...»

Отпраздновав окончание проекта небольшой пирушкой, Потемкин разослал его по всем хозяйственным властям, от которых зависело разрешение и кредитование комбината. Это произошло в начале апреля, но вот и береза распустилась в исполкомском палисаднике, и пьяные слобожане стали выползать на молодую травку, а все не поступало ответа в исполкомскую регистратуру. В конце июля, однако, пришла бумага из центра, где, принципиально соглашаясь с предложением губернского совнархоза, высокая власть сомневалась в возможности его скорого осуществления: кредиты были уже распределены... Прочитав письмо, Потемкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал в безразличном отупении. В воздухе, слабо пахивающем гарью, отдаленно гремела военная музыка. По площади прошли молодые люди из слободы, напевая под гитару —

Не влюбайся в карий глаз:  
 Карий глаз опасный...  
 А влюбайся в синий глаз...

Потемкину стало не то чтоб скучно, а как-то не по себе и еще хотелось пристрелить гитару как собаку. Колола вдобавок досада, что на всех хватает денег хоть и по нищему куску, а вот его безропотную Соленгу обрекают на прежнее прозябание. Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал прежде, когда сгоняемый плот затирало на пороге. Тут же позвонил он в губком, секретарь которого тоже собирался в центр по делам особой важности; одновременно дано было распоряжение на вокзал оставить билеты на сквозной архангельский

поезд. В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул свою обделенную родину. В настроениях он ехал крайне нетерпеливых; в вагоне, кстати, познакомился он с одним волосатым инженером, патриотом крайнего севера, который, как и он сам, направлялся в Москву кланчить деньги на постройку того самого медеплавильного завода, с которого Потемкин собирался возить свои флотационные хвосты. Не дослушав инженера, в котором, как в зеркале, увидел уродливое изображение самого себя, Потемкин с остервенением вышел на площадку покурить.

— Все бродишь?—кликнул его секретарь, папироска которого тлела в грохочущих потемках тамбура.

— Слушай, у меня мысль... Если Соленгу с Унжей соединить, там всего сорок восемь верст, лесная база увеличится втрое. Тогда не шесть котлов по восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того веду расчет...

— Иди спать, буторага!—тихо укорил секретарь.—Ночь, спать надо.

Тотчас по приезде они отправились в то высокое учреждение, где прежде всего следовало искать поддержки; один из секретарей его, сам литератор и потому в особенности озабоченный судьбами советской бумаги, долго расспрашивал Потемкина о мужиках к великому его неудовольствию.

— ...ворчат!—молвил Потемкин, угрюмо сворачивая на привычную тропу.—Лесу много, работы нет. На экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не выдержит, а бумаге все впору. Мы вот решили: надо на месте лес работать!

Приготовляясь к описанию сотинских преимуществ, он подошел к карте и пальцем искал на ней свою знаменитую реку, которую предполагал отныне прославить комбинатом. Он искал долго, и краска прилила к щекам, но то была не прежняя карта одной лишь губернии, а карта всей страны, с Сибирью, Кавказом и Туркестаном. По ней извивались чужие ему мощные реки, распростирались зеленые распльвы низменностей, коричневые хребты знакомых по наслышке гор, серо-желтые лысины пустынь. Его палец заблудился в необъятном этом пространстве и растерялся, найдя, наконец, свою область. Ее всю можно было прикрыть двумя ладонями, и великая Соть ползла по ней усмирным червячком. Заодно поискал он глазами и Соленгу, замечательную милую реку с белыми кувшинками в заводях, вольную и открытую как улыбка, с голубой водой и луговыми берегами; он вовсе не нашел ее на карте, словно стране не было дела до Соленги и ее поэтических красот. Секретари шептались, и Потемкин успел оправиться, но уже не умел вернуть себе прежнего воодушевления.

— ...сырря на тыщу лет, мужик хороший, крепостным правом не испорченный. Бумага на корню гниет, а нам газеты выпускать не на чем!—Он устал даже после того немногого, что ему удалось произнести.

Наконец, ему пообещали, что делу будет дано возможное внимание, и в Бумагу, к Жеглову, Потемкин ехал уже в состоянии крайнего недоумения. В сущности, для начала все шло неплохо, но чему, расставаясь, так странно улыбался секретарь?.. Ах, да, он пошумел нехватами, неугомонный Потемкин. — «Может, комбината и в самом деле не нужно, а газету можно печатать на фанере, на березовой коре или просто на облаках, как делают где-то в этой чудачкой Америке?..» Оттого-то в кабинет к Жеглову он и входил не без враждебной настороженности; ему казалось, что все вокруг тяготеет к его посещениям. Жеглов сидел не один, а с ним рядом молчаливая человеческая глыба с плотным, с почти заносчивым лицом, не располагавшим к задушевной беседе. «Тем лучше» — воинственно решил Потемкин и двинулся прямо на глыбу, но та прикрылась газетой и не допустила до себя; человек этот казался бы высоким, если б не был так коренаст.

— Товарищ, в очередь... — бросил Жеглов, второпях перебирая бумаги.

— Мне не к спеху, — откликнулся Потемкин, печально удостоверясь, что действительно в ревсовете семнадцатой они не встречались ни разу. — Пропускайте вашу очередь!

Он не принял приглашения садиться, ходил по комнате, укоризненно потыкал пальцем в бронзовую девушку на пепельнице, попробовал на ощупь бумагу, на которой напечатан был портрет вождя, и определил на глаз процентное содержание целлюлозы. В этой серенькой, с окнами на один из древних московских соборов, комнатушке все его раздражало. Тем временем шел уже третий посетитель; огромный мужчина, татарин по лицу и речи, сдержанно бубнил о бумажных нехватках на местах.

— ...баба в капертив приходит, сахар просит, сахар даем. Куда сыпать? В юбку сахар сыпать?

Жеглов заглянул поверх пенснэ куда-то в календарь.

— За третий квартал вам обещано отгрузить пятьдесят тонн. Все?

Тот не унимался и в раздумьи поглаживал необыкновенные свои габардиновые галифе:

— Погоди. Мужик сахар просит, куда сыпать?.. в штаны сахар сыпать?

Жеглов забарабанил пальцами в стол:

— В ту же бумагу и сыпьте, товарищ... в ту же бумагу! — звонил секретарю.

Проситель уходил в испарине, потрясенный убедительностью жегловского аргумента. В дверях он нерешительно оглянулся, загораживая проход, но раздалась еще какие-то звонки, и в щель пропихнулся мясистый человечек, обмахиваясь обрывком белого картона. Доведенный накануне до иступленья, он заготовил Жеглову целую чашу желчи, но, видимо, смутился посторонних людей и с отчаянья, точно козыряя, бросил Жеглову картонный листок, которым обма-

хивался. Затем, упершись изогнувшимися досиня пальцами в стол, он шумно дышал, и вся бумага перед Жегловым шевелилась.

— Папиросный картон, пятидесятих номеров,—безоблачно определил Жеглов, потирая образчик между пальцами.— Неплохой для вашего дела картон!

Лицо табачного директора исказилось:

— ...труха, с вашего разрешения, а не картон!—Лицо его вдруг заблестело, и толстый, побагровевший нос готов был скапнуть на стол, как большая масляная капля.—Мне из него, товарищ, не лошадок вырезать, а коробки папиросные клеить. Ну-ка, сломайте его, будьте добреньки!

Жеглов послушно сломил образчик и передал гостю; тот тоже надломил и почесал угол рта, под усами: в сломе обнаружилась сквозная трещина. С минуту все грустно созерцали неотразимую улику.

— А вы попробуйте замочить его перед клеей,—неуверенно посоветовал жегловский гость.

— ...они ж плесневеть будут!—взвизгнул тоненьким, трупным каким-то голоском директор, но сам смутился, ибо все кругом заулыбались, не исключая и Потемкина, и вот тут-то удалось спровадить его к члену правления.

С сердитым достоинством Потемкин положил на стол запасной экземпляр проекта и молчал, пока шумели страницы, листаемые Жегловым. Перегнувшись через его плечо, гость пристально заглядывал в сочинение о богатствах потемкинской губернии.

— Мы уже читали,—пожался Жеглов.—Вверх стучитесь.

— Стучался, возвратили с благодарностью,—откровенно ответил Потемкин.—Бумаги нет, подписку сокращаем... придется строить.

Должно быть сердил Жеглова воинственный напор гостя:

— Ну, и стройте. Благородное дело.

— Я бы и рад, денег нету.

— У нас по этой части тоже гайка слаба. А подписку зачем же сокращать! На газету найдется...

И опять он бегло просматривал проект, хотя знал его до последней точки. Потемкину показалось даже, что мнение Жеглова склоняется в его сторону; собравшись с силами, он метнулся к карте, и сперва все замутилось в его глазах, а потом голос его приобрел тот чрезвычайный оттенок, достаточный, чтоб убедить и дерево, что если отказаться от потемкинской затеи, то не стоило и революции устраивать на Соти. Жеглов тускло взглянул на гостя, и ораторское вдохновение Потемкина мгновенно иссякло.

— Ты меня не агитируй, а вот: у тебя там на Нерчьме фабричка, мы с ним и сами оттуда,—кивнул он на глыбообразного своего соседа.—Что, ежели бы расширить ее, машин подкупить, а?— Он знал и сам, что нерчемская руина движется единственно по раз-

бегу времен; он вспомнил старомодный тамошний дефибрер, который, хрипя и кашляя, оплевал его однажды перемолотой древесиной, и со вздохом закрыл папку.—Может, цепи там переменить, камень выписать новый...—Ему никто не ответил.—В Цека был?

— Часа два назад.

— С кем говорил?

Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда в действие вступил третий, молчавший с самого начала.

— Садись сюда. Меня зовут Увадьев, я из Бумдрева. Бисерного твоего шитья я так и не успел прочесть, ругаться меня в одно место посылали. Вот: ты на какую производительность рассчитывал?

Тот замаялся: было страшно пугать раньше времени этого неожиданного друга.

— ...тысяч сорок тонн в год.

— А через год новые корпуса пристраивать?

— Так можно и круче взять,—взыграл Потемкин, томясь неопределенностью минуты.—Там раз'езд придется перенести да еще ветку... я бы и на себя взял!—Лавина сдвинулась с места, и нужно было лишь подтолкнуть ее в начале пути.

В продолжение двух месяцев они не раз еще встречались у Жеглова в Бумаге, и бронзовая девушка на пепельнице перестала сердить потемкинское целомудрие. Непостижимым образом дробя свой день, он ухитрялся ежедневно ходить на штурм, и не всегда возвращался с пораженьем, но всегда израненный в лучших своих чувствах; твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как-будто удаленное на века. Всюду—в редакциях крупнейших газет, в правлениях банков, в кооперативных конторах—его знали в лицо, и кое-где он стал уже надоедать. Он осунулся, оброс волосами и напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой...

Здесь на полпути к нему примкнул Увадьев, действовавший как таран; он сделал это во-время, Потемкин изнемогал. Папка первоначального проекта разбухла и затрепалась. Ученые эксперты трех высших учреждений качали это невозросшее детище в глубоком удивлении кабинетов; сановитые бюрократы закутывали его в бумагу обширной переписки; дитя хилело, и тогда Увадьев кинулся за помощью к газетам, но там напутали, и еще прежде, чем дело приблизилось к экономическому совещанию, пошли слухи, что именно Увадьев встанет во главе Сотьстроя. Более того, распространились сбивчивые известия, что комбинат уже разрешен и остановка только за выбором технического оборудования. Какой-то ретивый журналист начал свою статью барабанной дробью: «Еще один раз Соть, и мы станем вывозить целлюлозу!...» Некоторые полагали, что Соть уже построена, и газетная трескотня носит полуюбилейный характер... А там, на Соти, пока еще качалась и зрела тощая мужицкая ржица да кричали лягвы в приречных низинках.

Все же потемкинское войско умножалось, и в жегловском кабинете, под редкий благовест церкви, обсуждалась уже финансовая часть предприятия; имели в виду взять процентов восемьдесят годовой прибыли треста плюс тридцатилетний кредит из банка, возглавленного Жегловым. Кстати сказать, людской материал стал скапливаться задолго до того, как явилась нужда в материале строительном. И первая встреча произошла в одном из тех доходных и безвкусных домов где-то на косогоре возле Сретенки, каких уйму настрйоила Москва в пору своего торгово-промышленного роста. Причины, которые привели туда Жеглова, относятся к тем отдаленным дням, когда мальчик Жеглов и не помышлял еще о роли, какую ему навяжет жизнь.

## 2

Неразукрашенная ничем—разве только красные флаги вспыхнули однажды и погасли надолго, да еще покойному дядьке руку оторвало в каландрах машины—протекала его юность. Нерчьма в этом месте падала в Соленгу, а при слиянии, о-бок богатому селу, ютилось бумажное заведение купца Рыбина с сыновьями; они тут же и бегали по двору, норовя подстрелить зазевавшуюся ворону из рогатки, эти помянутые на вывеске сыновья. Содержа семью в азиатской строгости, оны бородатый хозяин всю землю скупал и, по фабрике сказывали, до тридцати тысяч десятин накопил, но помер в холерный год, и в ту же дверь, в которую вынесли запаянный гроб старика, хлынуло, как в прорву, накопленное добро. У забитой его супруги тотчас объявились незаменимые молодые люди, а у них пожилые родственницы, а у этих духовные пастыри, и все кормились, а перезаложённая фабричка хирела, портились машины, падал кредит. Кстати и сыновья, матушкина беспутства наглядевшись, мотали даровую деньгу: все хотелось дворянским пером украсить вчерашнее холуйство. Через год уже не давало молока истощенное вымя, а тогда продали наследники и всю корову на зарез. Новый хозяин Фаворов бородку уже стриг, над дворянством посмеивался и европейскую свою науку с российским навыком сочетал. Прибрав фабричку к рукам, он управителей разогнал, машины починил и сам сел за управление, а через два месяца случилась первая забастовка, сопровождавшаяся бунтом, поджогом и убиением урядника. Однако, этот первый свой экзамен он успешно выдержал, иных рассчитал, иных под суд упрятал, и вот снова из продырявленного вымени заструился живительный сок.

В партию бумажников, ушедших на поселенье, попал и молодой Жеглов; безрукий дядька пропал где-то в поисках своего безрукого счастья, и так как в домике никого не оставалось, то и домик их скоро сгорел; так и потерялся жегловский след. Преступников судили в окружном суде, и сперва присяжные пожалели этого тихого и сияющего парня, но прокурор заартачился, перенес дело в палату, где сразу и обнаружилась сугубая жегловская вредность. Год был мя-



тежный, суд происходил при закрытых дверях, и Наташа, единственный друг Жегловского детства, до поздней ночи простаивала у ворот. Когда осужденного Жеглова уводили под конвоем и Наташе запомнилась навсегда молодцеватая бескозырка одного из конвойных,— они встретились глазами. «Зубы болят!»—только и крикнул Жеглов, комично держась за подвязанную щеку, и они расстались надолго.

Письма и в первый-то год приходили редко. Потом Наташа вышла за Увадьева, молодого и сытого мастера с той же фабрички, где сортировщицей работала и сама. Детство и память о дружбе затмевались мелочами новой жизни, и вдруг она забыла, как звали того смешного сторожа в поповском саду, куда они детьми пробирались за падалками. Птицы клевали яблоки; старичок привязывал веревочки к вершинкам и, дремля у бани, подергивал то за одну, то за другую; птицы не унимались, а яблоки все падали, пока не прогнал поп домодельного сего изобретателя. Потом ей стало это нелюбопытно. Через год она забеременела, но поскользнулась однажды в гололедицу, возвращаясь из церкви, и это несчастье наложило свой отпечаток на Наталью: она сжалась и точно озябла навеки. Попрежнему она ни в чем не упрекнула бы мужа, которого хоть и мало кто любил, но уважали все, не исключая хозяина; ей бывало как-то холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки.

К тому времени уже собиралась у него по праздникам фабричная молодежь. Из карманов у всех откровенно торчали головки винных бутылок; снабженные гербом империи, они не хуже паспорта удостоверяли благонадежность потребителя. Бесскандально пошумев песню на крыльце, приятели уединялись в материну каморку, и всякий раз, когда Наталья вносила им чай, делали вид, будто спьяну забавляются анекдотцем неосторожного содержания. Изредка приходил дяконов сын, земский статистик, и сразу в Увадьевском домике становилось беззаботно, точно в снега декабрьские ворвался гремучий ручей. С Варварой, матерью, он вел разговор о лечении застарелых недугов обыкновенным луком, а с Натальей о пользе детей в домашнем обиходе; никто рассуждений его всерьез не принимал, но и не обижался. Он всегда пил сырую воду, и Варвара шутливо грозила, что он и сдохнет когда-нибудь от сырой воды. Однажды его арестовали, но собираться продолжали и без него.

Тоскуя о дяконовом Ваське, Варвара насоветовала как-то Наталье одернуть мужа:

— В Сибирской-то губернии, сказывают, все дороги умниками вымощены. Напиши-ка Щеглу своему, спроси, ладная ли дорожка выходит, не тряская ли... — под Щеглом она разумела сосланного в каторгу Жеглова.

В вечеру той же субботы Наталья собралась переговорить с Иваном; не упрекать его собиралась, а лишь расспросить и, если потребуется, помочь в его потайном и опасном деле. Муж вернулся поздно и, как сразу поняла жена, пьяный; это случилось впервые за все время

их совместного существования. Держась рукой за притолоку, он стоял на пороге с закрытыми глазами.

— Лампадки зажги, пустельга!—раздельно и сипло сказал он потом.—Дай ему огня и масла, волосатому...

Шатко пройдя к нарядной кровати, он с сапогами завалился на тқаньевое одеяло и так лежал, распластанный, дико глядя в потолок. В его распоротой, может быть, о раздавленный стакан ладони запеклась кровь. Тикали часы и доносилось теляное чваканье из-за перегородки: мать месила пироги к празднику. Полыхали лампы, и одна струила тоненькую\*горелую вонь. Вдруг он поднялся на локте; голос его звучал почти трезво:

— Ваську повесили, кувык...—и показал рукою место, где сожмнулась веревка.

...не помогли конспиративные лампы: утром взяли и Увадьева. Судили его не за ту большую вину, в которой был повинен не меньше Васьки, а за шальное слово об империи, — так об'яснял он сам Варваре. Он вернулся через год и три дня, потребных на то, чтоб добраться до фабрички в распутицу. Вместе с товарками по фабрике Наталья дивилась, что он даже не осунулся, не постарел, точно его там зацементировали впрок; тюрьма другое оказала влияние: он стал выпивать. Делал он это и в компании с матерью, которая вином лечилась от какой-то запущенной простуды. Каменной породы, как и сын, рано овдовевшая, Варвара сохраняла почти тридцатилетнюю свежесть. «Я вдова стойкая, первый сорт. Мне бы с медведем жить!» — шутила она, и правда, только полнота да тугой крупчатый румянец выдавали ее крайнюю спелость. Выпивали они в согласном молчании, и сперва бутылки им хватало почти на неделю, но к началу войны ее хватало на срок уже гораздо меньший. Молодежь забрили, сборища прекратились, и теперь сам Увадьев изредка уходил куда-то, а куда — Наталья не смела спросить. В пору его отсутствия летом однажды заходил мужчина в панамке, сказавшийся не то мужем покойной тетки, не то братом дядиной жены; проныра и мигун, он просидел с полчаса, и Наталья не остереглась бы от вредной доверчивости, не вернись во-время Варвара; тогда он заметался и, не допив квасу, заспешил на поезд.

— ...вот шпарну тебя кипятком, кота драного! — загрохотала вслед ему Варвара, но тот не обиделся, а лишь поскалил мелкие серенькие зубки.

Следовало ждать неприятности, но тут об'явили мобилизацию дополнительного года, и Увадьева смыло общей волной. Всюду сопровождала его великолепная удача: его не убили, даже не подрали, а разрушительная работа, которую продолжал вести и в армии, благополучно сходила ему с рук. Письма содержали краткие сведения о здоровье и опасностях, от которых охранил его господь. «Благодаря богу, я в атаку не ходил»—писал он, и Варвара хмурилась на эту не-напрасную осторожность сына. На третий год войны нагрянули

с обыском как-то ночью, ископали дом и огород, перевершили вдрызг Варварины укладки. Сидя в одной рубашке на кухонном столе, Варвара яростно созерцала распоротую перину, память о недолгом супружеском счастье. «Не вслуайтесь, душечка,—ластился жандарм, созерцая ее гранитные формы.—Я сам семейный и родителям сочувствую». Тогда же стало известно и об аресте самого Увадьева, и тут один из фабричных старожиллов признался Наталье, что уже три года муж ее состоит членом подпольной организации. Было горько узнать, что столько лет муж скрывал от нее свое истинное лицо и дело, но она простила ему и теперь, потому что неспособна была на большее. Поистине везло этому упорному, спокойному человеку, битюгу революции, как его называл покойный Васька. Гибель империи освободила его от военного суда и кары; с этого момента он пошел в гору, не отказываясь ни от каких постов, где требовалась работа почти парового копра. Лишь через полтора года он выписал к себе жену и мать в тот сретенский дом, о котором помянулось вначале.

В годы гражданской войны Наталья встретила с Жегловым. Она поехала к нему в редакцию одной профсоюзной газеты, и тот не узнал сперва в маленькой, усмирной женщине прежнюю Наташу; он успел забыть, что она никогда не выделялась бойкостью, и второпях решил, что ее просто старит нескладная кожаная куртка. Десяти минут хватило, чтоб вспомнить знакомых, мертвых и живых:

- Где Ваня Пташин?
- Его убил Колчак.
- ...а этот, Бусанов?
- Он в чека, где-то на Кубани.
- А Увадьев, ты помнишь его?
- Да, он тут. Это мой муж.

Потом Жеглов поделился с ней грязноватой плюшкой, которую почему-то в кармане принес ему курьер; потом стали мешать телефонные звонки; потом Наташа уехала, и в следующий раз они встретились только через месяц. Теперь они ближе разглядели друг друга и нашли, что все обстоит попрежнему. «Да и Щегол все тот же, только прежнюю незлобивость посмыло с него там, в приполярных тундрах...»

— Ты работаешь где-нибудь?

— Я... видишь ли, у меня... — В ее лице разбежался пятнистый румянец, она замялась, и Жеглов с новым чувством заметил, что Наталья беременна; именно это обстоятельство вернуло в их отношения простую человеческую естественность, которой не доставало вначале.

— Да, я вижу. Скоро?

— Месяца через четыре.

— И ты счастлива?.. то-есть... ну, ты понимаешь меня?

В ответ она улыбнулась так обиженно, что губы ее встали почти вертикально. Ощувив неловкость, он перевел беседу на каторгу, всесибирскую скуку, прочитанные книги и встречи с людьми; избавленная от необходимости говорить, Наталья отдыхала. В сумерках вернулся с

заседанья муж, и Жеглова сперва неприятно поразила его заносчивая угрюмость. Узнав Жеглова, которого знал, впрочем, больше по нашумевшему в свое время неудачному побегу, он проявил неуклюжую любезность, и вдруг зачем-то понадобилось ему вспомнить деда своего, искусного черпальщика, которого фабрикант Филатов, строитель фабрички, променял на кобылу в яблоках, мыловара и пожарную трубу; про трубу он помянул дважды и даже помнил числа, когда бежал его предок на вольный Дон, когда был пойман и бит плетьюми и, уже одноглазый, снова поставлен к машине. Выходило, будто в родовой неприязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих рогатках, он и Жеглова вызывал на соревнование, а тот сочувственно кивал головой, прячась в дым папироски.

— ...удачник! — только и сказала Наталья, когда муж уехал.

— Не врал про деда-то?

— Нет... он только округлил. Это моего прадеда променяли на трубу. Ты не суди его строго...

— Я и не обвиняю.

... именно обвинял, подозревая в нем тот сорт людей, которые непереносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болезненно переносят нерасположение свыше. Впоследствии он изменил мнение об этом суковатом человеческом кряже, достойном лежать в фундаменте большого дома, но Увадьеву так и не удалось завоевать его дружбы, целиком принадлежавшей Наталье. Он понял многое в отношениях мужа и жены, а прежде всего—что было великой неделикатностью дразнить ее расспросами о счастье. Она любила его и уже приыкла к печальной роли луны, отражающей блеск отдаленного светила. Развод не доставил бы ей облегченья: втайне она жила его порывами, и не ее вина была в том, что не подходило случая, когда она могла бы проявить преданность и верность. Таким случаем была бы лишь крупная какая-нибудь неудача, и однажды она не без горечи высказала ему это.

— Калечку хочешь при себе иметь? — Должно быть вспышка его об'яснялась боязнью, что кто-то спугнет его знаменитую удачу.

Впрочем, он великодушно переносил ее присутствие, и происходило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужившей его привязанность черной работой прачки и жены; попросту дни Увадьева были завалены более важными делами. Возможно, он был приспособлен для иной, сокрушительной любви, за которую надо бороться и тратить силы; он ждал другой, равной по возможности ему и непохожей на Наталью, которая девять лет уныло проторчала под рукой, как походная чернильница. Переворот этот мог произойти каждую минуту, она знала это и жила беспокойно, как на бивуаке, всегда готовая уступить место еще несуществующей сопернице. Целых два года длилось это противоестественное равновесие, а та, уже победившая, все не шла. В ожидании катастрофы ее не тревожили временные увлеченья мужа; нетронутый в чувствах и потому падкий на не-

обычное, он позволял себе изредка эту любовную роскошь. Не страшась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом, который случайно оставался у него в кармане от другой; сам он не любил сладостей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире. Жуя это горшее отравы угощение, она зорко наблюдала его в те часы; он сидел очумелый, уставясь куда-то в беспредметную тишину. В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения.

К этому времени Варвара раз'ехалась с сыном. Привыкшую к нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие. Случались ссоры и раньше, но Увадьев терпел, уживая в ней самого себя; однажды нитка перетерлась. На прощанье выругав сына окаяннм солдатом, она выговорила ему все, что отстоялось, как в масляной бутылки, в ее просторном сердце.

— Жги да пали, да сяки, да руби однородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех нехватит, так хоть из ситчика пошейте, черти неправедные...

Связав полотенцем неразлучную перину, спутницу скитаний, она сунула в середку икону, села на извозчика и укатила куда-то в подвал: кто-то обещал ей место трамвайной стрелочницы. В тесной квартирке Наталья осталась одна; в ожиданьи родового часа она беззвучно бродила по комнатам, избегая взглянуть в нарядное с бронзой зеркало, выданное по ордеру. Дымила печка; черная, клейкая, как лак, гуща капала из трубы. Напротив в окне висела облупленная вывеска закрытого ящичного заведения. Мужа услали в командировку. Жеглов приезжал по пятницам. Кто-то внизу играл на трубе.

Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались преждевременные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду на примусе и курила толстую дымучую папиросу; затягиваясь, она равнодушно глядела в просвет на заиндевелом окне: там, на улице, подыхала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в октябрьских боях, и с тех пор она почитала нравственным долгом ненавидеть большевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламенно, так как недолюбливала и братца. У нее на лбу, в землистой борозде, прятался прыщ, и Наталье все казалось, что такая непременно ткнет ее папиросой в голый живот. Тем сильнее она обрадовалась Жеглову, который еще с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, присев возле, он рассказывал невероятные истории, как, например, и ему однажды довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не смеялась и, кутаясь в шубку, все косилась на акушерку, вынимавшую из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилося из откинутой руки.

— Ну, родитель, ступайте покурить... — оживилась акушерка и вытолкнула Жеглова, который от растерянности кинулся прежде всего поднимать яблоко.

Обжигали его затуманившиеся Наташины глаза; кроме того, видевший расстрел рабочей демонстрации, он не выносил женского вопля. Как был без шапки Жеглов выскочил на площадку лестницы. Дверь, снабженная автоматическим замком, захлопнулась. Жеглов остался один.

## 3

Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже не имели стекол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестничного провала. Обвиваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на месте и все вскидывал на нос спадающее пенснэ. Рубашка из синей бумазейки, какой раньше обклеивали футляры, вовсе не согревала. Когда стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже соблюдая подсознательный ритм. Дверь соседней квартиры открылась, и человек внушительных размеров да и возрастом не менее пятидесяти вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые сочлились и сквозь войлочную обивку. Тогда, застенчиво улынувшись, Жеглов стал сморкаться.

— Ничего, валяйте, — сказал человек 'с тряпкой.

— Дует очень, — пожаловался сквозь зубы Жеглов.

— Зима, — рассудительно определил тот. — Брат?

— Не совсем.

— Э, дядя! — догадался тот, не допуская никакого родства, кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву.

— Знаете что?.. Не дядя!

Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье:

— Да — можно простудиться — январь, — и неторопливо захлопнул дверь.

Так прошло минут пять; шнурочек от пенснэ покрывался легким инеем, когда дверь снова распахнулась. Тряпка все еще висела у человека на руке.

— Да — я забыл — войдите — у меня печка — потом чай. Я тут пол—тряпкой.—Отрывистую, точно сердился на вопиющую неточность слов, речь свою он сопровождал нетерпеливыми жестами. Пропустив гостя вперед, он старательно запер дверь на цепь. — Не пенснэ — не пустил бы.

— Пенснэ не паспорт, — засмеялся Жеглов, все еще не доверяя тишине за дверью.

— Пенснэ — надо смелость — за пенснэ могут расстрелять — беглые хлюсты с каторги!

— Знаете что?.. — осторожно приподнялся Жеглов. — Я уж, пожалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги.

Хозяин раздумчиво взглянул на гостя.

— Ничего — сидите — там зима. Моя — Ренне, ваша Жеглов? Я не был на каторге — брат был — горный инженер — помер.

— И давно? — неопределенно поддержал Жеглов.

— Да — помер, — не понял хозяин и поглядел на стену, где рядом с мешочком крупы, помещенным туда от мышей, висела фотография инженера с мешковатой выправкой; будучи молод и глуп, зная каторгу лишь из окна казенной квартиры, инженер презирал и крупу, и предстоящего Жеглова. — Помер — смерть растворяет — как сахар, но мысль нельзя — кристалл. Бессмертие — я потом докажу. Если да — в этом стакане будет безумие! — Он нарисовал широким жестом этот стакан, годный для определения и вселенной; потом перешел к окну. — Там лошадь мрет — хвост притоптали — он примерз. Хотите глядеть? у меня бинокль...

— Я уж лучше чайку предпочту, — открыто намекнул Жеглов, жадно впитывая в себя тепло из печки.

— Ладно — у вас яблоко — будем с яблоком — давайте половину — снесу жене.

Разорвав яблоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил ее за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых еще полов пахло какой-то знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропотливости тонко; изображали они не то листву как бы архейского папоротника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разглядываньем рисунков.

— Это жена, — пояснил он, внося чайник и ставя его на печку. — Это мороз с окна — трудно — у нее глаза болят. Маньяк — ему нужно гармоничность распределения молекул — кристаллограф — скоро расстреляют. Нет, тот от гиппосульфита — на стекле. Он в м у к е служит — носит в карманах — ворует.

— От рисования заболели глаза?

— Да — тряпочки с холодной водой — и лежать. Теперь сам — полы стираю — белье — человек должен все. Бегать не умею — украл доску из забора, упал — пять пудов без тары.

Жеглов так и понял: перед ним стоял помраченный интеллигент, для которого с начала революции потух и свет в мире. Путем наводящих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком лесного дела, и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей сестры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье молоко, сестра вскоре умерла; привыкшую к плавному теченью прошлого века, ее слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Провинциальные условия не способствовали тихому житию; местную власть, на глазок определявшую степень вредности граждан, могли когда-нибудь ущемить белые воротнички инженера. Тогда Ренне бросили сестрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь можно было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь для добывания еды. Под одеялом одолевала смертная тоска и червился

разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, он все еще скрывал свое инженерское звание, полагая, что за это-то и кокнут. Постепенно он входил в общую линию и, когда однажды ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не смеялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь, он тихо копил жиры, изредка проветривая их созерцательным бездельем. Ему даже нравилось это добровольное самоуничижение, а средства к жизни... кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, что муж ее рожден для великих свершений. Сперва она шила чуваки, а ковер покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить побольше муки, прежде чем маньяк расстреляют, жена целые дни проводила в своем слепящем труде, а муж валялся на диване, зарастая седоватым волосом и твердил дикую штуку, надипшую ему на разум, как окурок к каблук — «ерой-ерой, а у ероя еморрой!»

— Слушай, Филипп, — подошла однажды она. — Я ничего не вижу. Круги летят... Я разбила сейчас последнюю нашу кашу, посмотри!

— А у ероя... Дай, водички, дружок, — басовито попросил муж.

— Я не вижу... — сквозь зубы повторила жена и, боязливо вытягивая руку, пошла прочь.

Инженер поднялся и, как в похмелье, взгляделся в мир, который содрогался от потрясений. Во всем происходил необыкновенный кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно опрокинутому грузовику, тархтела российская машина, а людишки бегали вокруг, собираясь снова поставить ее на колеса. Тогда весь в поту и с сопеньем Ренне сам зарисовывал замысловатую игру ночного мороза, изредка вскакивая переменить холодные тряпочки на глазах жены: все еще резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так дело длилось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечательную машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был вечер, когда снова в крахмальном воротничке, неотделимом от его человеческого достоинства. Ренне вышел из своей пещеры. По бульвару стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездешними глазами. Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вел на цепи медведя, а сзади шел горбун с бубном. Он шёл важно и угловатую свою голову нес на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускользнул от трамвая; его ошеломляло бытие. Он зашел в парикмахерскую и приказал постричь себя помоложе; в зеркале он увидел одного знакомого чудака и раскланялся с ним, словно расстались только вчера. Ему очень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы, этому Ренне... К слову, фамилия его обманывала; был он по наружню-



сти явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость.

Она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала слащавая участь детей, единственных в семье. Самого Филиппа Александровича мало что интересовало, кроме дела, а мать, не без черствоватинки, стояла за сугубо-суровое воспитанье дочери. Ее не баловали ни чрезмерной лаской, ни сладостями, и когда пришлось однажды накзать за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, кроме как проколоть и разорвать на глазах у дочери любимый ее цветистый мяч, который девочка почти обожествляла в детском своем воображении. Сузанна со смущенной улыбкой созерцала гибель резинового божества, не заплакала, не закричала, хотя целый месяц после того спала с этими двумя цветными половинками, из которых изошла звонкая, веселая душа. Это случилось в пору, когда Ренне управлял одним из крупнейших лесозаводов; резвая девочка бегала всюду, ее безотлучным спутником был тот самый мяч, весельчак и скакун, а после казни его пустующее место божества заняла помянутая сестра инженера. Ежегодно наезжая весной, она привозила в дом горы пряников, запах каких-то провинциальных духов и суетливый, праздничный беспорядок. В первый же день они становились подругами, вместе уходили смотреть на ледоход, а когда обсыхала одна заветная полянка, они тайно убегали туда и, сцепившись руками, кружились до изнеможенья, молодая и старая, и все кружилось вместе с ними; самая весна состояла для Сузанн именно в этом необъяснимом круженьи, когда старость ликует вместе с молодостью, которая гонит ее из жизни. Но и это божество караулила печальная участь; как-то на страстной Сузанна нашла под лестницей исписанные клочки, кинутые за ненадобностью. Она сложила их на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в разорванные, разобщенные слова; свежий ветер из форточки шевелил ее локоны. «Дуняшу обозвала стервой, — прочла Сузанна нараспев. — Вспомнила милого и развратного Nicolas». В этой хартии, составленной, видимо, перед исповедью, имелись грехи и посущественнее, перечисленные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины, но одно слово вдавилось в нее своей таинственной краткостью.

— Мама, что такое бог? — заикнулась она вечером за общим столом.

Родители переглянулись:

— Кто обучил тебя этому слову? — строго спросила мать.

Она объяснила, и тогда получился крикливый, смехотворный скандал. В этой семье, поставленной на естественно-научных основах, всякий вел себя так, как ему потребно было для физического здоровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от Сузанн; нужно, значит, было произносить некоторые слова шепотком, когда говорилось о рабочих. Девочка пристальнее вглядывалась в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не обо что было измарать ее беленькое платьице. Она не успела подвести

итоги своим наблюдениям; вскоре Ренне перекочевали в город, на старую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком паркете восемь лет бесстрастно отражались классические истуканы, но вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, порой кровавые портянки. Подуло необычным ветром, и Сузанне однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там на изразцовом камине стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери; желчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, но они свыклись и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, — это был свечевидный цереус; под'яв бородавчатый палец, он сердито вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама давно заблудилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хилые ножки и ручки; он помахивает ими и все не смеет прыгнуть, чтоб бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, которого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привычку дергать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил желтые свои ногти; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий и за его томные, резиновые вздохи.

— Какое у твоего Порфирия лицо темное... точно трупное пятно, — бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. — Это потому, что он сам часть трупа... — Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто надоели тесные рамки семьи.

— Не держу — уходя, захлопни дверь — шубы! — резко дернулся он.

Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне: созревшему семени всякий ветер — попутный. Поезд, набитый искателями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей, до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по дороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокойство. Свирепой раскраски закат громоздился впереди, точно где-то, тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом отсвете его на невспаханых полях качались бурые стебли пижмы. За бугром циклопической величины родилась деревня. Черная тряпка болталась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы мужики защищались от постоя солдат. Она зашла, ее напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу,

когда желтая звезда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Здесь догнал ее парень в матроске, смуглый, острый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она отвечала; он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дымного степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой напряженной дружбе они продолжали путь. Во мраке явились деревья, похожие на закутанных, спешащих в неизвестность женщин. На хуторе светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное припрущенное веко, отворил им на стук.

— Тебя искали, Савка, — шепнул он.

— Это моя... — откликнулся тот, пропуская Сузанну.

На хуторе им дали коней, и утром они примчались в одну из партизанских банд, которую, как ложкой, эпоха помешивала в кипучем украинском котле. Банда действовала в тылу у белых, но, когда красное командование попыталось прибрать ее к рукам, банда круто извернулась и перешла на сторону желтолицего. Все это была пыль, взметнувшаяся из-под сапог героев. В этом многолюдном таборе, не признававшем никаких истин, кроме отрицающих истину же, Сузанну приняли довольно охотно, и Савка ревниво оберегал ее от всяких скоропалительных друзей. Она еще не имела цели, кроме настойчивого желанья отряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; пленяло самое время, в котором несбыточные лозунги цвели как песни, с кровью и дымом вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя за пулеметом в своей тачанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она воистину веселилась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира... Именно по его руинам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели эти полугуннские колесницы, и призрак иного, желтого пращура незримо шествовал над людским потоком. Бывали связаны по две в ряд тачанки; на дощатом, дребезжащем настиле плясал под песню какой-нибудь осатанелый казак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапог, памяти об одном зарубленном, оставались только голенища, остальное исплясал, и черная мозластая ступня имела свободное соприкосновение с ускользящими подмостками.

— ...красотка, родных сапог за любовь не пожалею... только голенища и оставлю для теплоты. — Он зазывающе косил в нее черничным зраком, дразня Савку, неотступного хранителя ее жизни и целомудрия.

Ей многое грозило; там не расстреливали, а рубили на куски. При ней известный Харлапко, убитый позже на перегоне Бирюч—Полтава показывал на пленных высокое искусство партизанской рубки. «Людина, — вона ж легка, пухната; ні за що поважати людини...» — Шипящие буквы ветром свистели сквозь пробойну в зубах. Она зевала, она уже привыкла, без крови было проще и умней, и Савка вздувшимися от гонки глазами следил за ней со стороны. Сквозь тонкое сукно немецкой голубой шинели он угадывал ее нетисканую грудь, конусами

устремленную вперед, жаждущую впитаться в подобную себе мякоть; он еще помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло ему чрево, точно туда заскользнула крохотная долька ее губ. Пресыщенный разгулом, он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в этом состояла животная мудрость его страсти.

— Ты ж не нашего саду яблоко. Ты ж оттуда, куда стреляем... Занятно ж жить на проклятом этом шарике: видно и вошка наша кому-то всласть пошла!.. Слушай, меня даве Галина спрашивала... — так звали подругу желтолицего — ...с кем живу. Я сказал — с тобою.

— Иди вон, собака... — С каждым днем ее все более пугало злое Савкино великодушье.

Он мучил ее, оставляя безнаказанными ее прихоти, в особенности одну, о которой крепче помнил, наверно, тот неведомый человек и враг, которого ей захотелось спасти. В суматохе катастрофического отступления белая батарея забыла его на наблюдательном пункте; по расковырянной дороге, уже перерезанной партизанами, он отступал в одиночку, сквозь подозрительные кустарнички и ночь. Белого своего коня он вел на поводу, так как установился обычай стрелять чуть выше коня, где незримо должен покачиваться всадник. Так он вошел в разоренное село и, оставив лошадь у крыльца, быстро поднялся вверх, в командирское жилище. Низкая комната была непривычно пуста, по полу валялись ведомости, газеты, ордера — листья с облетевшего дерева; на краешке стола полуаршинным огнем пылал в стеариновой лужице огарок, — через минуту должен был начаться пожар. Шальной от двух бессонных ночей, кусая истрескавшиеся губы, он соображал обстановку: голова была зашита как бы в кожаный футляр. Снаружи раздался галопный топот; он бросился к окну; в расплывчатый блик окна ворвался часовой и камнем упал в ночь. Село без выстрела занимали партизаны, и, вот, в подтверждение догадки, в комнату взбежала женщина. Он не запомнил цвета ее волос, — все в его глазах было таким же рыжим; он не обратил вниманья на занятную горбинку в ее лице, — она не становилась к нему в профиль. Опустив руку в карман голубой шинельки, она смотрела на забрызганные грязью сапоги офицера и ждала, может быть, его крика. Трудно было поверить в спасенье: собственный его маузер остался в кобуре седла.

— Слушайте, Маруся, — сказал он на всякий случай с волчьей какой-то улыбкой, — проводите меня отсюда. Мне очень не нравится тут...

Она усмехнулась его откровенности. Марусями звали тогда всех женщин, носивших неженскую одежду и деливших боевую участь с мужчинами.

— Иди сам... — и перебирала пальцами в кармане.

Медленно, затылком назад, он спускался по раздирающе-скрипящей лестнице и все ждал, что вот грянет воздух позади, и он, цепляясь шпорами за ступеньки, скользнет вниз. Но происходило не так, смешная выпадала офицеру судьба. Внизу его встретил фантастический

призрак в генеральской шинели, возможный только в такую неправдоподобную ночь; по поясу его в черной шелухе сидели гранаты, а папаха, перекроенная из муфты, обнажала страшный, непокорный вихор. Должно быть Савка сразу понял новую прихоть подруги:

— Везет тебе, поручик... — и так хлопнул по плечу, что хрустнул новехонький погон офицера. — Везет тебе, сукин сын! — повторил он, восхищаясь его судьбой.

Двоем они прошли в дикое осеннее поле, начинавшееся тотчас за селом; конь бесшумно ступал за ними, точно понимал, какую игру выигрывает его хозяин. Тут она отпустила его в свободу и ночь. Взволнованный и благодарный, он напоследок нагнулся из седла и, приподняв, поцеловал ее. Потом он скакал, ветер тузил его кулаками в грудь, а она, в гневе и обиде, стреляла ему вслед...

Разделив с вольницей ее расцвет, она частично стала свидетельницей ее заката. Ее не было в хате, когда Чубенко застрелил Григорьева из веблея, но уже при ней остервенелая громада побивала на сельской площади Григорьевского казначея. Она слышала про позор крымского разоруженья, и потом судьба заставила ее проделать безумный рейд от Сум к Богучару, когда, гонимая летучим корпусом Нестеровича, вольница таяла на бегу. С ястребиного налету били бронепоезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше наносил ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за артиллерией пропал обоз, в неделю прошли восемьсот верст и выдержали одиннадцать жестоких боев. Банда гибла и возникала вновь, чтоб гибнуть завтра. Потом был крик среди ночи: «тикай, бо мы все в паныке...» — Все схлынуло, как дрянный сон; Сузанна очнулась лишь через год и ко времени прибытия в Москву сохранила в памяти две смешных цифры: 18 мая двадцать первого года постное масло — 260000, а зернистая, самосадная махра — восемь... чего восемь, она уже не помнила.

Женщине легко было укрыться от преследования; шрам на виске она правдоподобно объясняла паденьем в детстве. Большому человеку понравилась ее мужская сметка; полгода она работала в армии, откуда ее и послали доучиваться в Москву. Никто нигде не интересовался ее прошлым. Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то чердаке, сходя оттуда лишь в институт, на демонстрации да в баню; месяцами она не видела людей кроме дурака в противоположном окне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимнастику с папироской в зубах. Встреча с родными произошла лишь по окончании института. Шел снежок и таял на лету; женщина вела мальчика, который ярко-красной лопаточкой разбивал хрупкое стекло луж; в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнувшую нерусской весной. В аптеке висела засаленная телефонная книга. Звонки у двери действовали исправно. Дверь открыла мать в синих очках и рабочем коленчатом переднике.

Улыбаясь, Сузанна ждала позволения войти.

— А, это ты! — без удивления сказала мать и оглядела ее всю, от потертой кепи до стоптанных, промокших туфель. — Войди... только не наследу, пожалуйста.

Дочь вошла, и мать подчеркнуто, как за гостьей, ухаживала за ней.

— ...давно? — Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, знакомое блюдечко с цветочной каемкой. — Я говорю, давно приехала?

— Уже пять лет.

— Где же была?

— Везде... потом училась. — Варенье было из черной смородины, любимой ягоды отца. — Папа жив?.. там не висит его шубы.

— Да, мы продали шубу. Он выйдет, только допишет письмо. Бери сухарик.

— Спасибо, я возьму.

— Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платьице?

— Нет, черное. — Она искала глазами Назара, но его не было в комнате. — Назар замерз?

— Нет, его с'ели мыши. — В голосе матери мелькнула раздражительная нотка, каких не бывало раньше. — Шубу мы обменяли на крупу. Папа ходит в демисезоне... помнишь, с пелеринкой? Они довели нас до нищеты.

Сузанна поморщилась, едва коснулся ее этот затхлый ветерок прошлого, но она вспомнила тот ветхозаветный балахон, который стлали в кухне на полу, когда к кухарке приезжал на побывку сын. Разговор не клеился до самого прихода отца. Филипп Александрович поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился отправить деловое письмо. Мать, плохо скрывая слепоту, заискала его на столе. Они остались одни.

— Вернулась — это хорошо, — шамкая начал отец и тут же разъяснил: — у меня челюсть — надул техник — завтра хоть рельсу грызть. Много трепало?

— Да, я видела кое-что.

— Ерой! — усмехнулся Ренне, и Сузанна поняла, что слово это пришло к отцу вместе с демисезоном. — Кто ты теперь — кассирша?

— Нет, инженер.

— Электрик?.. строитель? Полтора ста миллионов не могут построить приличного стойла себе за десять лет... строители! — Эту фразу он произнес совсем гладко.

— Не будем об этом, — жестко оборвала дочь. — Я химик. Ищу места.

— Я не могу — не рассчитывай.

— Я и не прошу, — улыбнулась Сузанна.

Раздробленный оконной рамой в комнату вторгался тяжкий зачатный спол; в свете его оранжевой бахромкой лохматился борт отцов-

ского пиджака. Он стал широк ему, этот парадный пиджак; его часто гладили, обшили тесьмой, но и тесьма сносилась; из-за воротника при-скорбно торчала вешалка.

— Разреши, я поправлю, — потянулась Сузанна, и тот удивился, но не воспротивился.

— Ты во-время, — успокоенно продолжал отец. — Берут комнату — хочет жилец внизу — на трубе играет — точно на паровозе играет. Вещи тут?

— Я не собираюсь оставаться у тебя.

Ранне смутился и заискал чего-то на столе.

— Окна на юг — тепло — отдельный ход. Боюсь — на трубе играет — у меня зубы звенят.

— Я подумаю, — ответила Сузанна, вспомнив сырой чердак и дурака в подтяжках.

Кажется, Филипп Александрович не узнавал дочери: в прежнюю оболочку новое влилось естество. Левый глаз ее, точно сведенный тиком, был срезан нижним веком заметно больше правого; тревожил и странным образом привлекал этот полуприщуренный глазок. Ренне покашлял:

— Пей чай. Мы уже обедали.

— Я тоже.

— Хм... замужем?

— Нет.

— Значит девушка?

— Твой вопрос обижает меня.

Он опять растерялся:

— Э, сама в жизни? Я не то, я хотел — здорова?

— Да.

— Больше не спрашиваю.

— Спасибо.

Дальше разговор пошел о пустяках. Отец шуточно рассказывал о встрече с Жегловым и при этом как-то бравировал молодостью, точно опасался, что именно дочь погонит его со службы за старость. «Человека нельзя тесемкой, не пиджак...» обмолвился он кстати, хотя тут же прибавил, что на одно свершение его еще хватит, а там — без проволоочки на слом, в домну... Сузанна играла ложечкой, не зная, что надо говорить в таком случае, но в эту минуту вернулась мать, молча разделась и прошла на кухню; оба были рады этой внешней причине оборвать невязавшийся разговор.

— Ты ступай — обними — ты женщина, — неловко сказал Ренне, и тотчас через закрытую дверь, несясь откуда-то из преисподней, ворвался глухой трубный рев. — Играет — это его брат, милиционер — тот протяжней — учится. У них одна труба — по очереди!

Сузанна засучила рукава и пошла помочь матери. Она осталась, и это стало вступленьем к катастрофе с другой женщиной.

Второго Натальина ребенка задушила пуповина; когда Жеглов вернулся, акушерка сбиралась уходить, а Наталья задичалыми глазами смотрела в потолок. Вскоре приехал муж и вел себя на этот раз чутко и разумно. Жеглов покинул их в надежде, что теперь-то все и склеится; он ездил часто в эту пору, и Увадьев неестественно шутил, что тот совсем отобьет у него жену. Год прошел в безмолвии и неписанном мире. Постепенно Наталья втянулась в работу, которую ей подыскал Жеглов, — неверная отсрочка несчастья, готового ввергнуться в неблагополучный дом. Близ этого времени Наталья часто встречалась с одной из бывших подруг, мужа которой по профсоюзной линии также перекинули в центр. Полная противоположность Наталье, она была пышна, порывиста, и рябинка давней оспы над бровью придавала ей особую неукрощенную задорность. По старой дружбе она доверяла Наталье семейные тайны, краснела и тотчас хохотала от избытка здоровья и сил.

— Мужики-то... — смешливо призналась она, наклонясь поправить подвязку — ...совсем с ума повскакали мужики. Мой-то вчера обиделся: зачем я панталон кружевных не ношу... — Кровь прилила к ее запотевшему лицу, выпуклые глаза сверкали, и вся она обольщала уже одним своим неиссякаемым здоровьем. — Вот и ты! Как у тебя чулки сидят... ровно кожа такая складчатая.

Намек подруги и надоумил Наталью овладеть мужем с другой стороны. В тот же день она случайно встретила на лестнице Сузанну и обострившимся чутьем женщины, которую бросают, узнала в ней ту самую, кого уже устала ждать. Она понравилась Наталье своей опрятной простотой, разбавленной легким пренебрежением к ступенькам, по которым поднималась. Невольно она попыталась подражать, в одежде ее появилась тщательность, и Жеглов близоруко подмигивал ей в знак того, что ему-то хорошо известны тайные пружины подобных превращений. Не удавалась, однако, простота, точно не было у ней заслуженного права на это, и тогда благоразумие оставило ее. Как-то, приехав в неусловленный день, Жеглов уже не улыбался; виновато поправляя пенснэ, он взирал на ее обсыпанное пудрой лицо и грубо подрисованные губы, — тяжеловесные орудия любовной осады.

— Вытри, Наташенька... будь умница, вытри, — и сам делал движенья, как бы собираясь помочь ей в этом. — Прямо бутон какой-то!

— Бывают бутоны, — не распускаясь вянют... — оскорбленно сказала та.

Ей плакать хотелось, но она сдержалась, была раздражительна весь вечер, и Жеглов решил оставить ее на время в покое. Мысленно он торопил приход ее вольного одиночества, в котором она отыщет себе посильную дорогу. Вдобавок дела сложились так, что целых два месяца он не имел минуты навестить друга. А жизнь текла под знаком разрыва. Наталья рядилась, на службе посмеивались, а Увадьев недружелюбно наблюдал душевные судороги жены. Уже перестал он но,



свить домой размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства понуждали целиком впрячься в Потемкинский хомут, и у него краснели глаза, когда он говорил о работе. В большинстве это были мелочи и потому втрое требовали усилий. Надо было иметь особую веру, чтоб не упасть на этом первом перегоне, и он имел ее, о чем не сознался бы и брату. Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоеванного будущего, он видел девочку, этот грубый солдат; ее звали Катей, ей было не больше десяти. Для нее и для ее счастья он шел на бой и муку, заставляя мучиться все вокруг себя. Она еще не родилась, но она не могла не притти, так как для нее уже положены были беспримерные в прошлом жертвы. Наталья не знала, она еще не забыла шоколадок и, решась вызвать мужа на разговор, сделала это с бестактностью покидаемой.

— Сколько ей лет?

Он вздрогнул и наморщил лоб:

— Кому?

— Ну, этой, твоей!

Его раздражал напряженный смех жены; он ответил, только чтобы она перестала смеяться.

— Двадцать шесть, восемь... я не знаю. — Вдруг он вскочил и цепко схватил ее за руки. «Чего ты ждешь от меня? Освободи меня сама, сама...» — хотел он сказать, но принявшись и от удивленья потерял мысль намека. — Что это?

— Это... духи.

— Нет, чем это пахнет?

— Они называются... называются испанская кожа.

Увадзев уперся взглядом себе в ладонь:

— Да, я раз в барской усадьбе ночевал, на продразверстке. Вместительный такой, двуспальный, лоснился диван. Помнится, диван пахнул так же!

До нее не дошло предостережение. Решась на последнее, она умножила заботы и радовалась, что не едет старый друг. Короткие плагья подчеркивали детскую нескладность фигуры. Непосвященная в магию косметических превращений, она продолжала уродовать себя, и лишь глаза выдавали ее великий испуг. Нищая барыня, сожительница Варвары, всучила ей кольцо с толстым камнем, похожим на плевок. Маникюрша обучала ее тайнствам высшего света; муж ее, парикмахер, также принял участие в заметавшейся женщине. Кроме живых, ему доводилось причесывать самых видных покойников столицы; он имел опыт и требовал доверия; благородство души он доказывал презрением к большевикам.

— Ой, никак ты меня под бобрлика стрижешь? — не узнавая себя, спрашивала Наталья палача своего.

— Что вы, бобрлик — это очень вредно. Возьмите, к примеру, гвоздь в стене и начните его расшатывать. Явно, волос обречен погибнуть, откуда плешь и даже хуже. Но и тогда не следует впадать в

транс. Конкретно, за границей, где социализму, промежду прочим, не строят, на плешивых делают тонкую восковую наклейку сроком на три года, а в нее насаждают волосики электрической машинкой. И вот опять хоть в танец!..

Он и насоветовал попробовать особую краску для волос, изобретенную его зятем, безработным химиком. Состав, по его словам, отличался необычайной прочностью и глубиной колорита. Следовало лишь протереть волосы мазью и, посидев часа четыре, ополоснуть ее приложенной микстурой, разболтанной в кипятке. Наталья заколебалась, но женщина в кожаном пальто и простой мужской шляпе уже появилась на Увадьевских горизонтах. В самом ее положении не меньшая чем в надменной ее красоте таилась угроза. Сузанна служила в том же тресте, они встречались по службе и говорили пока только о комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева. Тогда Наталье захотелось стать такой же рыжей, как Сузанна... нет, рыжее и прекрасней ее! — Химик ютился на окраине. Возможно, на стихийной бороде своей он и пробовал свои смеси. На примусе кипела ароматическая пакость. В тощем аквариуме с лиловой водой сумасшедше носился карась: его красил сынишка изобретателя.

— Вам для волос или домашнего платья? — зловеще спросил хозяин.

...Задолго до сумерек она заперлась в спальне и достала из шкафчика припрятанные снадобья. Видно, они плохой имели сбыт: изобретатель не скупился, на три рубля товару хватило бы на целую семью уродов. Намазав голову, Наталья напевала, ходила по комнате и три часа просидела у окна, за которым взволнованно угасал летний день. Доносился гул площадного радио, и еще газетчики задиристо кричали о падении Троцкого. Краски блекли, все становилось серее и горбатее, но один листок на бульварном дереве внизу еще сверкал крутым закатным глянецом. В сплошной стене забот и страхов она отыскала крохотную щелочку и, заглянув, удивилась: вопреки ее горю мир продолжал великолепно быть. Спеша преобразиться до возвращения мужа, она принесла из кухни кипяток и закрыла окна занавеской: кто-то снаружи мог дотянуться до ее третьего этажа!

Содержимое бутылки гибкими, красноватыми кольцами распространялось по воде; пряталась колдовская сила в этой волшебной жидкости, доставлявшей красоту. Когда за стеной проходил трамвай, вода рябилась и таз дребезжал. Быстро смочив волосы, Наталья тискала их руками, лишь бы скорее впитали животворящее, щекотное тепло. Почтальон долго звонил у двери и, не дозвонясь, ушел. Торопливыми пригоршнями Наталья плескала себе на затылок, где еще оставалось несмоченное место; теперь ей не посрамления Сузанны хотелось, а только скромного равенства, допускающего борьбу. Вода стыла и темнела, мазь все труднее сходила с волос, и вдруг, точно хлестнуло по глазам, вспомнилось, что бутылка была рассчитана на два приема. Жирная, слипшаяся прядь, свисавшая на лоб, показалась ей ядовитого зе-

ленного оттенка, переходящего в ту самую лиловость, в которой запомнился ей гиблый карась. Страхась обступавших ее лиловых пятен, она ринулась к зеркалу, но задела по дороге шнур, протянутый из угла, и лампа, точно взорвавшись, с мелким звоном метнулась ей под ноги. Мгновение она стояла с закушенными губами и помраченным сердцем; что-то стремглав падало в ней и все не могло достигнуть дна. Наощупь и вздрагивая, когда хрустел осколок под ногой, она добралась до кровати и засунула голову между подушек. Время шло до великодушия медленно, а она все лежала, все слышала тоненький взрыд стекла. Вдруг она поняла по шагам, что вернулся муж.

Он был не один, и спутник, вешая пальто, оборвал вешалку. Увадьев пил воду из графина, но ему нехватало, и он ходил на кухню... Так по звукам Наталья читала все, что происходило за запертой дверью.

— ...трудностей не боюсь, — говорил Увадьев, продолжая начатый раньше разговор. — Я согласен и столы в канцеляриях переставлять, и тарифицировать машинисток: я принимаю рабочие будни. Но преодолевать на каждом шагу апатию и глупость — это невыносимо. И потом: без восторга, без восторга делают! Эта дубина сбиралась прибавить им по двести на рыло... получается девять тысяч, почти десять вагонов хлеба. А потом опять умильно подмигивать мужику? Я его к чорту погоню... — Внезапно, сдержась на резком слове, он заметил необычную тишину квартиры. — Наталья! — позвал он тихо. — Наташа, ты дома?

Оцепенение и стыд мешали ей крикнуть. Мазь сохла, волосы становились жестки и, казалось, даже наощупь зелены. Спутник Увадьева встал со стула, и Наталья смятенно догадалась, что это был Жеглов: он всегда так ширкал, затирая пятнышки на паркете, когда бывал озабочен. Муж подергал дверь, постучался, окрикнул еще раз и нерешительно отошел.

— Ну... кажется, плохо дело! — Он выждал минутный срок, потребный, чтоб свыкнуться с внезапной догадкой. — Слушай, там на кухне косарь лежит, для угля... принеси сюда! — Но, странно, он не топился; ему нужно было, чтоб именно Жеглов долго и безуспешно разыскивал косарь на кухне.

— Врача надо... внизу вывеска есть! — голос Жеглова срывался и звенел.

— Э, он же зубной... косарь надо, вскрыть. У меня там револьвер в столе, чорт. — Он сам побежал за косарем и, вернувшись, с разбегу всадил в дверь нетерпеливое свое железо. — Наталья, ты здесь? — в последний раз, почти угрожающе, крикнул муж.

Дверь хрустела и щепилась; гнулса косарь и ругался муж, а Наталья молчала в стыде и ужасе перед тем, что произойдет через минуту. Она была жива, и в этом заключался единственный смысл ее позора. Мир уже примирился с ее концом, и ничто, даже давешний листок на бульварном тополе, не поколебалось. Потом она вспомнила

раскрытое окно, ей захотелось исправить упущенье, но в то же мгновение люди ворвались к ней.

— Свет, лампу давай... — крикнул Увадьев, остановленный темной и как бы боясь наступить на что-то, лежащее поперек.

Жеглов поспешно помогал ему; они включили свет, в лицах их одновременно отразились смущение и обида. Первым поборол себя Увадьев; подойдя к сидящей с закрытыми глазами жене, он обмахнул рукавом испарину с лица:

— Модный цвет... пошибче-то не нашла колеру? — и весь рот его поехал куда-то в сторону.

Его оттолкнул Жеглов:

— Ступай... ступай, в пивной посиди! — шепнул он, не упрекая, потому что и не за что было упрекать. — Там раков привезли, ступай...

Муж ушел, а она все еще дрожала, не столько спасенная от смерти, сколько пробужденная от сна. Оба не говорили ни о чем. Потом Наталья робко коснулась волос, которые почти кололи пальцы, и виновато взглянула на Жеглова.

— Посмотри, Щегол, какая стала.. зеленая, как лужайка. Очень спина болит!

На другой день, захав к вечеру на машине, Жеглов перевез ее к своей дальней сестре, обладавшей спасительным качеством—не любопытствовать ни о чем. Все Натальины вещи уместились в той самой плетеной корзинке, которую вывезла с фабрики шесть лет назад. По лестнице она спускалась бегом, чувствуя на спине провожающий глаз Увадьева. Машина загудела, и Увадьев испытал кратковременное облегченье; ему порядком надоели и распутный ее шелк, и крашенные ногти, и лицо ее, застывшее в ожиданьи ласки, и глаза, постоянно упрекавшие. Сразу потянуло к работе, он присел к столу, но работа не ладилась; в сосредоточенном озлоблении он покосился на раскрошенную дверь жены. Он пошел туда; цветные тряпки, раскиданные по полу, напоминали краски на палитре. В зеркале отразилось его исхудавшее и оттого еще более скулатое лицо; в те дни обнаружилась возможность, что комбинат станут строить в другой губернии, и Увадьеву целыми днями приходилось расхлебывать эту бюрократическую кашу. «Мордаст, мордаст, — подумал он, тыча себя пальцем в щеку. — И чего во мне Наталья нашла!»

Он распахнул шкафчик; за непочатыми коробками с тальком, флаконами духов, всякими лаками, необходимыми женщине, которая уже не пленяет, таилась пачка его фронтовых писем. Разорвав нитку, он развернул наугад одно из них; написанное зевотным стилем, с писарскими завитушками, оно содержало сведения о соседях по землянке да еще краткие распоряжения по хозяйству. Судя по дате, то было горячее время организации подпольного комитета; военные суды учащались, захлестывала революция, но ничем не отразилось это в вынужденных строках письма. Не испытывая раскаянья, он швырнул письма вместе с пузырьками в чемодан, намереваясь завтра же ото-

слать все это Наталье; догадка, что Наталья нарочно оставила эти улики своего вчерашнего дня, не пришла ему в разум... Опять не удалась попытка усесться за стол, и вдруг он понял с негодованьем, что весь вечер, с самого отъезда жены, он думает об одной Сузанне.

...так пристаёт иногда назойливая мелодия. Он сидел в ярости, подперев подбородок кулаком, а вещи размещались наново, комнаты преобразались, а воображение насильно примеряло оставленные платья на Сузанну; ему и в голову не приходило, что женщины, подобные ей, не любят простыней своих предшественниц; его немножко сердило как-будто, что женщины бывают разного роста и сложения. Все, кроме предстоящего строительства, мнилось ему в крайне упрощенном виде, и самая любовь была ему лишь пищей, которая утроит его силы на завтрашнем его пути. Два часа спустя он ненавидел Сузанну, потому что уже владел ею до пресыщения; его бесил этот спокойный покаты́й лоб, яркие ее волосы, в которых она принесет к нему бедствия и порабощенье. Приди она теперь, он выгнал бы ее, но она не шла, точно знала. Машинально тыча в розовую мазь, торчавшую на столе, он ждал, и вдруг резкий, точно кто-то спешил ворваться, звонок наполнил опустелую квартиру: должно быть Сузанна приняла его безгласный вызов. Смахнув платком пахучий язычок с пальца, он угрожающе пошел к двери.

Она стояла за дверью, дыша шумно, как в одышке. Он тихо окрикнул ее и сперва не узнал голоса, властного и хриповатого чуть-чуть.

— ...кто-кто! Ангел пришел комиссарскую душу выгнать,—загремела гостья, с ветром, с шумом вваливаясь в переднюю; Увадьев с удовольствием узнал мать и засмеялся. — На, поддержи, нечего скалиться, тут стаканы. Не разбей, убью!

Варвара машисто распутывала платок, раздевалась, и что-то было в ее кратких взорах немилостивое, воинственное. Она-то уж не боялась, что ее погонят: всюду, куда бывала ей нужда войти, она входила полновластной хозяйкой. Крупные, такие же лапы, как у сына, руки ее долго не умели разомкнуть какого-то крючка; наконец, она рванула и оторвала напроць.

— Во, и крючки-то советские пошли, хочь зубами отмыкай!— Давай сюда стаканы, байбак. Ну, сажай меня в свои диваны, пои чаем...

— Дивана-то как раз и нет у меня. Все собираюсь купить,—шутит сын, идя позади.

Ему нравилась эта могучая баба, приспособленная рожать много и родившая только одного его; по душе ему был ее неуживчивый характер, перед которым все заискивали, ее широкий торс, посаженный на огромные ноги и пребывавший в постоянном движении... Воистину он любил эти громоздкие ворота, через которые вступил в мир.

— Чего у тебя свет везде горит, денег много накомиссарил?— Своею волей она привернула электричество в передней и, войдя за тем же делом в спальню, сразу заметила отсутствие Натальи.—Ко-

миссарша-то на бал поехала? Аль в оперу, гигагошки послушать? Вам теперь всюду ход...

— А тебе, мать, загорожено?

— Лакейкой быть не желаю: дурья башка, да своя!

Увадьев поморщился сквозь смех:

— Ну, завела музыку, мать!

— Нет, уж кончила... рази экой пилой тебя перепилишь.

— Вот ты все бранишь нас, мать, а случись беда—с нами пойдешь. И барабан впереди понесешь, мать. Такие бывали, во французской революции бывали. Я тебя знаю...

Застигнутая врасплох, она минуту смущенному предавалась негодованию:

— Дурак,—просто сказала она,—в дуру пошел. Наталья-то в баню, что ль, ушла?

— Уехала.

— К своим, что ли?—Она знала, что все родные Натальи давно перемерли.—Поди и покойники-то в экий час спят. Чего ты ее одну отпускаешь!

— Она, мать, совсем от меня уехала.

— Развелись?—всплеснула та руками, готовясь напустить именно за то, что променял ее, своей рабочей стати, на какую-нибудь верхивостку, но заметила вздувшиеся ноздри сына и лишь пыхтела, гневливо постукивая пальцем в стол.—На свою прихоть освободили баб: выдохлась—и с рельс долой, иди в свою свободу, матушка. Ну, наше с тобой дело короткое. Деньги выкладывай!—прикрикнула она и поглядела искоса, достаточно ли напугала.

— ...какие деньги, мать?

— А вот, что на тебя потратила. Сколько я на тебя покидала, думала—прок выйдет.—Варвара вынула из-за пазухи толстый лист конторской бумаги, исписанный сверху донизу, и расстелила перед сыном.—На, щенок. От своего не отступлюсь, всего тебя нонче оберу!

— Да ты возьми, сколько тебе надо. Я как раз жалованье вчера...

— Мне комиссарских не надо, кровные подай! Деньги! Да я лучше десяток яблоков куплю да сяду на Смоленском торговать, под дождь и стужу сяду. В кухарки пойду, я котлеты умею с соусом...—Она нахмурилась, когда сын, взглянув на итог, молча полез за деньгами; Варварин счет простирался до тридцати рублей.—Чего ж ты деньгами-то кидаешься? Ты торгуйся, может, и уступлю... да проверь, может, я лишку запросила. Вот, штаны тебе покупала—рупь. Картуз с козыречком под лак—восемь гривен. Пальтишко еще покупала, пальтишко не в счет, все-таки мать, нельзя...

— Картуз-то, кажется, дороже был! Сама себя обсчитываешь.

— Скалься, не дармовые. Поворот будет—и меня-то вместе с вами прихватят: не рожай, скажут, эких мозгачей. Мне и то во сне даве: будто третий Александр сошел с памятника, чугуна-то скинул да и почал всех нагайкой усмирять...

— Ну, а ты?

— Он меня, а я его, неживого - то. Хлобыщемся, а народ смеется...—Неспеша завернув в платок, она сунула деньги куда-то в свою вместительную пазуху.—Может, последние отдал? Ты попроси, я отдам, у меня есть... я ведь только, чтоб сердце отвести.

— Мне хватит, да и тебе-то куда!

— Букет присылай, замуж выхожу,—победительно выпалила Варвара и радовалась произведенному впечатлению.

— Шутишь, Варвара!

— Уж и платье заказано, маркизету восемь метров пошло... Чего уставился! Думал—хоронить, а она на свадьбу звать пришла? Вот на зло тебе и выду, и детей рожать стану. Рожать хочу!

— А кто он, кавалер-то твой?

Ей нравилось потрясать свое невозмутимое детище:

— Непман... картинами на рынке торгует, в красках. Вожди, писатели, картинки тоже с арбузами... У меня стрелка рядом, вот и сморгались. Исправный, неунывный такой мужик!

Увадьеву представилось, как в дождливую ночь Варвара сидит на своем железном табурете, и нечто, подобное жалости, окаменило ему взгляд. Она была уже немолода, Варвара; ей не хотелось кончать жизнь в брезентовом пальто, с железной клюшкой в руках. В конце концов он каждому позволял добиваться своего счастья, но сердился, когда требовали его одобренья.

— Ну, действуй, мать, как знаешь.

В передней она обернулась к нему:

— Вань,—робко позвала она, ища в темноте его руку.—Аль уж не выходить? Старая я... тоскую, мысль заела, отец все снится. Хоть удачи-то пожелай!

Сын пожал плечами, а руку спрятал в карман:

— Нет, что же, нет вреда—нет и греха.

Потянулась недоговоренная какая-то минута. Увадьев включил свет. Варвара выпрямилась и рванулась в дверь: она всегда так налетала и исчезала неожиданно.

— Верни Наталку, щенок! Плакать об Наталке станешь... — крикнула она уже с лестничной площадки.

## 5

Впопыхах она забыла стаканы, купленные для свадебных гостей. Он встал поздно, голова была тяжка, что-то болезненно переливалось в ней; ему снилась мать и еще будто он сам с осуждением подглядывает за собою. Утром, едуци в трест, он завез матери ее стеклянное сокровище. Варвара уютилась в подвале, разделенном перегородкой; в соседстве с ней жила кашляющая барыня, торговавшая в разнос контрабандными чулками и сливочной помадкой,—отчего все так ее звали «сладкая барыня». Увадьев застал мать за делом: стоя на табу-

рете, она навешивала на петли фанерную дверь; она заране стала готовиться к свадебной ночи. Дверь не налезала, и Варвара с досады ругалась с сожительницей, которая с мокрым полотенцем на голове лежала тут же на койке.

— Наука-наука...—гремела Варвара, и табурет скрипуче покачивался под нею.—Не бубни мне про свою науку. Все у вас отняли, погоди, и науку отыдем. Эва, обе руки заняты, даже во рте, вишь, гвозди держу... не до науки мне сейчас!

Заметив сына, она круто оборвала и заносчиво отвернулась.

— Вот, стаканы завез. Куда положить-то?

— Сунь на комод. Побил хоть один—заплотишь, до нитки всего оберу!—Она стыдилась сына за вчерашнюю свою слабость.

В комнатке такая грибная стояла сырость, что только несокрушимое Варварино здоровье могло противостоять ей. В заплеванном окне ходили ноги, в сапогах и босые; босые были и более шустрые. В обрезанной бутылке красовался лохматый букет. Жениха не было дома.

— Где ж твой-то? Я сбирался заодно и с будущим папашей познакомиться.

— Эва, кнут собаку ищет! Ну-ка, поддержи дверь. Не жди, угощать не слезу, не до тебя мне.

— Да, я поеду. У тебя часы отстают, мать, ты подведи. Ну, резвись тут, резвись.

Она догнала его в коридоре, когда он уже выбирался наверх, к свету.

— Вань...—и опять шарила в потемках его руки, и он не отнял.—...Ты уж разорись, пришли букет-то к свадьбе. Перед людьми-то хочется... да и барыне нос утру. Нежненьких купи, подешевше да побольше. Я тебе отдам потом...

— Ладно, ладно, невеста! — деревянно согласился Увадьев и ушел.

...И конечно забыл: всякое забвение давалось ему до зависти просто. Но месяц спустя, когда с Фаворовым и Бураго он отправлялся в первую разведку на Соть, он вдруг вспомнил, и ему захотелось сгладить чем-нибудь всегдашнюю невнимательность к матери. Оставив удивленных спутников дожидаться без него заказанного обеда, он вышел из вокзального буфета и взял такси. По дороге он заскользнул в кондитерскую и купил самый большой торт из всех, какие пестрели в витрине; на картонке он приписал чернильным карандашом: «Поздравляю, мать, и желаю тебе вынырнуть из своего счастья так же поспешно, как и...» Сломался карандаш и пожелание осталось недосказанным. Он махнул шоферу, и машина помчалась на пыльную столичную окраину.

Был вечер и праздник; в улицах прогуливался рабочий люд. Машина остервенело рычала, и все видели потного, с неподвижным лицом человека, обхватившего руками огромную картонку. Звонили



ко всеобщей; вычурная колокольня, расцвеченная закатом, висилась над окраиной, как выдумка сумасшедшего кондитера. Оставив автомобиль на углу, Увадьев пешком добрался до подвального окна. Там стояла толпа зевак; они слушали писк гитары и завистливо судили чужое веселье. Юркий малец с расцарапанным носом вызвался отнести Увадьевский подарок.

— Молодым-то гробик бы двухспальный подарить... заместо пирога!—сказал парень позади. Увадьев грузно повернулся и так решительно пожевал его сузившимися глазами, что парень отступил за тетку с прыщавым младенцем. Но и тетка попятилась за старичка в очках, который молча опустил глаза и кашлянул с достоинством.— Видите, и ребеночек заплакал!—произнес он потом, с негодованием отходя.

Увадьев глядел в окно, ища матери.

Пунцовая от духоты, в сиреновом маркизетовом платье, еще более безобразившем ее дородную фигуру, она сидела за столом, в стороне от общего кавардака. Перед ней стояла полубутылка дешевого муската; изредка, как бы нехотя, она отхлебывала из стакана этот противный жидкий мармелад и машинально поправляла то складку платья, то несусветный пион, торчавший на плече; такая же свадебная отметина имела и у жениха. Сухопарый этот человечико распоряжался общим весельем и, небрежно распаковывая торт, одновременно заигрывал с соседкой, подружкой невесты; при этом она хохотала с каким-то особенным взрыдом, точно ее перепиливали сахарной пилой, и на спине ее, выгнуто, как горб, от многолетнего сиденья в ларьке вспухали два непостижимых волдыря. Гитара растеряла половину струн, а человечико, беспечно держа торт на распыленных пальцах, приказывал еще и еще надать жару; торт опасно покачивался, и Увадьев почувствовал, как лицо его стала заливать краснота.

— Вот, женюсь... сколько раз собирался, да все приятели отбивали. Только теперь уж ни мур-мур!.. Не забыл мамаша наш сановник, не меньше восьми рублей за пирог, а сам не приехал, и жаль, а то бы мы и почет ему выдумали... обожаю сановников! Я почет знаю, потому у нас все по духовной части: один брат гробовщик, другой, извиняюсь, дьякон, а я вот картинки продаю...—Вся его сумбурная трескотня заняла не больше полминуты.

— Балагур ты, Чорт Ильич,—воодушевленно кричали из угла,— убить тебя мало!

Вдруг торт решительно качнулся и звучно шмякнулся на пол: вероятней всего, что человечико с пионом угадывал за окном нелюбимого пасынка.

— Эх, не удалось отпробовать сановной сладости!—с поддельной грустью возгласил он, и все вокруг заливало от его жестокой расправы. В добавление всему он вынул стеклянный глаз и протирал его; это было страшно, и Увадьев не умел побороть в себе ужасного

любопытства к этой мерзости.—Эй, Дарьюшка, подбери ошметки в бадейку!

Одна только мать не обратила внимания на скандальный этот вызов; она глядела сурово, ей становилось душно среди подпольного этого сброда и снова хотелось на железный табурет, в одиночество и непогоду. «Мать, какими чарами околдовал он тебя, большую и глупую муху?—просилось из Увадьева.—Эй, плюнь на нэпмана, поедем со мной на Соть!» Он верил в целительные свойства дебри, где надо было ежедневно драться, чтобы уцелеть... он не крикнул, потому что каждый человек обязан иметь силу пережить свое счастье до конца. Выбившись из толпы, он сел в машину и пообещал шоферу прибавить за скорость. Рванулась пыль, мелькнуло розовое платье, хлестнула воздух гармонь, рассыпался рваный крик галок над церковным двором; мать осталась где-то в прошлом, вместе с Натальей, позади.— Он поспел лишь к отходу поезда, спутники сидели уже в вагоне.

Соть, пожалуй, и оправдала его надежды; сердечные раны — если только личные обстоятельства могли нанести ему такое раненье— заживали у него быстрее, чем порез на руке. На катере они проехали всю Соть, от Нерчемской фабрички до перекрестия с мшистой и каряжистой Енгой; Увадьеву необходимо было побывать на Нерчме, где завелась какая-то склока. Вперемежку с жидкими, еще неснятыми хлебами тянулись леса, щедро политые осенним багрецом. После перехода хвойной границы леса стали толпиться у самых вод, образуя теснины и засоряя проходы; в воде гуляла испуганная рыба, а дебрь не чувствовала занесенного над нею топора. Правитель волости Лукинич был в отъезде, а заместитель его ни словом не проговорился о ските: наезжали и прежде, наедут и отъедут, а со скитом да с богом век жить...

Тотчас по возвращении из поездки началась обычная в начале большого дела суетня. На Соть поехали отряды техников и геодезистов, заключались договоры на поставку материалов, составлялись штаты строителей. В развитие готовых эскизов Сотьстроя составлялся, наконец, рабочий проект, шла обширная переписка, деловая беготня, обсуждался список заказов, которые Бурого должен был увезти с собой в Америку; тянулись бесконечные заседания экспертных комиссий, писались доклады в высокие этажи, потому что новая шестерня вставлялась в хозяйственный механизм страны. Между трестовскими инженерами шла тайная грызня, всех обольщал небывалый для прежней России размах предприятия; Жеглов по врожденной склонности мирил их, а Увадьев, напротив, стравливал, высматривая полезных для дела людей, и зарабатывал всеобщую ненависть. Он не огорчался, почитая именно ненависть за магнитное, так сказать, поле всякой силы. Потемкин все метался в своей орбите; портфель его разбухал с тою же угрожающей быстротой, с какою тощал он сам. В стране жили разные люди в эти годы, и оттого его называли всяко: энтузиастом, говоруном от индустриализации, растратчиком нищей казны республики, патриотом мужицкого пошехонья, партизаном наших будней, Микулой

наизнанку, болячкой, Дон-Кихотом, вибрионом социализма, героем, бревном, чортом и даже, наконец, Хеопсом, намекая должно быть, на печальную Хеопсову судьбу. Клички эти, разумеется, определяли более самих выдумщиков, чем Потемкина, который только совмещал в себе гражданина эпохи и сына своего класса.

Вдруг стало известно, что во главу Сотьстроа назначут Потемкина, а главным инженером—Бураго. Это случилось накануне самого отъезда Бураго за границу: лесные биржи предположено было оборудовать стаккерными установками, первыми в Европе. В этот день шло обсуждение бумажных машин; пытаясь перешагнуть российские коэффициенты, Увадьев отстаивал новейшие, восьмиметровые, с огромными скоростями машины, которые в ту пору и в Америке-то испытывались пока без особого успеха. Возражавший ему Ренне утверждал, что высокие скорости не подходят к нашим условиям, ибо русский бумажник не сумеет воспользоваться ими по меньшей мере два года, и затраченный капитал не окупится. Поднятый в знаменательном этом столкновении вопрос перекинулся сам собою на количество машин и, следовательно, на возможности сырьевой базы.

— Вы как учитываете годовую грузоподъемность Соленги?—мельком спросил председатель совещания.

Потемкин привстал, и сразу на щеках его возгорелись недобрые румянцы; родная его Соленга держала последний экзамен:

— Тысяч триста кубических сажен подымет. Так у меня и помечено...—он мучительно потер себе лоб —...на странице сто семидесятой, посмотрите!

— А по обследованию она и двести не подымет? Десять процентов баланса вам придется тащить по Нерчьме и против течения... иначе у вас на третью машину нехватит!

Потемкин заволновался, затеребил зеленое сукно стола: эти очкастые, равнодушные чудаки не верили в его Соленгу!

— ...грузоподъемность, все модные слова, товарищи!—ударил он себя в грудь, вызывая вокруг улыбку.—Я же сам с детства на сплаве... и отец мой, и дед. Мы весь естественный прирост купцам сплавливали: сколько надо, столько и грузи! Да вот вы у Фаворова спросите, он сам с Нерчьмы...

Он обернулся к свидетелю, но тот спал, положив голову на руки и как бы углубясь в созерцанье берегового профиля Соти; сказывались три бессонных ночи, потраченных на доклад для научно-технического совета. Он проснулся, едва назвали его имя, и один лишь Бураго заметил его воспаленные в опухшем лице глаза.

...Домой им было по дороге; Увадьев подвез их на трестовской машине.

— Заснул, герой?—спросил Бураго.

— Устал. Кажется, упадешь и проспишь десятилетье...—Морозная пыль колола уши, наполняла звонким ощущеньем зимы и ветра.—Все устали... вы слышите, Увадьев, как они устали?

Увадьев выкинул за борт машины окурок; он пытался уверить себя, что это последняя папироса, которую он выкурил в жизни.

— У нас вообще любят скулить о прошлом, потому что безвольны к будущему. Ты слушай не стоны, а цифры! Купи билет и поезжай по стране: ты увидишь новые избы, новые заводы, новых людей... и притом великолепную рождаемость.—Он сделал нетерпеливый жест рукой, точно кто-то смел сомневаться в его статистике.

— Кстати, это дядюшки, что ль, твоего фабричка на Нерчьме? Чего краснеешь, не сам выбирал, а судьба навязала!.. Да, может быть, мы спешим сменить старое поколение другим, которое не заражено прошлым... но в наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, тысячами гектаров, миллионами людей... не мельчи творческой мысли.

— Словом, не гляди на пирамиды в микроскоп,—шутливо вставил Бураго.—Чудно: до революции настоящее у нас определялось прошлым, теперь его определяют будущим, а его надо определять самим собою.

— Умей быть другом нам, Бурого... в дружбе мы подозрительны и осторожны, но сумей!

— Мне нравится такая угрожающая постановка вопроса! Вы лавеча напали на Ренне и произнесли очень нехорошие слова... помните? А ведь четыреста двадцать метров в минуту это действительно не для нас, у которых Азия за плечами. Вы самоучка, Увадьев, и, кроме того, вам нужна бумага; оттого вы презираете чужой опыт. А разве тот друг, кто повторит глупость за вами?

В привычке Увадьева было смаху рубить там, где и без того было тонко:

— Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!

В раздражении он не заметил своего промаха и, отвернувшись, глядел по сторонам. Именно тут, на площади, обычно сживала мать, сортируя по номерам трамваи. Теперь укутанная в тулуп молодайка сидела тут возле костерка, перебраниваясь с молодым айсором, продавцом всяких специй для обуви. Увадьев нахмурился еще более... Впрочем, едучи на Соть, он даже радовался, что освободился от вчерашних привязанностей; когда же узнал, что Наталья устроилась на работу, то и совсем успокоился. Той, однако, труднее давались разлуки, и в день отъезда на Соть она тайно поехала на вокзал в ревнивой потребности увидеть их вместе. Ее надежда оправдалась лишь наполовину; Фаворов оживленно болтал с Сузанной, а Увадьев отстал, чтоб купить в буфете карамелек. Он заметил Наталью и неуклюже кивнул ей, но она не ответила. До самого отхода поезда она бесцельно сидела в буфете, размешивая ложечкой остывший чай.

*(Продолжение следует)*

# Белый берег

НИК. АСЕЕВ

*Посвящается*

*т. Бруно Ясенскому*

1

Оторочена Висла  
в голубые снега;  
кто убит, а кто выслан  
за ее берега.

Запорошены ивы  
молодой сединой  
и меж них, горделивый, —  
спит дворец ледяной.

Хочет Висла к Дунаю  
занемелой струей,  
но кора ледяная  
не пускает ее.

Хочет Висла от дому,  
к Дону в дружбу она;  
но морозу седому  
в дань волна отдана.

Хочет Висла к Дунаю,  
к Волге в гости потечь,  
но, — сверля и стеная,  
ей вдогонку — картечь!

К Уяздовской аллее  
не пробиться воде —  
точно череп белея  
просквозил Бельведер.

Стихотворные стопы,  
раскаляйтесь в огонь;  
кто же Вислу растопит  
необутой ногой?!

Если ветлы не смыслят,  
берега не поют, —  
все равно — не на Висле  
будет панству приют!

Полетят эти стекла  
в ледяные глаза,  
Висла кровью промокла,  
и не течь ей назад.

Белоснежье, безлюдье  
жизнь за сломанный злот.  
Висла сдавленной грудью  
дышит тяжело и зло.

Но от Сана, до Вепржа —  
пар по полой воде...  
будет сдвинут и свержен  
голубой Бельведер!

2

В это время в польском сейме  
происходит  
жаркий спор;  
заболел  
премьер Дашинский;  
маршал —  
дверью не ошибся:  
завзвели блески шпор,

Входит в зало  
пан Пильсуцкий, —  
аж подвески  
люстр трясутся,  
аж паркет

скрипит в пазах.  
Аж хребет  
у шеи хряснет:  
все заранее согласны, —  
чтоб вельможный  
ни сказал.

Потемнели  
Вислы воды;  
ждут пильсудчики  
у входа;  
им попробуй поперечь;  
полны лоска,  
полны блеска  
палаши сверкают  
веско —  
пана-маршала  
сберечь.  
Длится маршальская

пьеса  
на скамьях  
у Пэ-пэ-эс'а,  
заслонив  
в ладонь лицо,  
депутаты  
жмутся кругом,  
если маршальская  
ругань  
им в глаза  
летит свинцом.

Кончен панский  
пышный говор;  
и, не ждя  
конца другога,  
маршал  
в дверь спешит,  
угрюм.

Оседает пыла  
порох,  
и в молчании  
на хорах  
возникает  
легкий шум.

Двери маршалу  
откройте...  
«Смирррно!» —  
— караульной роте,  
«Виват!!!»  
маршалу вдогон, —

кто ж диктатору  
ответит,  
если солнце  
в Польше светит  
ниже  
маршальских погон!?

Кто от волн,  
полей и просек,  
кто от лодзинских  
гудков  
как над нами,  
так над ними  
в спину маршалу  
поднимет  
это тонкое древко?!

И впервые  
в польском сейме  
надо льдами  
надо всеми,  
развевая гнев и стыд,  
и над ними,  
как над нами,  
ало-шелковое знамя,  
расстилаясь, шелестит!

Разве Сейм —  
глухие тропы?  
Разве охмелели  
хлопы?  
Разве снег  
не бел, не чист, —  
что — как в искрах  
над фольварком,  
неожиданно  
и ярко  
обожжен огнем  
фашист?

Чует Лодзь  
и чует Краков:  
значит тает  
лед заплакав;  
значит лед —  
не леденит;  
завтра ж, хлынув  
по угожьям,  
Висла вольным  
половodem  
рукава соединит!

1929. XII.

# О с т р о в

Рассказ

ИВАН МАКАРОВ

1

**И**з губернии Федор Михайлович вернулся только к вечеру и едва пробрался к себе на остров.

Он остановился около одинокого дуба, отделившегося от леса и страшного своим ростом и старостью. Вглядываясь в его большое, как пролезть человеку, дупло, он ласково и утвердительно пошлепал по шершавой коре, точно ласкать дуб нужно было, точно дуб, как хорошая добрая лошадь, нуждался в его хозяйской ласке.

Сын не ждал его совсем; утром висел непроглядный, раз'едающий остатки снега туман, а в полдень спокойно и величественно, как летом, калило солнце, лощины набухли водой, а дорога взрыхлела и стала немислимой.

Мокрый по горло и прозябший, Федор Михайлович устало опустился на лавку, сосредоточенно посмотрел на высокого миловидного, но очень печального сына и сказал:

— Хотя и советская власть, а правда в огне не горит и в реке не потонет.

Он скрутил жгутом полу мокрой поддевки и прямо на пол выжал струю грязной воды. Сын взял веник и принялся растирать лужицу. Он уже догадался, что в губернии отец выиграл тяжбу с поселком, но все же осведомился:

— Значит наш опять?

— Ставь самовар,—не отвечая, приказал отец.

Парень бросил веник и полез на печь за самоваром.

— Уток не привязал?—спросил отец и пояснил:—Шел, селезней много—шипикают.

— Тебя ожидал,—ответил сын.

— А сам не сварил башкой? — забранился Федор Михайлович. Не переодеваясь, он взял крестовину, поправил на ней силки и вышел.

На дворе встревоженным зовущим криком кричала утка, а в ответ ей с простора сникающей зари нежным и взволнованным шипением отзывался селезень.

«Пораньше бы часом: пяток верный попался бы»—подумал Федор Михайлович и, переловив уток, поспешно направился к реке.

Не обращая внимания на обжигающий холод воды, он забрел по колено, поставил крестовину и опять бережно расправил силки. Потом привязал уток и бегом пустился к ближайшим кустам.

Испуганный и радостный крик утки, тяжелый всплеск воды, а затем мягкое шипение услышал он на полдороге.

«Подсел»—обрадованно подумал Федор Михайлович. Из-за куста он ясно разглядел, как крупный матерый селезень, судорожно вытянув зеленую шею, быстро поплыл на уток. У крестовины селезень на мгновение настороженно и подозрительно поднял голову, остановился, но не совладал с весенним буйством крови, как-то беззащитно прошипел и рванулся вперед; не достигнув уток, он запутался в силок, взлетел, упал снова и забился в молчаливом смертельном испуге.

Федору Михайловичу он в этот миг показался поразительно похожим на зеленый, бьющийся по ветру платок.

Он снова забрел в воду, выправил селезня и схватил его за шею, чтоб привычным и сильным взмахом руки оторвать голову прочь. Но селезень вытянул шею вдоль спины и покрасневшими от страха глазами немигаючи смотрел в безбрежное пространство мутного неба и свинцовой воды.

— Прощаешься?—любовно спросил Федор Михайлович и снова схватил за шею. И опять, увернувшись, селезень смотрел на небо, чуть покачивая головой.

— Проворный какой... Врешь, у нас, брат...—Федор Михайлович хотел сказать «крепко», но селезень внезапно рванулся, выскользнул из рук и быстро-быстро исчез вдали.

Федор Михайлович долго смотрел ему вслед, туда, где все сливалось в полумраке и уж трудно было разобрать: небо это или вода.

— И до чего прикрасу много в миру. Птица и та жизнь обожает,—вдумчиво проговорил он и прислушался к едва уловимому, но мощному шелесту разлива.

Возвращаясь, он стронул чибиса, и тот с пугающим фурчаньем крыльев носился в темноте перед ним, оглашая воздух режущим неприятным криком.

— Ку-убырк-кубырк...

— Чего сполошился? Кто с тобой свяжется? Не режут тебя—орешь? Аль гнездо разорил? Мечешься, оглашенный!—сердито проговорил Федор Михайлович и опять подумал:

«Вить как все в миру устроено! Луговка, и та о своем гнезде соображает. Все своим чередом».

Уж от избы он посмотрел на взгорье, где редкими и смутными огнями рассыпались окна поселка, замыкающего его хутор. Тут же он вспомнил про свою тяжбу, ради которой в такую распутицу ездил в губернию. Вспомнил и проговорил, обращаясь в сторону поселка:



— Эх, вы, ненавистники трудовой жизни! Луговка и та про свое гнездо смысл имеет.

В эти минуты так уверенно думалось Федору Михайловичу о своей незыблемой правоте в изнурительно-долгой тяжбе с поселком. Войдя в избу, он еще раз утвердил, обращаясь к сыну:

— Правда, она в любые века свой закон означает.

---

С вечеру совсем не предвиделось ненастья, но не успел еще Федор Михайлович распариться за чаем, как подул ветерок, накрапал дождь, а вскоре плавно и неслышно, как лепестки, летели крупные и водянистые хлопья снега.

Федор Михайлович подумал снять уток, но не осилил себя уйти из тепла. И уснул.

Проснулся он далеко за полночь. Оделся и вышел. Небо морозно вызвездилось. Оно напугало его своей бездонной прозрачностью; сквозь порывы ветра слышался далекий и смутный звон льдинок, приковывающих к себе слух тем, что Федор Михайлович долго не мог понять, откуда он исходит.

«Окраины замерзли — звенят» — предположил он. Но звон долетел со стороны леска, и Федор Михайлович догадался, что звенит дуб высокий и черный в прозрачной бледности неба. Голая крона его, сплошь унизанная сосульками, тихо качалась в ударах ветра, и сучья, как тонкие черные руки, тянулись друг к другу и с едва слышным звоном чокались льдинками в каком-то молчаливом и мертвом пиру.

Федору Михайловичу на мгновение представился иным этот дуб: одетым в темную и душную листву, и под тяжестью этой листвы не шелохнулась ни одна ветка.

И вновь он видел перепутанные тянущиеся руки и слышал еле уловимое чоканье льдинок.

Это сравнение зеленого, нешелохнувшегося дуба с мертвым, обледеневшим всколыхнуло в нем непонятное чувство тревоги: показалось, что никогда уж больше не распустится дуб в своей могучей и тяжелой силе.

— Ужель сохнешь?.. — шопотом спросил Федор Михайлович.

И стало душно ему в своем одиночестве в это мгновение. Он вернулся в избу и долго сидел на приступке печи, пытаясь вдуматься в свое встревоженное чувство.

Вскоре у него сложилось понятие, будто не он выиграл трехлетнюю тяжбу, а поселок. И странно, это чувство крепилось, хотя Федор Михайлович хорошо помнил, что выиграл в тяжбе не поселок, а он сам.

Не осилив душевной смуты, он разбудил сына и велел снять уток. Но когда сын оделся, Федор Михайлович растерянно покликнул его:

— Володяшка, погоди... До утра постоят.

Изумленный сын молча разделся, лег и, приоткрыв угол дерюги, украдкой всматривался в отца. Через десять минут Федор Михайлович опять одиноко окликнул:

— Володяшка, не спишь?..

Сын натянул дерюгу на голову и согнулся, касаясь подбородком своих колен. Потом тихо ответил:

— Спать уж некуда больше.

И опять очень долго молчали оба. Казалось, Федор Михайлович спит, сидя на приступке.

— Чего ж спать?.. Выспался уж...—громко повторил сын.

Федор Михайлович вскинулся и взволнованно спросил:

— Володяшка, нам ведь определили?.. Да?.. Там... в губернии?..

— А я знаю?—раздраженно откинув дерюгу, спросил сын.

— Ай, Володяшка, не в том речь... Укрепу на душе нет, бестолочь ты, душевного укрепления нет!—воскликнул Федор Михайлович и поник снова. Сын посмотрел на него и опять укутался с головой. Спустя некоторое время Федор Михайлович пришел к определенной мысли и почувствовал нестерпимое желание рассказать ее сыну. Он несколько раз поднимал голову, чтоб заговорить, он знал, что сын не спит, и все же оробел потревожить его, закутанного в дерюгу.

Так и не заговорил он с сыном и тихонько вышел наружу.

Утренняя заря опускалась с неба: бледным, слипающимся светом растворила она темную таинственность ночи. На взгорье мутным силуэтом маячили избы поселка.

— И что такое получится, ежели вся птица начнет яйца в одно гнездо складывать?.. И что ж такое получится?—испуганно спросил Федор Михайлович обращаясь к поселку.

Потом долгим, пристальным взглядом осмотрел свой остров, замкнутый разливом и лесом. Помолчал. Поглядел на одинокий дуб и решительно промолвил, обращаясь к сыну и хорошо сознавая, что его тут нет:

— Правда, она нерушима вовеки. Она, Володяшка, в самой природе, правда. Луговка, скажем, имеет свое гнездо—имей. Рядом—иное гнездо. И по закону ему положено находиться. Другому.

И опять посмотрел на дуб, всякий раз утверждающий Федора Михайловича своей вечностью и ростом.

В синем рассвете посветлели обледенелые его ветви. И показалось Федору Михайловичу, что плакал ночью дуб, и что сосульки на нем—большие застывшие слезы.

Федор Михайлович быстро зашагал к воде снимать уток. На полдороге он остановился, оглянулся на дуб, на его частые жемчужные льдинки и тихо заключил:

— Всплакнулось, горюн?..

Частыми подпрыгивающими шажками пробежал Федор Михайлович по острову и стремительно ворвался в избу.

Сын вскинулся к нему навстречу и громко, испуганно спросил:

— Что?

Отец молча стоял перед ним и, сотрясаясь всем телом, смотрел поверх его головы в потолок:

— Ну, что-о?..—визгливо крикнул сын.

— Володяшка... Володяшка-а...—только и мог проговорить Федор Михайлович и упал в кровать, лицом в жесткую, как солома, подушку.

До обеда пролежал Федор Михайлович в постели, не шелохнувшись, словно мертвый.

И до обеда неподвижно просидел на заступке сын, на том самом месте, где ночью сидел отец.

На дворе тоскующим мычаньем корова просила пить, и было слышно, как оголодавшие лошади теребили пелену избы.

Но ни отец, ни сын не встали убрать скотину.

Внезапно Федор Михайлович приподнялся и бесцветными, неподвижными глазами уставился на сына.

— Володяшка... отберут, скажем, у нас третьяка в общее гнездо — кто его кормить-лежать станет? Кто?.. душу заживо червяки грызут, — потрескивающим голосом сказал он и опять рухнул в подушку.

Сын расслышал, как в пересохшем его рту шушит язык. Но вскоре Федор Михайлович встал, не проронив ни звука, ушел на взгорье, в поселок.

Там он, встретив первого попавшего мужика, остановил его и спросил:

— Пусть мне определил суд, ну, а утки почему страдать должны? Убивать—убивай самого, а при чем тут птица?

Мужик ужасно оробел перед Федором Михайловичем. Он беспомощно огляделся и, заметив соседа, позвал его к себе. Но сосед быстро юркнул в избу. Тогда мужик оглядел опустевшую неожиданно улицу поселка и, убедившись в неизбежности отвечать Федору Михайловичу, заискивающе спросил:

— А что такое случилось, Федор Михайлович?..

Хотя он хорошо был осведомлен о случившемся: еще рано утром его жена вернулась от колодца и пространно известила:

— У Федяшки,—так Федора Михайловича на поселке прозвали за то, что сына своего он называл Володяшкой, — уток Семен Бреев поразил, нáзло ему. Четырех селезней унес и крестовину сломал. Так ему и надо, кроту! Опять охлопотал, проныра — христосиком прикинулся. Весь поселок по рукам, по ногам связал. Бреев принес даве обломок с силком мужикам: «Вот, баит, все равно пройдем. Быть по-нашему!»

Не ответив мужику, Федор Михайлович опять спросил:

— А сколько прежних долгов мною вашему поселку прощено? Одним хлебом всех вас засыпать мог бы.

Потом безнадежно обошел его и направился в избу к Семену Брееву.

Семен Бреев щипал селезней. Груда мелкого желтого пуха лежала перед ним на столе. Когда вошел Федор Михайлович, Семен Бреев проворно смахнул со стола пух, а полуощипанного селезня спрятал за спину.

— Здравствуй!..—растерянно проговорил он, весь облепленный пухом.

Федор Михайлович молчал, поглядывая то на него, то на лавку, где лежали три уже ощипанные тушки.

— Селезень ноне не особо жирен, — растерянно заметил Семен Бреев. Из чулана на них молча смотрела очень маленькая и растрепанная жена Семена. Федор Михайлович спокойно опустил на лавку, потрогал селезней и, потирая засалившиеся пальцы о стол, произнес:

— Семашка, смотри мне прямо в глаза. В работниках ты у меня восемь годов изжил—сказано ли мной тебе хоть одно дерзкое слово за все восемь годов?.. Опять же и долгов тебе сколько прощен?

Семен молчал. Но жена неожиданно рванулась из чулана и оголтело затараторила, передразнивая Федора Михайловича:

— Прощен?.. Прощен?.. Тобою прощен?.. Властью прощен?.. Какой прощальник нашелся!.. Христос-христом, что язык-то прикусил?

Федор Михайлович приподнялся и опустил опять.

— Власть. Что ж ты кричишь, Марфушка? Власть!..—неопределенно произнес он, потом вдумался и добавил:—Власть, она, Марфушка, властью и есть. Что ж про нее кричать, про власть?.. Власть—она опять же для порядку назначается. И то сказать: остров мне, а не вам она, власть, определила. И за порубку деревьев вас к ответу назначила. А долги, Марфушка, я вам от своей душевной правды простил. Пускай порвнется народ и начинает сызнава.

Он поднялся, чтоб уйти, но Семен Бреев внезапно загородил ему дорогу:

— Хозяи-ин!.. — плаксиво покликнул он. — А как в моей бесысходности, ежели все сызнава?.. Коровенки и той ребятишкам в пропитание нет. Опять и поясницей, мочи нет, к ненастью маюсь с тех пор, как у тебя на острове кряжами надорвал!..

Но вдруг он рванулся к Федору Михайловичу, поднес к его лицу недоощипанного селезня и озлобленно заорал:—А-а... тебе бы все сызнава?.. Кряжи за тебя ворочать, а ты сызнава в сторонке: «у тебя, Семаша, силенок погрузней моево — бери вот эти». Ишь ты какой мягкий!.. чтой-то не клейко у тебя получается без меня-то. Сызнава?.. По правде хошь?.. Хуже собаки надоел ты со своей правдой! Извечно все правда, правда... Чхать мы хотели на твою правду! Вот куда ее!..—и Семен ткнул пальцем в недоощипанный хвост селезня. — У нас своя правда!..

Но Федор Михайлович, казалось, вовсе не слышал и не понимал его. Он спокойно, точно Семен—встретившийся на дороге столб, обошел его и скрылся в сенцах.

Все так же степенно подошел Федор Михайлович к узенькому спуску с обрыва на остров.

Нежилым и покинутым показался сверху этот родной участок и даже, казалось, расположен-то он ниже уровня разлива: и до чего было поразительно, как только не захлестнула его до сих пор весенняя свинцовая вода?

Низеньким и беспомощным показался и дуб, утверждающий незыблемость Федора Михайловича. Глухой и забытой виднелась изба и такой приземистой, точно она погрязла, потонула в землю. Тяжелая, мокрая тишина начиналась прямо с краю обрыва и давила на остров.

Федор Михайлович ощущал эту влажную тишину оврага и впервые за долгую свою жизнь на острове подумал:

«Воздух тут, наверху, куда вольготнее. Ветрам нет задержки» — и тут же отметил, что там, внизу, как только спустишься, совсем не замечается эта сырая и тихая тяжесть воздуха.

Федор Михайлович нерешительно стоял на краю обрыва. Вглядываясь в то место, где привязывал уток, он вспомнил, что надо вытащить из воды тяжелый вагонный буфер, служивший грузом для крестовины. И в соответствии с теми мыслями, что возникли у него в брани с Марфушкой, он проговорил:

— Первые дни она, власть, тоже глупость допустила. Но потом справилась: истинный закон стала оправдывать.

Сказал он совсем равнодушно, как-будто все обстоятельство с властью ни капельки его не касается. Усмехнулся и добавил:

— Очевидная невозможность, чтоб, допустим, птица в одно гнездо яйца складывала.

Он решительно шагнул вниз, но, вдохнув холодный, сырой воздух оврага, выскочил наверх и громко спросил самого себя:

— А было ли по всей округности голосистее моих уток? «Разлапушка», допустим. Кто выразительнее ее «осадку» селезню мог сыграть? Ажно застонет, бедная, бывало. Ах, ненавистники!

Резким прыжком, не боясь поскользнуться, бросился он вниз. Не замечая глубоких луж, вбежал в сенцы, схватил топор и, подскочив к дубу, принялся с остервенелой яростью рубить его под корень.

И каждый удар топора с каким-то шипением звучал в большом дупле. Казалось, что дуб недоумевающе фыркал одинокой, темной ноздрей.

Рубил Федор Михайлович, не соблюдая порядка, не жалея себя, до усталости, до полного изнеможения.

Сын молча следил за ним от избы. Заметив, что отец выбивается из сил, он закричал во всю мочь:

— Уйду-у... Куда глаза глядят уйду!—и убежал в избу.

Федор Михайлович перестал рубить, отнес в сенцы топор и, с трудом сдерживая тяжкое дыхание, прислушался, что делает сын. В избе было тихо, и это обстоятельство напугало Федора Михайловича: сын—в избе, и так тихо, точно там уж никого нет.

Он так и не решился войти к сыну и пошел вынуть из воды грузило.

---

Когда Федор Михайлович возвращался, прижимая к груди ржавый вагонный буфер, на пороге с ним встретился сын. Он был одет дорожному, с большой тяжбинной котомкой, из которой выпирали носками кожаные сапоги.

Отец сразу понял, что сума эта сготовлена сыном не теперь, а раньше: так обдуманно и способно пришиты к ней сплетенные, как девичьи косы, веревки. И сам-то Федор Михайлович внезапно почувствовал, что будто известно было ему про этот уход. И даже совершенно изумительное, непостижимое облегчение нашел он в этом решении сына:

— Идешь, Володяшка?..—слабо улыбаясь, спросил он и прибавил:—Ну, с господом, Володяшка, с господом...

Не дойдя до леска, сын повернулся, постоял минуту и, глядя на все еще улыбающегося отца, иступленно взвизгнул:

— Жизнь... ёсело, а не жизнь! Сгниешь в молодых летах! — и быстро скрылся в деревьях.

Федор Михайлович подождал минуту и суровым, размашистым крестом осенил путь сына.

## II

До чего зарос остров к началу лета! Даже у самой избы, прямо под окнами густо вымахнула злая крапива. После ухода сына Федор Михайлович ни разу не поднялся на взгорье.

Еще с весны в яровой сев запряг было он соху, но почувствовал вдруг, что сердце уже вовсе не лежит к земле. Да так и бросил соху на полборозде в сухой бурьян сошниками вверх.

И полдня скитался бесцельно по острову, а с обеда смешал овес с просом и до глубокой полночи прямо в непашь и по зеленой озими рассевал, сосредоточенно вслушиваясь, как с внятным шипением падает в землю зерно.

А потом, когда, заглушая друг друга и перевиваясь в каком-то жутком сплетении, взошел густой посев, выпустил Федор Михайлович свою скотину на волю, на остров и всю ночь в судорожном рыдании бился под дубом, громко жалуясь ему:

— Ну, и что ж получилось от этого смешания?.. Что ж получилось?.. Кому и где черед вырастать-зреть?

Утром утих и уж не загонял больше скотину на двор.

Тогда же вскоре видел он, как по его участку прошел приезжий человек с Семеном Бреевым, и, привыкший к тяжбе, угадал в нем землемера. Но уж ни прежней злобы к нему, ни заботы не ощутил он в сердце.

И дни установились с той поры ровные, ясные и, как листья на дубу, похожие друг на друга.

Одно лишь тревожило Федора Михайловича: напал он еще в мае на гнездо чибиса и охранял его от неосторожной скотины, терпеливо ожидая вывода. И в тот день, когда появились птенцы и, широко раскрывая желтые треугольники клювов, писком возвестили о своих потребностях, получил Федор Михайлович бумагу через поселковый совет.

В ней категорически предлагалось перечислить остров к поселковому коллективу, а требуемое количество леса срубить на постройку колхозной мельницы. Там же определялось вырубить душевой надел Федору Михайловичу на новом месте, на «Козихе», исходя из количества живых душ.

Едва глянул он на бумагу и побежал к птенцам.

Спугнутый им третьяк бросился на гнездо, и почтай из-под копыт его с криком поднялся чибис. Федор Михайлович схватил огромную хворостину и до тех пор носился за лошадью, пока одичалый третьяк не бросился в бурьян и, споткнувшись на оглобли, грузно упал животом на сошники. Потом рванулся, волоча за собой залитую кровью соху, но так и не встал больше.

Осмыслив беду, Федор Михайлович побежал в избу и наскоро принялся набивать патрон, чтобы добить лошадь.

Но выстрелить нехватило сил. Отбросив заряженный бердан, он улучил-таки миг, выдернул из брюха лошади соху и долго смотрел, как третьяк, путаясь ногами в сизых вытекших кишках, заводил в подлобье огромный лиловый глаз.

Едва оторвавшись, он заметил из высокого бурьяна, что по лесу ходит Семен Бреев с каким-то приезжим человеком в зеленой фуражке и метит топором деревья. Федор Михайлович видел, как они подошли к дубу, и слышал, как Семен Бреев громко и оживленно убеждал, показывая на огромные сучья:

— Ведь ежели этакые сваи, товарищ техник, заколотить, сможет ли какой напор их свернуть? Да разве сможет?! Да разве мыслимо? Ведь, может, он, дуб, на моих соках вырос!

Легко, точно поигрывая топором, он зарубил большую до дресины метку на стволе.

Когда они ушли, Федор Михайлович, забыв про третьяка, подошел к дубу и внимательно осмотрел метку. Потом замесил глину и старательно, как подрезанную яблоню, замазал ею зарубку. Затем он принес новые посконные вожжи и большую теплую онучу. Онучей он аккуратно покрыл глину и обвязал вожжами.

Лишь после этого Федор Михайлович ушел к гнезду чибиса и лег там на траву, поглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов и прислушиваясь к стону издыхающей лошади.

На другой день мужики принялись рубить лес. Семен Бреев с техником подошли прямо к дубу. Приставляя лестницу, Семен Бреев нарочно громко и насмешливо кричал:

— Федяшка, ты не особо беспокойся! Мы только сучья спилим, колоду мы тебе на домовину оставим. У тебя, чай, душа лежит по-старинному в долбленом гробу похорониться. А тут тебе и долбить особо не придется: залазь в дуплину и помирай. Слышь, что ль?

Укрепив лестницу, он заметил, что метка его обвязана. Он занес топор, чтобы перерубить веревку. Федор Михайлович подскочил к нему:

— Семашка, не тронь!—крикнул он и уж спокойней прибавил:— Не тобой обвязано, не тобой и сымется.

Но Семен Бреев слегка отстранил его и перерубил одно кольцо.

— Не тронь, говорю!—опять крикнул Федор Михайлович и изо всех сил толкнул Бреева. Семен упал. Но вступился техник:

— Товарищ!.. Товарищ!.. Не вам говорят: отойдите?.. Кому говорят?..—закричал он на Федора Михайловича.

Федор Михайлович вдруг поник, опустил плечи и, покорно отойдя в сторонку, испуганно и напряженно смотрел на него. Точно он никак не мог вникнуть в смысл его слов.

На шум прибежали мужики из лесу: Семен Бреев молча, в два ловких приема перерубил остатки вожжей и топором же добела очистил с дуба глину.

Казалось, именно это и привело Федора Михайловича в иступление. Плавно наклонив вперед туловище, с необычайной легкостью он пустился вглубь острова к гнезду чибиса. Схватив пригоршнями птенцов, он высыпал их в фуражку и, так же плавно нагибаясь корпусом, прибежал назад к дубу.

Привыкшие к нему чибисы летели над его головой, недоуменно вопрошая:

— Чий-и... Чий-и...

Семен Бреев уж сидел на суку и прилаживался рубить. Мужики молча расступились. Федор Михайлович, подойдя вплотную к дубу, большой ладонью стиснул птенцов и широким взмахом, похожим на тот, каким он крестил путь сына, шваркнул их о корявый ствол.

— Ишь ты ведь... Вот топором бы тебя за это,—озлобленно заметил сверху Семен Бреев.

— А-а... топором?.. Топором, Семашка... топором?—усилия с каждым словом голос, прокричал снизу Федор Михайлович.

Семен Бреев молча продолжал рубить сук.

— Что ж, Семашка, топором?—еще раз крикнул Федор Михайлович и, уж не сгибая туловища, неспеша пошел в бурьян к лошади.



Жизнь все еще слабо билась в ней. Федор Михайлович на одно мгновение взглянул в ее медленно ворочающийся глаз, уже затянутый мутной голубой пленкой.

Потом поднял заряженный бердан и так же, не спеша, но на деле очень быстро, пошел на мужиков. Мужики мгновенно разбежались.

Семен Бреев тоже опустил ноги, чтоб слезть, но попал ими не в ту сторону, где лестница. Побоялся ли он спрыгнуть или растерялся, но только так и остался, повиснув грудью на суку, вглядываясь в землю, как бы соразмеряя расстояние.

Федор Михайлович подошел под него, поднял вертикально бердан и, внимательно выцелив, выстрелил ему в живот...

---

В город спешно написали о вооруженном выступлении кулака, и ночью в поселок прибыл конный наряд милиции.

Милиционеры пешим строем, цепью двинулись на остров. Но никого не нашли там.

Лишь чибисы, охрипшие от тоски и крика, кружили у дуба и без умолку плакали в слепую темь:

— Чий-и... чий-и...

---

Два месяца спустя на острове поселковый колхоз выстроил новую мельницу и просорушку. Когда вставили затворни и обмелела река, Федора Михайловича нашли на том месте, где он привязывал весной уток.

В смешную, нелепую позу усадили его вода и время. Он сидел согнувшись, точь-в-точь как сиживал некогда над гнездом чибиса, вдумчиво заглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов.

Ноги его до колена засосала тина, такая же серо-зеленая, как его лицо. А руками он обнимал привязанный изрубленными вожжами к шее вагонный буфер, служивший некогда грузом для крестовины с силками.

Только волосы и борода Федора Михайловича показались всем чрезмерно длинными.

Впоследствии, дожидаясь очереди на помол, мужики часто спорили: растут у утопленников волосы или не растут?

Больше говорили, что растут.

Москва, 1929 г.

---

# Спешить, как мне, не надо счастливой девочке

НИК. УШАКОВ

«Спокойною удачей  
отмечена давно  
за палисадом дача  
с окном на полотно.

Сквозь кисею лениво  
глядишь в стекло, —  
за ним —  
дрова,  
    локомотивы,  
    трактиры  
    и огни.

А дома тихо  
(впрочем,  
все ж слышно,  
как везде  
    желает доброй ночи  
    звезда  
    другой звезде);

на блюдечке старинном  
уже тринадцать лет  
закапан стеарином  
последний твой билет

и влажная прохлада  
в дорожном сундучке:  
спешить,  
как мне,  
не надо  
счастливой девочке —».

Так думал,  
    с вихрем споря,  
простуженный турист,  
    снегов  
    и плоскогорий  
семь суток  
    слыша  
    свист.

Но, возвратясь с становой  
и ледников  
домой,  
очки  
и рюкзак свой.

---

# Гидроцентрль

Р о м а н

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Биржа труда

1

**Д**еревянный барачного типа фасад с частыми, из тонкого стекла окнами, доходящими почти до самого тротуара, позволяет видеть жизнь учреждения, такую же, как тысячи ей подобных. Живыми участниками, выразительными и важными, стоят столы с кипой дел, фиолетовым разливом чернил, коробкой шумного телефона; просиженные стулья, шкафы, лишённые всякой интимности, доступные, грязные, широко распахнутые. И запах внутри, запах пыли, вытираемой мокрой тряпкой, озон от постиранного и недосушенного полотенца, затхлость поношенной, усталой от сиденья, от тела, от пота, от пыли одежды.

Озабоченный придаток к столам, люди, эти кентавры современности, так прочно срослись со своим окруженьем, что, и сидя, и двигаясь, — как бы опираются они на четыре ноги своих клопиных и точками мух изукрашенных стульев.

Но в этом учреждении ко всему прочему примешался еще особый и тревожный запах человечины, посторонней и влившейся с улицы. Биржа труда—место необыкновенное, если иметь фантазии хоть на пятак. Люди обоего пола, всех возрастов—машины с неизвестным назначением, инструменты для тысячи дел, тупые и острые, новые и поношенные, энергия, не перешедшая в работу, ржавеющая от лежания. Навыки, приемы, привычки, методы, опыт и личная находчивость собрались тут, у стены, где вывешены листы с фамилиями счастливых. И даже там, где нет ни опыта, ни навыков, глядит голодными зрачками человеческая сила, измеряемая на километры и не уступающая той, что уловляется в воде, паре, угле.

Угрюватый заведующий почесал нос (у него был геморрой носа) и, осторожно высунувшись из окошка, повесил новый лист жестом надсмотрщика, бросающего корм в клетку тигра: требуются статистики. Их требовалось около пятнадцати, и все фамилии были женские. Учреждения упорно требовали женщин. Толпа прилила к окну и

зарокотала. Возмущенные пятна лиц,—овалы желтых малярных, втянутых щек, бодливый нагиб невысоких лбов, сумрачные и кроткие глазницы,—все это бледным виденьем закружилось перед окошком, причиняя заведующему привычную дурноту. Старик, грязно-седой, в пиджачке, обшитом по краям тесемкой, тревожно и тщетно воздевал на нос дугообразное старинное пенснэ, должно быть, с чужой переносицы. Он был ближайший к окошку. Руки его тряслись, губы тряслись, негодование грозило даже мелким, слабо нашитым пуговицам. С привычкой бормотать себе под нос, не дожидаясь реплик, он говорил вкусно, беззубым ртом, обстоятельной речью старости, всегда очень детализованной:

— Напишите: ночная работа... Сударики мои, тридцать пять лет стажа по статистике, печатные труды имею, третий месяц хожу сюда,—бабье, опять бабье! Какая у баб квалификация? Сложенье и вычитанье...

— Зато в сложении они сильны, дядя,—сострил заведующий,— в сложении ты им не конкурент!

Но никто не улыбнулся на остроту. Резкий толчок ворвался в хаос локтей, кого-то прижал, кому-то сбил в сторону шапку,—вихрем прошел сквозь толпу человек; и очень высокий, почти юношеский голос с оттенком певучей декламации опередил появление его у окошка.

— Стыдно, стыдно,—произнес голос очень просто и очень убедительно. Так говорят немки своим воспитанникам: Schande, Schande!

Сквозняк, поднятый этим бурным протискиванием сквозь толпу, молодой голос, интонация, необычность самих слов—все это пришло сразу, как приходит настоящее приключение, когда его менее всего ждешь. Заведующий забыл геморрой носа, у старика замерли пальцы, вцепившиеся в пенснэ.

К окошку, двигая плечами, подходил человек необычайного вида. Очень большой, рыжий, он обладал плотной и сильной ловкостью сибирского кота, ступая удивительно мягко. Длинные ноги циркача, лицо внимательное без напряжения, маленькие глаза в больших круглых очках с разбитыми стеклами, хороший арийский нос над тесными губами азиата. На нем отлично сидело нечто, купленное в наркомхлеме,—так называли местные жители рыночное барахло,—сюртук амазонки, стянутый в талии, пышный на бедрах. Руки его лежали в карманах жестом оратора, говорящего на ходу. Ловкие ноги без всякого подобия сапог почти балансировали стоптанными галошами, поднимая их кончиком пальцев, как танцующие мусульманки в шальварах поднимают на папиросных коробках нежные ободки чевяк.

Дойдя до самого окна, он остановился и вскинул подбородок. Ему видно было отсюда всю толпу с водоразделом его собственного, только-что пройденного пути. Привыкшая к неудачам, загнипнотизированная буднями, с'еденная всем, что обычно, стояла кучка терпеливых людей, испуганная сейчас необходимостью воспринять необычное.

Затылки,— он их угадывал, он их помнил, он раздвигал их только-что, —затылки теснились курдюками барашков, прикрытые этим фасадом вопросительных и надолго утомленных лиц.

— Стыдно, — повторил рыжий торжественно. — Вы ничего не понимаете в своем деле, ничего не понимаете в этой толпе замечательных личностей, перед которой позволяете себе базарные шутки. Вы важничаете на стуле, воображая, что раздаете блага, что люди от вас зависят, и у вас нехватает тонкости понять, что мы собрались давать, а не получать, давать, жертвовать, благодетельствовать, забрасывать дарами. Вот вам старик в золотом пенсне. Рука его на промокашке — изучите руку! Он никогда не слюнявит пальцы, он берет лист за ребро и переворачивает его, разглаживая. Он голоден, но не по-вашему. Когда он жует губами, он думает о прочитанном, а не о хлебе. Этот человек стремится к шкафчику, где были бы ключ и полки. Бумажки, вшиваемые в дело. Резинка — стереть, ножик — подскоблить, чернила красные, чернила черные. Этот человек поднимает перо к носу, снимает с пера волосинку. Он музыкант в своем деле, организатор, дирижер бумажек, он требует своей порции труда, она хрустит у него в пальцах, — а вы осмеливаетесь острить о сложении девиц, набивающих ящик грязными губными помадками и обертками от карамелей «Дэзи». Или вот эта седая женщина, муфта ее, — прошу извинения, — не по сезону. Но муфта заменяет портфель, в муфту прячутся тетради, десятки тетрадей, каракули, башня неграмотности, — сейчас нет их в муфте, и женщина тоскует без них, глазам пусто при лампе, ночью она разговаривает во сне, — знаете вы, что это такое держать на холостом ходу старого, опытного, прирожденного педагога? Или, наконец, молодой человек, — придвиньтесь, молодой человек, — я убежден, — шофер, ногти его черны от бензина и спина бела от пыли. Он знает машину сверху и снизу, выцарапать его из машины — это выковырять черепуху из панцыря, лишить мякину оболочки. Шофер — это требует понимания. Когда он нажимает сирену, у него булькает в животе. Когда едет порожний, — постороннему говорит: «садись, подвезу» — физиологическое чутье машины телом хотеть нагрузки — профессиональный навык, огромная тренировка. И вы распоряжаетесь из окошка, не видя, что перед вами тысячи килоуатт-часов, вы шушукаетесь с месткомом, вызываете опереточных принцесс, идущих на труд, как бутафорские царьки на войну, — стыдно же, стыдно так, стыдно, чорт вас побери, — на десятом году революции!

Он замолчал внезапно, как начал. Сперва было тихо. Всем казалось, что речь протекает сбоку, необязательно для слушателя. Каждый относил ее к соседу, с дурной привычкой мерить себя невысокой мерой и не считать слишком большую интеллигентность сказанного делом ума своего. Но вдруг в наступившей тишине все изменилось, словно прошел дождь. Со дна души встала светлая беспокойная жажда, странная щемящая тоска. Крестьянин весной, когда нечем сеять, испытывает ее. Тоска по неиспользованной в себе и вокруг себя силе.

## 2

Между тем рыжий величественно удалился. Ему пустили чудака, и старик и женщина с муфтой, шофер проводили его растерянным взглядом. Он ходил на биржу каждый день и просматривал списки архивариусов, скрипачей, парикмахеров, клубных работников. В кармане его был диплом доктора философии.

Голод терзал его. Но даже сейчас он мечтал о еде по-своему. Ресторан коопа его не соблазнял. Маленькие молочные, где хозяин надрезывал на тарелке квадратный бисквит или рогульку, ставя ее на стол рядом с кирпичного цвета чайным стаканом, и нардисты в глубине скрежетали костяшками, подбрасываемые горсточкой снизу вверх, его не соблазняли. Он думал о тихих самоварах в коридоре учреждений, о женщине с корзиной булок, прикрытой марлей, — запах чая в учрежденческих стаканах, табачный немного, мучил его воображение днем и ночью. Иногда же он мечтал о папиросной бумаге, куда машинистки заворачивают свой завтрак — хлеб, намазанный маслом, с кусочком холодного языка или просто крутым яйцом, поперченным и сдобренным солью. Он выработал себе условную форму рефлекса на «трудовой завтрак во время перерыва занятий».

Покуда рыжего несли длинные ноги, во след ему мчался маленький человек, делая три шага на один его шаг. Он гнался за ним с самой биржи. Длинный армянский нос, тяжелая голова, тыквой свисавшая кзади, бархатная куртка и на ней следы перхоти от слишком длинных кудрявых волос, — таков был человек, вцепившийся, наконец, в рукав рыжего.

— Виноват (извинился не он, а рыжий. Учтивость была его первым признаком и шла к нему, словно надпись, вырезанная и наклеенная снизу). Виноват? (Вопросительно.)

— Я тоже безработный, — проворчала бархатная куртка. — Вы мне понравились. Вы где живете?

— Нигде, если не считать тира.

Военное это учреждение из старых досок и сырца, наскоро изготовленное исполкомом в единственном городском сквере, чтоб милитаризовать местных любителей, не приобрело популярности и в нем ночевали беспризорники, удиравшие из приютов.

— Приглашаю вас к себе в особняк, — торжественно произнесла бархатная куртка. — Жить, спать, работать, есть картошку. Гнуни, художник-леф.

Особняк не был фикцией. В татарской части города, где безголовые домики, ободранные, как извозчицьи козла, торчали погребальными квадратными остовами, и пела известь в воздухе, взметаемая сухим ветром, — он вселился без ордера в четыре стены, натянул сверху брезент и кусками срезывал его по бокам для картин, изготовляемых на знатока.

Отсюда был виден весь этот город, не сверху вниз, — татарская часть лежала ниже, — а снизу вверх, как всплывший труп утопленника. Город пучился кверху невыразимой отчетливостью очертаний, какие бывают в музеях картографии, на старых городских планах. Плоскокрыший, цвета порыжелой гравюры, под прямыми лучами солнца, он взял себе тень в жены, и верная тень стала строительной частью пейзажа. углубляя своды, обводя колонны, подрисовывая карнизы, черня ребра домов. Нигде нет такой тени, как в араратской долине. На горизонте над городом всплывал Масис, двумя головами упираясь в небо, — архаизм какого-нибудь путешествия Дюмон-Дюрвиля, четкая пирамидка потухшего вулкана с цепью круглых облаков у подножья. Вода разоренных арыков кой-где билась меж мертвыми домиками, — нитевидный пульс умирающего. Небывало ранняя весна вошла сюда звоном солнца, лопающегося, как стекло, звоном луж, примерзающих к ночи, миллиардами белых и розовых бабочек, — абрикосовых и персиковых цветов, обреченных на гибель, неистово сыпавшихся с уступов города, отовсюду, где были сады. Люди тоже ходили в городе, — люди из путешествия Дюмон-Дюрвиля. Их крепкие, узлом стянутые носы с подвороченными, как брюки у франта, ноздрями, тяжелые головы, лбы, уходящие под откос бараньих шапок, говорили о хетитской расе и приводили на память рельефы египтян. Штаны их свисали сзади, как хвосты кенгуру. Ослы тащили поклажу, качаясь под двойной бухгалтерией курджина. Армянка шла, неся хворостину, — так можно нести корону, — и подол длинной юбки, приподнятой спереди животом, величественно подметал пыльную, — вулканическую пыль, эпидерму лица, древнее которого нет в географии.

Художник-леф, сидя на корточках, раздувал уголья в кривоногой мангалке. Рыжий сидел, положила ногу на ногу, устало, как гость, восхищаясь всплывающим городом. Он не хотел есть картошку, он не чувствовал аппетита. В этой позе мечтателя, на камне, словно в качалке, розовый от заката, рыжий казался экстатическим призраком прошлого, — чем-то от покойной эстетики декадентов.

— Я эстетику не вы-но-шу! — орал леф. — Я сюда прибыл организовать леф. Но что это за город, что это за город, что это за город! Семинаристы сделали университет, воспитывают молодежь. Они нашего комсомольца называют комсомолистом. АХР опередил меня. Тут все записаны в АХР, и я остался в особняке.

— Вы рисуете на брезенте?

Леф встал с земли и очистил котенки. Армянские, близко посаженные хетитские глаза вцепились в острые зрачки рыжего, спрятанные за поломанными стеклами. Да, ему сказать можно. Леф спрятался в домик, шурухнул там крысой, выбежал с куском брезента и развернул его. Он был бледен:

— Вот я рисую.

На брезенте, развернутом и поднесенном к рыжему, — ничего не было, так-таки ничего—ни аза, ни брызги.

И тут рыжий сделал именно то, чего ждала бархатная куртка, он вынул руки из карманов, засутулился, приглашение к интимности, — не напустил на себя ровно никакого пониманья, и его вопрошающие стекла блеснули навстречу художнику.

— Я так рисую, — голос лефа охрип, — старая выразительность умерла. Ищу, кладу мазок, вижу — это хуже, чем ничего. Тогда я смываю. До сих пор не нашел, что лучше, чем ничего.

— Да, — сказал рыжий.

— В Москве у меня был писатель, товарищ, — захлебывался художник, — он не потерял инерции в работе, он писал все по порядку, как ехать по шоссе, не сокращая дорогу. Ему Шкловский сказал: «Вам труднее, чем мне. Если мне фраза не нравится, я ее просто вычеркиваю, а вы должны написать снова». Просто вычеркивать—это замечательно. Я хочу форму, как беспроволочный телеграф. Без трансмиссий. Слушаешь Бетховена — ремни, ремни, ремни, — разные арпеджио, вариации, тема передается в другую тональность или еще куда. Для чего передаточный ремень в форме? Пусть слушатель сам переходит, пусть он прыгает, пусть он связывает без трансмиссий! Вот это моя проблема.

Рыжий слушал, всматриваясь в кусок брезента.

— Материал сам подсказывает формы. Я лежу в постели, одеяло свернулось, в одеяле морда лисицы. Я раньше так работал. Но с некоторых пор у меня ужасное состояние, может быть, от старости. Кто-то сказал, — от старости люди не обездариваются, а только к себе требовательней, и потому стоп машина. Я сейчас ничего не могу сделать, — все дрянь, дрянь, хуже чем ничего, пустее, чем ничего.

— А чем хуже?

Он спросил не так, как говорят с утешеньем: «а чем это хуже, батенька?» Вопрос направлял мысль. Леф отозвался: если подумать, было ясно, чем хуже. Например, если фунт изюму четвертак, а за мешок двадцать копеек, то это нехорошо, не годится. Он терпел адские муки от накладного расхода формы, ее неэкономности, неоправданности. «Ничего» выразительней, чем эта форма, посыпанная на предмет, как песок. Ему казалось: слова, краски, звуки толстели, пухли, как только он обращался к ним, покрывались налетом сала, подобно супу, снятому с огня. Ему мешал синтаксис, мешала грамматика, мешали гаммы, мешал спектр, и классическую палитру Леонарда он готов был дать слизнуть псу, если бы только пес мог вылизывать память, как тарелки. Эта борьба,— ахровец непременно назвал бы ее муками недоучки, — встретила в рыжем тихое пониманье.

— Я объясню вам, — ответил рыжий. — Мы сейчас переходим в другую систему связи. Коренной перелом. Второй раз за историю человечества. Первый раз — от иероглифа к букве. И теперь снова от буквы к иероглифу.



— ? —

— Кинематограф, радиомузыка, радиовещание — вдумайтесь, что это такое? Передача форм от человека к человеку в виде процесса. Вещь умирает. В «Предателе» — советский фильм — герой за ширмой у проститутки. Снаружи кран. Из крана вылилась вода. Что это такое, этот кран? Аналогия, иероглиф. В кино, в радио люди уже начинают подходить к этому. Человек глазами переживает иероглиф, ушами чтение.

Но художник не видел «Предателя», и рыжий, не торопясь, объяснил ему первые нехитрые символы кинематографа, игру в процесс, аналогии, еще грубые, как древний фаллос, передачу полового акта в дребезжаньи графина, в кране.

— Это ужасно! Все хочет быть действием, а не вещью!..

Вещь, именуемая картошкой, тоже взывала к действию. Мангалка потухла. Угли корчились рубинами. Художник прыгнул с неба на землю:

— Скажите, пожалуйста, — он таскал ее щипцами из углей и швырял прямо на камень, — вы там на бирже читали список парикмахеров. Кто же вы такой, чорт вас возьми, скажите, пожалуйста?

### 3

Человек, еще говоривший «сударь», учтивый, как старомодные старички на пенсии, был помесь армянина и немки, Арно Арэвян, безработный. Он изнасил немецкие костюмы. Немецкие привычки оторвались от него, как пуговицы, и он только изредка хватался рукой за пустое место. Шесть месяцев безработный в стране, куда приехал добровольно, — это сделало его невыносимо наблюдательным. Он никогда не говорил о себе.

— Парикмахером или чем угодно — я ищу работу. Между прочим, не кладите мне картошку. Правда, я голоден, но мне бы хотелось заключить с вами условие.

— Условие?

— Я хочу вам предложить за картошку свой труд.

— Какого чорта мне ваш труд?

— Погодите. У вас особняк. Я мог бы сделать вам крышу, я отлично умею делать крыши. Согласны?

Люди говорят в таких случаях: «Оставьте, пожалуйста. Кушайте на здоровье. И уж если руки у вас чешутся, делайте в полное удовольствие, что хотите, но безо всяких условий». Художник запнулся, он чуть не сказал то же самое. Рыжий остановил его рукой:

— Дело в том, что я очень люблю есть заработанный хлеб.

— Хорошо.

Он ответил прежде, чем захотел, и потому рассердился. Оригинал двигался в его жизнь, как паровоз. Картошка, лежавшая на пыльном камне, серая соль в бумажке — все стало реальностью. Станный гость

первый протянул руку. Большая, в золотых волосках и веснушках, эта рука поразила художника своей удивительной нежностью. Поднял картошку, близоруко прищурился, двумя пальцами, словно лепесточки, стал шелушить кожуру, надкусил и только потом посолил рассыпчатую сердцевину. Чорт его подери, как он ел!

— Вот вы пришли гостем, сделали меня работодателем, убили мой дар и довольны, потому что независимы. Я этого не мог бы сделать. Я не могу вдвинуться и занять себе место. Ах, какой вы эгоист!

Он этого не сказал вслух, он думал, глядя на спокойную руку. Было в ней что-то странно-завлекательное и внушающее тайную зависть.

Они легли спать, звезды казались насыпанными сверху на брезент. Маленький возился, он думал о женщинах, его кусали земляные блохи. Рыжий притих и заснул сразу.

Утром началась ни с чем несообразная действительность. Подвернув короткие брюки, рыжий вышел на работу. Он отыскал пыльный овраг с сухим кустарником и валил куст за кустом, как кегли. Ножиком надрезал, потом ударял по надрезу, потом загибал в обратную сторону, сухостой кричал, с рыжего капал пот, подмышки мелькали мокрыми пятнами, очки он снял, и раздетые глаза на лице, как всегда, казались пойманными не на месте. Глаза были маленькие, серо-голубые. Когда кустарник одинаковыми охалками был доставлен к особняку, началось изготовление жижки из земли, песку, щебня и глины, — недоставало птичьей слюны. Положительно, это было гнездо, гнездо аиста, и фалды от пиджака американской наездницы взлетали над бедрами, длинные ноги в калошах будили память о клюве и крыльях.

— Лесоустроительная партия...

Художник очнулся и в первую минуту не понял. Рыжий сообщал, что лесоустроительная партия — смысл подразумевался — научила его крыть шалаши. Дело в высшей степени простое. Где-то возле персидской границы они спали в таких шалашах, и тропический дождь отскакивал от крыши, как велосипедная шина. Это надо утрамбовать, вот только щебень... Рыжий на корточках делал дело. Камень он держал левой рукой, правой дробил его. Потом накрывал брезентом и молотил сверху.

— Стойте! — заорал художник. — Один вопрос. Сколько вы думаете заработать картофелин?

Рыжий прикинул в уме и согласовал с желудком:

— Десять штук ровно.

— В таком случае... — художник решительно подвернул рукава, — я иду к вам в подручные за три картошки.

К обеду сравнительная стоимость картофелин возросла неимоверно! Художник съел три штуки. Рыжий — семь. Оба остались голодными из упрямства. Курить было нечего, они сосали соломинки, занесенные

сюда пылью и ветром. Неожиданно из переулка вышла старуха. Неведомые причины занесли ее, как соломинку, в мертвый квартал. Чевяки, шурша, подбрасывали спереди синий коленкор юбки. Руки висели из рукавов цвета кофейной жижи, пальцы казались корнями дерева, вылезшими из почвы наружу. Сухенькая, как пенек, с повязанным ртом, она остановилась перед домиком, где они лежали на камнях, и смотрела на них минут пять невидящими глазами, пока они не отогнали ее.

— Эти бабушки, наны, живут в сказках на окраинах городов,— сказал художник. — Восточные сказки всегда так начинаются: жил-был на окраине добрый молодец, он пригласил прохожего, прохожий поступил к нему в работники, он ему позавидовал и запросился в работники к работнику. Все это началось, как народная сказка, неодобряемая Гусом. Мы с вами выскочили из натурализма.

Рыжий подтвердил кивком.

— Чтоб. выдержать стиль, мы должны теперь рассказать друг другу историю и ввести в текст под заголовком: «Рассказ художника», «Рассказ незнакомца».

— Я этого не люблю,—рыжий переваривал семь картофелин, как удав червяка. Он лежал на веселом солнце, животом вверх, сложив сильные большие руки на цветной жилетке,— расшевелить его не было мочи. Художник, как и все невротики, лежа, испытывал приступ энергии. Пульс ускорился, пятки чесались. Он нюхал собственные усы, от них пахло табаком,— запах стал для него историческим. Он с удовольствием начал рассказывать.

### Р а с с к а з х у д о ж н и к а л е ф а

Меня зовут Аршак, я родился в Баку. Первое воспоминанье — сюртуки. Это французский зипун с назначеньем «прикрыть все». В комнате было несколько деревянных манекенов и на них висели сюртуки, мой отец был портным. Я с детства постиг форму расы. Портной-тюрок тоже шил сюртуки, но у них была высокая талия, узкие плечи. Его сюртуки стояли выпятившись. Сюртуки моего отца хохлились. Издалека их можно было принять за собрание ворон. Сзади на лопатках они топорщились, талия лежала низко, грудь стояла колесом, но ворот лез вверх и давил на нее. Рукава имели поповские обшлага, они глядели, как жерла пушек. Клиенты моего отца — учителя семинарии — любили именно такой стиль и к нему шляпу-котелок, ботинки начищенные. Они это называли «хорошо одеваться». Их голоса мне казались скрипучими, ноги короткими, как у грачей; подбородки чересчур опущенными. Перед тем как заказать одежду, они выбирали сукно. Штук двадцать образчиков откидывалось: «гна, это разве товар», — отец при этом молчал, — потом два-три образчика расхваливались, смотрелись на свет, заказчик спрашивал, сколько стоит, и я

неизменно удивлялся равнодушию отца, он называл цифру обыкновенную, голос его скучал. Тогда, между словами, заказчик вдруг вытаскивал что-то из забракованного, мельком спрашивал о цене, и отец неистово одушевлялся. Именно тот, забракованный образчик оказывался нужным, именно для него приберегались страсти. Дойдя до фазона и мерки, заказчик спрашивал:

— А сколько возьмешь за работу?

Отец говорил: «С вас — ничего, ей-богу ничего». Заказчик предлагал пять рублей. Отец становился багровым: «Пять рублей за такую работу!» Сходились на восьми. Эта механика удивляла меня. Я не понимал, чего большие хотят, видел во всем подвох. Когда мать чистила мне нос, я ревел и требовал вычищенное обратно. Учитель церковной истории, узнав это, назвал меня индивидуалистом.

Баку хороший город. Каждый бакинец убежден, что это хороший город. Мы ходили на базар впятером. Впереди отец, как трубач, за ним брат с корзиной, за братом я, еще брат и сестра. На базаре мне нравились туши, лапами вниз. От них выкраивались куски, как отец кроил матерью, — боком, убористо, поменьше обрезков. К мясу полагался жир. Недовес возмещался кусочками с прилавка, и эти кусочки резались, треща под ножом, и накидывались поверх товару. Я заметил, что туша хранит породу, как костюм без тела. Бык вытягивал лапы иначе, чем баран, все передавало походку, даже поджарые впадины без половых частей.

Однажды случилось событие. В Баку приехал перс, изобретатель мази от всех болезней. Эта панацея продавалась в белых банках. На банках — портрет благообразного перса с бородой и полными щеками, перечень болезней, от которых мазь помогала, и надпись: «принимаю обратно». Банка стоила пять рублей. Соседка купила ее от желтухи, другая от бессонницы, покупали от холеры, пьянства, безбрачия, ревматизма, и насколько я помню, мазь отлично действовала. Этой мази я обязан самым сильным переживаньем детства.

Рано утром перед нашим домом остановился извозчик. Небольшого роста человек, похожий на отца, но шире в плечах, стал расплачиваться. Мать выглянула в окно и завопила: «дядя Михак!» Мы выскочили из дому, как собачки. Но дядя сунул каждому под нос желтоватую с темными ногтями руку и, бормоча «некогда, некогда», махнул извозчику. Тот отъехал, а вслед за извозчиком к нашему дому стали подходить амбалы. Чорт побери, сколько их было! Амбалы носили мешки к нам в дом. Я стоял и считал мешки. Мать обмерла. Дядя Михак вычеркивал карандашиком по бумажке. Отпустив последнего носильщика, он величественно поднялся в комнаты.

Мы ожидали, что мешки рассыплют перед нами сказочное богатство и что дядя Михак — волшебник из «Аладиновой лампы». Он, однако же, прошел в кухню и заинтересовался котлами. А в мешках оказались сотни и тысячи пустых белых баночек. На следующее утро

дядя стал что-то варить в кухне. Через неделю к персу начали поступать целыми партиями «возвращаемые банки». Все честь честью: банка, портрет, надпись — мазь. Перс платил. Банки возвращались. Перс платил. Банки возвращались. Когда перевалило за тысячу, отчаявшийся перс, бросив чемодан, бежал из гостиницы в Персию. Дядя заработал на этом деле три с половиной тысячи. Так делались в Баку арабские сказки. Сотня из трех с половиной отошла мне «на образование»: я поехал в Москву к родственникам. Дальше — ученье, заработки, война, революция, футуризм. Теперь вы рассказывайте о себе!

## 5

— Я не мастер рассказывать, — настойчиво повторил рыжий, — если вы очень хотите, — пожалуйста, задавайте вопросы. На камнях, кажется, уже холодно. Не встать ли?

— Ничего подобного! Расскажите, как вы сделали парикмахером.

Под очками рыжего шевельнулись ресницы.

Рассказ рыжего о том, как он сделался парикмахером

У меня не было денег, я шел пешком. В Зангезуре итти пешком страшно, особенно около персидской границы. Грабят не только вещи, лошадей, быков и повозку, но и человека тоже, — для безопасности, — чтоб не болтал. Бандиты ведут себя, как святые: пограбив, они подают заявление, что раскаиваются и хотят быть советскими гражданами, просят выдать им землю, скот, инвентарь на обзаведенье. Обзаведшись, платят налоги, толстеют и ходят в избучитальню. Ночь была лунная. Я сел в кусты отдохнуть, вдруг вижу: моя тень падает как раз на дорогу. Это мне не понравилось. Хотел было отодвинуться поглубже, но тут тень моя сделала движенье, какого я не делал. Она подняла руку и опустила ее. Смотрю дальше: тень закачалась, потом — исчезла. Пока я глядел вперед, позади меня голос: — Извините, вы куда идете? — Сидит человек в крестьянской одежде с мешком на коленях, за ним ползет другой, тоже с мешком. Речь и лицо не крестьянские. Я на вопрос вопросом. Они помялись: времена тяжелые, всем надо жить, и слышно, тут недалеко будут завод строить, так они туда подработать парикмахерами. Весь механизм с ними, дребезжит в мешке, — тазы, бритвы, помазки, расчески. Лишь бы вот только рекомендацию, так если вы, добрый человек, из той местности или кого там знаете...

— Э, что за чорт!

Художник вскочил, прервав рыжего. Неожиданно из переулка вышла все та же старуха. Чевяки, шурша, подбрасывали спереди синий колленкор юбки. Руки висели из рукавов цвета кофейной жижи, пальцы казались корнями дерева, вылезшими наружу. Она шла прямо на них, сухенькая, как пенек, с повязанным ртом, и глаза ее, белые от старо-

сти, в упор искали их и нашли, а найдя, обмякли в улыбке. Старуха полезла рукой в юбку и достала желтоватый лист, сложенный вчетверо. Лист крупно трясся у нее в руке. Дважды обошла проклятый квартал, ища нужного человека, и на этот раз, милые, от нее не отделаться, — старуха устала, как заморенное насекомое.

На желтом листе хитрой армянской вязью было написано: справляю серебряную свадьбу, ужин и музыка до утра, пусть ни один из рода Гнуни не останется в этот день голодным, приходи и садись за мой стол, Аршак, сын Гарегина...

Письмо было, конечно, менее вычурно. Но тшеславная гордость хозяина танцевала в буквах, и художник узнал в них приглашавшего, — лицо треугольником, в остроконечной бородке, желтые, запавшие к вискам козлиные глаза, расплуснутый лоб ростовщика в бородавках и слишком широкий пиджак на плечах, худых, как у огородного чучела.

— Вот вам конец арабской сказки, — расхохотался он, бросая лист рыжему. — Вставайте живо, без никаких! Надо вам раздобыть что-нибудь вместо калаш. Потому что сегодня — вторая ночь Шехеразады: мы с вами танцуем, едим, пьем, накуриваемся на — знаете — чём? На серебряной свадьбе сына того самого Михака, о котором я вам только-что рассказал!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Ужин с завязкой

#### 1

С раннего утра теща, сестра, кума и десятка два соседних старух курицами налетели во дворик виноторговца Гнуни, чтоб помочь его половине. Главные угощения были заготовлены со вчерашнего дня. На деревянной крытой веранде, выходившей во двор обтесанными колонками и зубчатым карнизом, огромные круглые котлы вылуженной меди, тяжелые, как гранатные обоймы, хранили выпиравший оттуда желтый от шафрана плав и развар молодого, весеннего барашка, чьи копытца и алые пятна крови розовели еще в глубине двора у отхожего места. Древний старик, глухой сторож, носил из погреба вчетверо сложенные, водой окропленные листы лаваша. «Сама», засучив по локоть рукав, вынимала из жестянок с рассолом маринованной, и кожа ее горела и припухала от уксуса. Низкий, как генерал-бас, тяжелый запах медвяной, ожирелой от всяких начинок и сала пахлавы стлался над кухонными столами. От него у женщин болела голова, лезли глаза на лоб, пухли языки. В двух крохотных комнатах дочери виноторговца, вырывая друг у друга из рук, торопились сдвинуть столы, обмахнуть со стенных фотографий пыль и перетереть несметную армию стаканов.

За стеной пожимал плечами жилец, доктор Петрос, теребя ушную мочку, — любимейший и постоянный жест доктора Петроса, делавший его похожим на обезьяну. Он занимал фондовую комнату в доме виноторговца и платил за нее четыре рубля. Было естественно, как фунт табаку, что эти люди ненавидели его, — и в защитного цвета ненависти доктор Петрос фыркал, теребил ушную мочку, дергал скептически плечом в сторону соседней стены. Его пациент, терпеливо отвалившись всей тушей на спинку кресла и выставив челюсть, водил багровыми глазами вослед пренебрежительным жестам доктора Петроса, отрывавшим его руки от дела. Но вот в дверь втиснулась розовая Назик, растрепанная, как веник, с которым она весь день носилась по комнатам. Что такое? Доктор Петрос не успел схватиться за мочку.

— Мы вас очень просим, доктор Петрос, майрик и айрик, чтобы вы непременно, непременно сегодня вечером... Простите за беспокойство! Ах, право, я не заметила.

Багровый глаз пациента поплыл за исчезнувшим в дверях фартучком. Доктор Петрос не успел перестроить свои позиции. Растерянный и умиленный, он тер на пластинке ртуть с поздним раскаяньем в душе; он мысленно выбирал для семейства Гнуни торт.

К вечеру подоконники, столы в коридоре, столы на балконах, полы, где можно, — все было заставлено яствами, прикрытыми до нужной минуты салфетками, бумагами и полотенцами. На двух длинных сдвинутых столах расположилась прелюдия к ужину — чайная сервировка. Настоящий гость не брался в расчет, на прелюдию шли только дамы и поздравители, до ужина не остававшиеся. Здесь были десятками торты, кирпичики пахлавы и миндальных конфет, варенья, невиданные на севере, — из баклажан, розы, айвы, арбузных корок ореха.

И к вечеру, раздобыв на майдане, где кучами расторговывал свое добро «наркомхлам», американский благотворитель, и где собранные за океаном обноски приказчиков и миллиардеров, актеров из Холливуда и чикагских лабазников расклевывались, как кучи навоза, жадными ручками модниц, раздобыв, повторяю, пару длинных, нечеловечески узких спортивных туфель, Арно Арэвьян и художник-леф медленно направлялись на званный вечер.

Город маршировал мимо них вечерним огнем витрин. Пронзительные голоса газетчиков выкликали вечерний выпуск. Нагорье сжимало воздух, как горло, — утром солнце высасывало тысячи луж, а сейчас было холодно и пальцы на ногах мерзли. Созвездия выкатывались на небо, подобные бильярдным шарам. В этом городе все жило «на воздухе». Кто провел в нем месяц, — оставался на год, кто оставался на год, — не уезжал до смерти, растворяясь в его незабываемой ясности. Человек чувствовал себя здесь мебелью, вынесенной на воздух и выколачиваемой от пыли, а потом оставляемой проветриваться.

Опьяненные воздухом, шли мимо собачьей походкой мужчины, раздувая усы улыбкой. Их лица, подобно почтовым маркам с десятком печатей, открывали умному зрителю все многообразие прошлого, истоптанного большой дорогой кочевников, переселением народов, расовым транзитом: у одних острый загиб ноздрей кверху, похожий на мертвую петлю, вытянутый вниз нос, тяжелый затылок брахицефала напоминали владычество гиксосов, египетский барельеф, хетитскую расу. У других сонная скула, скакнувшая к самому глазу, и младенческий рот сластолюбивого монгола. Третьи — их было меньше — несли свой арийский профиль одиноко и замкнуто, со слабыхарактерностью холостяков. Женщины и девушки, тоже пьяные воздухом, гуляли под руку, движенья их были расчетливы, губы налиты кровью. Их тяжелая красота, зрелые груди пятнадцатилеток, вороньи крылья волос над томными щеками были безличней. Они сыпали сразу множеством гортанных слов.

Художник-леф нахохлился: в армянской толпе ему было не по себе. Когда электрический свет падал на него, заостряя черты, — темные кудри без шляпы выдавали своей мертвой неслаженностью не один седой волос, а лицо казалось изрытым морщинами. Рыжий шагал возле, спокойный и важный, худоба боролась в нем с упитанностью большого человека, его белорозовая шея выступала из воротничка с европейской уверенностью. Когда же и на него упал свет, два человека, шедшие им навстречу, внезапно вздрогнули, оба вместе, и в каком-то молниеносном ужасе толкнули друг друга локтями. Если б художник увидел этот толчок, он, может быть, призадумался бы и подсмотрел продолжение: два человека, не сговариваясь, нахлобучили шапки к самому носу и юркнули от рыжего в первый же переулок, — на все это понадобилось не больше секунды. Но даже и там они не успокоились. Их сапоги, подбитые гвоздями, застучали по камням с такой поспешностью, что шум от стремительного бегства на миг возобладал над всеми звуками вечерней улицы.

## 2

Семейство Гнуни встречало гостей в передней. Утомленье двух дней было заметно в красноте рук женщин, припухлых веках. Шель скрипел на хозяйке не обношенно, от шеи пахло мылом. Так повторялось в торжественные дни из года в год. Зато гости проплывали медленно, как бы рожденные в своих нарядах, — для них это был день отдыха.

Сперва явились старушки, дальние родственницы. Пергаментные личики с высохшими губами знающе улыбались. Каждая мелочь этого дня, изгибы салфетки на скатерти — все переживалось ими ретроспективно, как бесконечная анфилада комнат, уходящих в прошлое: они вспоминали. Их крашенные длинные локоны висели справа и слева



из-под красивого старинного убора — кисейной фаты, щедро сброшенной с головы на спину, нарядного, низко на лоб опущенного обруча, похожего на кокошник. Сперва осторожно перед зеркалом, двумя руками, снимался этот убор, потом уже старушки сухими ручками оправляли на себе черные шелковые кофты, брали за щеку хозяйку дома и подставляли ей тонкие свои чуть ослюнявленные губки:

— Ну, джан...

Маленьким членам дома давался ласковый подзатыльник. И старушки, выполнив благопристойно — и сразу как бы поставив ключ к этой музыке большого дня — все обряды, установленные обычаем, чинно рассаживались вдоль стенок, обмениваясь друг с другом улыбками, разговором скошенных глаз, кивком подбородка, указательным движением бровки, — они понимали друг друга, как птицы на жердочке. Хозяйка плавала от одной к другой. Гремя новыми сапогами, из комнаты в комнату бегал, выпуча карие глаза, взволнованный наследник виноторговца Гнуни. Ему было пять лет. Он не хотел ложиться. Девочка постарше, золушка в доме, застенчиво пробиралась за ним, силясь его унять. Руки ее были растопырены, как если б она ловила курицу.

Вслед за старухами неожиданно и не во-время пришел молодой человек, коммунист. То, что он коммунист, знали в доме решительно все. Представляя его, хозяйка держала губы особенным образом: так показывают иные гордецы револьвер, прибавляя, что он не заряжен. Коммунист служил в Наркомторге. Френч его был новешенек, ноги немного кривые, в коричневых крагах, непритязательное и очень юное лицо с печатью неуловимого стиля, как в игре «передавай дальше», полученное и несомое дальше, быть может, непонятное самому, но бережно охраняемое, рядовое выражение партийца: «нам дано порученье, не мешайте нам». Эта зарядка, видимая за десять шагов, решительно боролась где-то в его губах и носу с национальным хетитским узлом и побеждала его эскизом универсального стиля. Он искал глазами Назик и, не найдя, вынул из кармана папиросную коробку. Хозяева знали, для чего он приходит, и приличие требовало, чтоб Назик поломалась в соседней комнате, сидя между стеной и комодом, а к мужчине вышел мужчина. Но так как мужчин еще не было, хозяйка вкрадчиво стукнула в стенку доктору Петросяну.

Стук этот был доктору Петросяну — стук в сердце. Уж полчаса он танцевал в истеряке перед последней пациенткой, за ее спиной делая жесты душильника и гипнотизируя ее выкатившимися от ненависти глазами. Пациентка — высочайшая старуха, прямая, как тополь с квадратным лицом, в богатой национальной одежде карабахской армянки. старый шемахинский шелк, синий и красный, расшитые рукава, атласная белая повязка на рту. Сын ее, маленький, утиного вида забился за этажерку. Он ее вез с предосторожностями, как ящик с посудой, из самого Степанакедта. Старуха приехала вставить челюсть.

Но как только доктор Петросян, выжимая сладенькую улыбку, подвигался к ней и двумя пальцами брал за повязку, — старуха делала «хи», смешок стыдливости, ладонью загоразивала рот.

«Сукины коты, — думал в отчаянии доктор Петрос по адресу большевиков, — сдирают с мусульманок чадру, а с нашей старой гвардии, чорт бы их побрал, не догадуются наклейки содрать». — Мамаша (вот дура), майрик, мы с вами два старика, чего там, рот ведь это... (не под юбку, старая ведьма!)

Но старуха опять судорожно делала «хи», натягивала повязку, и большие желтые веки, похожие на клюв индюка, трепетали над оставившимися глазами.

Доктор Петросян, вспотев от усилия, махнул рукой утиному человечку: завтра, завтра.

Когда он попал, наконец, к соседям, там было полно гостей. Запыхавшийся доктор Петросян не успел купить торта. Но он столько раз покупал его мысленно, выбирал цвет, запах, размер, что сейчас, входя боком в двери и привычно разглаживая усы тремя пальцами, — жест, за которым следовал общий поклон, — чувствовал себя по расщепленности человеком, приславшим торт и рассчитывающим на сугубые права. Однако же, вступленье его прошло незамеченным, и даже за чайным столом не было места. Озабоченная Назик со стаканом прошмыгнула мимо, раздвинув жабрами локоточки. Стакан чая предназначался красноносому старику, упиравшему подбородок в грудь, словно сдерживая непрерывную отрыжку, — это был стариннейший председатель пиров, местный маклер, туземец. Когда и второй стакан прошмыгнул мимо, доктор Петросян пробормотал «ага» и взялся за мочку.

### 3

Художник и рыжий, покружившись по городу, чтоб миновать чай, вошли к виноторговцу Гнуни вместе с толпой других солидных гостей. Уже с балкона спешно носились в комнату прикрытые тарелки с закусками. Уже три человека с мешками, стоя у лестницы, развязывали мешки и не спеша вынимали оттуда инструменты — красивую старую тару, выложенную перламутром, кьянчу, чей животик свисал с нехитрого деревянного столбика и только и ждал смычка, чтоб затрястись от плача. Бубны, — их взял в руки седой, безбородый перс, изъеденный рябинами. Он жмурился. Музыканты, поклонившись хозяйке длинным поклоном, прошли в комнаты. Художник не успел даже представить рыжего. На пиры Гнуни каждый приглашенный прихватывал с собой лишнего человека и проталкивал его обычно в комнату с улыбкой знающего секрет: — Ну-ка, поглядите-ка, угадajte-ка, кто сей? — Рыжий прошел таким способом с двумя профессорами университета. Профессора хотели полюбоваться национальными танцами и послушать сазандарей. Виноторговец Гнуни угощал лучшими в городе

сазандаристами. Вот уже музыкантов сажают — троих молчаливых и на жесты скупых людей — за отдельный столик. Назик поднесла им по стакану водки и положила под ноги корзиночку со сладостями, оставшимися от чая. И сазандаристы, оглядев и одоблив публику, молчаливо переглядываясь, кладут пальцы на пыльное тело инструментов, пахнущих потом человека и кожей животного.

Над столами воцарился и поплыл гомон. Каждый радостно подавал голос, умножая бессмыслицу, — увертюра настраиваемых инструментов, веселая какофония без фальши, перед открытием занавеса: — Возьмите, пожалуйста, — благодарю вас, — да знаете ли, — это действительно, — что вы, что вы, — так пищали голоса людей, настраивавших свои глотки. Опрокидывались стаканчики, подхватывался рукой длиннейший зеленый лук из тарелки, обрызнутый водой, выбирали томаду — и выбрали красноносого человека, ежеминутно упиравшего подбородок в грудь, словно давившего тайную отрыжку. Женщины стеклись к одному концу стола, любопытно меряя оттуда глазами идолов мужскую половину. Пальцы их унизаны кольцами, в ушах под начесами, сделанными у парикмахеров, искрятся камни, пухлые плечи припудрены. Они ели и говорили кончиком губ.

— Молчание, — призывал томада, выстукивая по стакану парламентскую тишину, — первый гост!

Хозяин, винотрговец Гнуни, встал. И как только художник увидел знакомый треугольник с бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами, и этот пологий, расплоснутый лоб ростовщика в бородавках, он ощутил приступ тоски. Оглянувшись на рыжего, он хотел было остеречь его: держите меня и не давайте пить, но рыжий сидел уже не рядом, рыжий говорил с соседом, человеком низколобым, как обезьяна, а рядом с художником, неизвестно когда втиснувшись и плеча в него взрывом улыбок, сидела — настоящая красавица. Русская жеңщина, полная, статная, шире и крупнее, чем он, чуть ли не вдвое. На ней не было ни единой побрякушки. Платье лиловое шерстяное, с высоким воротом и длинные рукава. Маленький паутинный платочек с надорванным кружевцем распластался на коленке. Щека румяная, в прядях каштановых волос. Мясистые ноздри, приподнятые, — так делают деревянных лошадок, — расширяли нос, но женщина хохотала, и эти ноздри хохотали с ней вместе, а над ноздрями, из-под спутанной чёлки, сверкали такие же вывернутые кверху, раскрытые, бессмысленно веселые, дикие от веселья, расширявшие лоб серо-зеленые кошачьи глаза.

— Кто такая? — спросил художник соседа.

Тот ответил шопотом, косясь на низколобого человека:

— Блондин в сапогах — разговаривает с вашим другом — это начанц гидростроя, а румяная — его жена.

Хохотунья услышала и тотчас же всем телом повернулась к художнику:

— Клавдия Ивановна Малько,

— Говорю и подтверждаю, — хрипло кричал, останавливаясь на каждом слове, виноторговец Гнуни, — вы все, здесь собравшиеся, уважаемые и глубокопочитаемые мною...

Он по порядку перечислял заслуги своей жены, заслуги свои собственные, с каким рублем начал, до чего дошел, чем пожертвовал революции, — не жалеет об этом, видит бог, и никогда не жалел, — хрипло, с великим усилием рождались слова, и чувствовалось, что виноторговец Гнуни в этот день хочет раскрыть себя обеими руками, как старую банку с икрой, и тужится от неистовых усилий. Опять знакомая тошнота охватила художника.

Он был болен. С юности, с детства он болен был ужасом перед своим национальным типом. Он ощущал его не глазами: руки, кости, предплечья, внутренности — все отражало ему, как застрявшая в горле проглоченная косточка, кряжистую форму хетита, доводило ее изнутри, из себя до брезгливых мозговых центров. Его мутило от этой формы, он не хотел ее, не хотел себя. И, цепляясь с отчаяньем за очарованье соседки, художник косил мохнатые, близкосидящие глаза на соседку Клавдию Ивановну. Все в ней влекло его: величина, эта прелесть большой женщины для маленького мужчины, нетребовательность и простодушие лиловой материи, чуть вылинялой на плече, даже лошадиные ноздри. Она положила ногу на ногу, и высокая бедровая косточка говорила ему о длинноногом теле. Это был зверь чужой породы, — хищное желанье охватило его.

— Условия для работы в высшей степени тяжелые, — говорил тем временем начканц, разжевывая кусок селедки. Рыжий слушал его внимательно, положив возле тарелки большую спокойную руку с золотистыми волосками. Он почти не ел и не пил. Он и не посмотрел даже на Клавдию Ивановну. Его острый зрачок лишь раз, боком, обжег стол, чтоб вонзиться в сутулого старичка, державшего на большом носу лопатой нетвердое золотое пенсне, то и дело укрепляемое руками. Старичок медленно выбирал, шевеля губами, блюда. Вилка его внимательнейше ковырялась в жестянках. Улыбка почти бессмысленного удовольствия не сходила с губ. На голом черепе, блестящем под лампой, лежали одинокие белые волосочки. Изредка вдруг, услышав что-нибудь, старичок издавал отрывистый хохот, откидываясь на спинку стула и обрызгивая соседей из беззубого рта, как из пульверизатора: — хэ-хэ-хэ.

— А именно? — спросил рыжий.

— Не знаю даже, как вам сказать, — начканц просасывал маринованную травку. — Например, кооператив. Жулики, бестии, то нет одного, то нет другого. Крыши в бараках текут. Культурных удовольствий — вот разве что сюда приедешь на пару дней... Так, раз в полгода. Клавочка — она скачет. А у меня людей нет, вот дядю везу, дядя, Иван Гаврилыч, бросьте, пожалуйста, наливайтесь!

Старичок в золотом пенсне вздрогнул и быстро опрокинул в рот рюмку.

— Вы полагаете, он справится?

— Ну, все-таки свой человек, хотя бы положиться можно...

— Двадцать тысяч чиновников на бюджет одной бывшей губернии, — не много ли?

Голос ворвался в их разговор, как иногда в трубку радиослушателя входит весть из другого мира. Два человека за столом напротив ожесточенно спорили. Один — городской старожил в длиннополом, старого покроя сюртуке, чисто выбритый, галстук бантом и кантики пахнут чуть-чуть кардамоном, — старый галстук, отлеживался, должно быть, на предмет торжественных случаев. Хорошая благовоспитанность мещанина сквозила в каждой складке его красноватого лица склеротика. Другой был — сосед Петросян. Обида, нанесенная ему за чаем, росла с каждой минутой и вдруг вырвалась, как дым в поставленную трубу. Он ненавидел аборигенов ненавистью завоевателя. Правда, он приехал сюда с тысячами других из всех столиц мира, где только оседали армяне, — из Вены, Венеции, Филадельфии, Чикаго, Калькутты, Парижа, Буэнос-Айреса, он занял фондовую жилплощадь, отнял пациентов, наполнил вузы, больницы, магазины, улицы, рестораны, распространяя всюду владычество пришлеца, но разве город Масиса по праву не город каждого армянина? И если вы тут, старые провинциалы, да, неумелые провинциалы...

— И все же двадцать тысяч чиновников на нищую крестьянскую страну, — снова повторил благовоспитанный сюртучок, доставая откуда-то из дальнего заднего кармана огромнейший чистый, но желтоватый от старости носовой платок и внезапно сморкаясь в него так громко, что за столом вздрогнули, как от выстрела.

#### 4

Знаменитая зангинская рыба, в муке выпучившая стеклянный глаз, уже стала вчерашним днем, столько стаканов ей влито вслед, столько тостов, смешных и задорных, плачущих, трогательных, растянутых, произнесено ей вслед. Из глубины откуда-то кричит хозяйка, и Назик, вытянув потную ручку из крепких пальцев коммуниста, улыбаясь ему черными глазками, вертлявыми, как птичий клювик из гнездышка, бежит отдаться в материнское распоряжение, — сейчас принесут на стол блюдо с молодым барашком. Музыканты, разойдясь от вина и человеческих голосов, превосходят сами себя. Тарист рвет косточкой струны своей голубиной тары и жмурит седые брови, — хорошо, дивно воркует тара под старой рукой. Надрывается кяманча от плача, ходит ее живот животом беременной бабы или танцующим животом негрятки туда и сюда, покуда летает по струнам сумасшедший смычок кяманчиста. Рябой безбородый перс осатанел над бубном. Глаза его

точно вылились из орбит, нету глаз, пустые впадины стонут, истекая сладостным соком, — впрочем, это течет не из впадин, это течет голос рябого перса из тонкого, растянутого трубочкой рта, — как он поет, может сейчас оценить только он один. Нет награды такому певцу, — вздохи мечтателя Саади волнуют ему душу неиссякаемой негой, перс прижал к себе бубен, он поет белизну груди ее, воркованье голоса ее, паутину волос ее, восход длинных глаз ее, — а-ах, разбил бы бубен от иступленья певец!

— Фу, что же это за такая за музыка! — не удержавшись, вскрикнула Клавочка. — Что это за мяуканье такое, ведь это никакие уши не вынесут! Мой муж, Захар Петрович, — здешний, он тут родился, он даже стлично говорит по-армянски. А я никак привыкнуть не могу. Вот в Москве был концерт восточной музыки, то-то смеху было, один пел такой: «а-а-а-дын верблюд! дууругой верблюд! тре-е-е-тий верблюд!»

— Да нет же, Клавочка, я тебе говорил, это карикатура. Это же шутка, — вскинулся начканц.

— Никакая не шутка, если как две капли воды! Ой, уморил он меня! — Клавочка хохотала.

Злобная радость мучила художника. Давно уже он осушал вторую бутылку крепчайшей домашнего приготовления водки хозяина из тутовых ягод. Хохот Клавочки казался ему колоколом, поющим панихиду проклятому Востоку. Так его, так его. Грубым уличным словом, жестом, мысленно сделанным с цинизмом пьяницы, художник уже решил про себя взять эту женщину, взять в ней всю арийскую расу, войти в эту чужую форму, преобразиться в ней, рваные ноздри казались ему бешенством Диониса, истоптанного ногами варвара в неистойвой пляске.

Между тем хозяйка и дочери быстро очищали один угол комнаты для танцев. Они носили стулья и столики, ногами подталкивая рассыпанные бумажки. Как только освободился круг, из-за стола встала с протянутыми руками теща виноторговца Гнуни.

Старуха открывала танец. Опустив низко еще красивые веки, сжав губы, улыбаясь только наклоном щеки и уголком рта, старуха медленно плыла под музыку, то отставив пятку, то наступая на нее, и голова ее с неподвижным лицом то откидывалась, то клонилась набок. Чем дальше, тем ее медленные движения становились выразительней. Уже наклон головы как бы всю ее бросал вниз, подбородок вскидывался со старушечей томностью, пальцы вытянутых рук играли, а за столом приостановили еду и ударили размеренно в такт ладошами. Сам томада выскочил вторым. Перед плывущей старухой он вынырнул с лицом так же величественно неподвижным, как у нее, прижал кулаки к груди и, пыхтя, выбрасывал то одну, то другую ногу, приседая. Музыка дергалась все неистовей, присядка его учащалась, он то отставлял каблук, как бы глядя на него, то подворачивал и всем корпусом, то

спиной, то грудью, наступал на томно кружившуюся старушку. Это был танец любви, целомудреннейший из всех танцев в мире, без прикосновенья, без взгляда, без игры лица, вся сила выразительности была в отброшенных вперед руках. Уморившись, старушка охнула и остановилась. Ей закричали: «браво, браво», приняли под руки, и сам хозяин с почетом повел ее, красную и улыбающуюся, на прежнее место. Между тем томада все отбивал каблуки, то выталкивая руки вперед, то прижимая их к груди. Багровый его затылок и красный нос блестели от лота. Он был похож на гигантского петуха, трудившегося над подругой в ожидании любовной судороги. Теперь дочь хозяина Назик, вставши, вступила в круг.

Армянские девушки учились в школе ритмо-пластики и хореографии. Они уже потеряли неискусственность жеста. Назик в легком платье, чулочках «виктория», с пышным черным вихрем волос, связанных сзади алою лентой, сделала томный жест, словно сходила по черепкам с музейной этрусской вазы. Поднятая вверх кисть с растопыренными пальчиками театрально зывала: «нет, нет, пожалуйста, не подходите ко мне!» Плечико, двигаясь, говорило: «ну так что ж, мне-то какое дело?» Это была игра дрессированного зверька, и чем горделивей поглядывал на дочку виноторговец, плативший за ученье денежки, тем скучнее становились профессора. Для них под защитой фруктовой вазы хозяин поставил особую бутылочку финьшампаня. Профессора смаковали, со скукой отворачиваясь от Назик.

— Два месяца не получаем жалованья, — говорил начканц, — он был в совершенном восторге от рыжего. — Грузия нам собаку подкладывает. Если б вы знали все эти интриги. Кричат «строительство», «строительство», — простите, вы не коммунист? А какого чорта, если сегодня дают деньги, завтра не дают денег, сегодня электрификация, а завтра электрофикаость! Иван Гаврилыч, что я тебе сказал, да бойся ты бога, ведь ты голову пропьешь!

Старик в золотом пенснэ, говоря сам с собой и тряся плечи в мелком неумолкаемом хохотке, пил безостановочно все, что перед ним стояло: пиво, водка, красное, белое, дамский мускат, столовый уксус. Дрожь его пальцев, хватавших рюмку, вызывала сконфуженные улыбки соседей.

— Наклюкался до того, что с ним сидеть стесняются, а чтоб остановить старика, этого не догадались. Выдь из-за стола, Иван Гаврилыч.

Но Иван Гаврилыч махнул ему ручкой, как делают дорогим друзьям из окна вагона. И опять внимательные глаза рыжего с таинственной остротой обежали его, как бы увидя что-то, сокрытое от других. Уже он встал, словно желая подойти к старику и увести его, но тут вдруг Клавоочка в преувеличенном ужасе схватила и прижала к себе его руку. Глазами она показывала на художника.

Бедный леф склонил низко голову жестом бычка. Исподлобья глядел он на благообразного мещанина с красным лицом, — вот-вот бросится. Мещанин, обмахиваясь большим носовым платком, желтоватым от старости, с удовольствием слушая музыку, а сейчас, вежливо в полоборота поворотившись к танцующим, даже привстал немного от удовольствия, показавши старомодные фалды длинного, вороноподобного сюртука.

— Сюртуки! — пробормотал леф.

В его помраченных глазах мещанин двоился, троился. Колода карт выскочила из фруктовой вазы, опадая сотней длиннополых вальетов и королей в сюртуках. Сюртучишки подбирались к столу, погирая руки, брови их сближены у переносицы, усы закручиваются над вывернутыми бледными губами, и носы их тоже закручиваются у ноздрей завитком, напоминающим не нос — револьвер с опущенным дулом. Сюртучишки подсмеивались, набирались в группы. Пальчиками разглаживали губы, приподымая рыжую щетинку усов, пофыркивали. В ужасе леф отвернул голову и увидел дядю Михака, нет, не дядю Михака — виноторговца Гнуни. Он пробирался вперед через лес сюртучков. Его расплоснутый лоб ростовщика в бородавках сиял от пота. Желтые, опавшие к вискам козлиные глаза сияли тоже. Бороденка торчала перышком, и на худых плечах огородного чучела плясал пиджачишка, — виноторговец Гнуни находился в зените восторга.

Тогда художник Аршак пережил, как он потом нехотя рассказывал, превращение номер первый. Превращение номер первый заставило его дико схватить стакан и закричать через весь стол томаде:

— Тост, тост!

Тост бедного родственника, — это что-нибудь да значит!

— Художник, приезжий из Москвы, — милостиво об'яснил соседям виноторговец. Все приготовились слушать, и в эту самую минуту пухлая рука Клавоочки цепко схватила рыжего.

— Я увидел, — рассказывал позднее трезвый художник, — этакую лестницу из апокалипсиса, лестницу баранов и козлов в сюртуках. Женщины и мужчины говорили «бэ-э-э». У женщин с невероятной быстротой отрастали курдюки. Они качали курдюками и бриллианговыми серьгами, их круглые глаза пучились, как кукиши. Блеянье их было хрипловато. Каждый смотрел на то, что делал другой. Их задние мысли были мне видимы, как хвосты. Положительно у всех была задняя мысль. Нет, я не могу этого описать. Уверяю вас, то, что я тогда сделал, это была прямо гениальная затея с целью самозащиты!

Он поднял стакан и провозгласил тост за дядю Михака.

Дядя Михак, по его словам, был символ армянской нации, дядю Михака надо отлить в серебре, золоте, бронзе. Ноги его начинаются там, где у других еще только колени. Но эти короткие ножки делают



очень длинные шаги. Дядя Михак влез на университетскую кафедру, дядя Михак вскарабкался на кресло наркома. Вот он сидит на заседаниях, подслушивая одним ухом свою страну, другим ухом чужую страну. У дяди Михака секрет на первом месте, — секрет и фирма, правило торгового человека. Дядя Михак ужасно работает, ужасно торопится. Взгляните только на пенснэ его, на прыжки его, на машину его, на усы его, — где там остановить дядю Михака простому человечку, — некогда, некогда! Семимильными шагами дядя Михак торопится... как вы назвали фирму? социализм? Гарантия обеспечена. Если вы заказываете ему социализм и платите ему жалованье и даете ему машину, — он вам вылепит социализм, вылепит раньше времени и вернет вам, как бакинскому персу. баночки, баночки, баночки, прежде чем вы разносите, платя по счету, в чем дело. О дядя Михак! Женщины его—видите вы его женщин? При социализме и при чем хотите разве не растут курдюки их, колыхаясь монументально, как было прежде? Разве глаза их, лоснясь от жира, не отрыгают тайные думы о сытом житье? Не источают, как эманацию радия, завистливость, тонкие пальцы завистливости, тонкую швейную иголку завистливости, тончайший змеинейший шип завистливости, — о, что за цемент для здания будущего поставляет вам с чемоданчиком дядя Михак!

Именно здесь, когда одурманенные вином мозги слушателей смутно поняли несоответствие Аршаковой речи и прежде всего с грехотом отодвинули свои стулья вставшие профессора, вдруг пережил оратор превращение номер два и — запнулся!

Превращение номер два исходило от двух глазок, двух черных и внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в доме. Положив подбородок на край стола, она откинула головку и, приоткрыв рот, слушала его со всею серьезностью таинственного детского существа своего, удерживающего все силенки и помыслы на одном: как бы не заснуть и не быть прогнанной. от неслыханно интересных и непонятных ей дел взрослых людей. И не то, чтобы уж очень хороша была эта девочка. Напротив, она была дурненькая. Гладкие без блеску волосы зачесаны в одну косицу, открывая неуклюжую раковину большого смугловатого уха, нос у нее был длинный, армянский, и глазки близко сидели у переносицы, — но все эти явные признаки хэтитства в миниатюре в детском виде поражали своей за душу хватающей трогательностью и неповторимостью. Так умиляют верно дикообразики, милые чучельца, нарождающиеся у дикообраза большого. Художник вдруг прикрыл веки руками, точно хотел заплакать. Невыносимая жалость схватила его за сердце. Он представил себе: девочка сейчас умирает, она умрет, после того, что он сказал, ей нельзя жить и вырасти! — и уже самое ненавистное ему стало вдруг в ней, в детском виде, драгоценнейшим: прижать ее к сердцу, сохранить, уберечь, только бы жила она, жила она...

— О, род, род! — воскликнул тихонько художник из-под ладони, но уже никто и не слышал и не понял его. Невообразимый гам, словно на псиной выставке, стоял сейчас в комнате.

— Гадость, что такое... безобразие! — лаяли басом профессора.— Только от армянина и можно это услышать!

— Коммунисты иначе. смотрят на национальный вопрос, — тонким и твердым голосом говорил партиец, тоже вставая с места: — Ленин в своем письме от 21-го года... больше мягкости, осторожности, уступчивости, привлечь мелкую буржуазию и интеллигенцию, вот что рекомендовал Ленин. Не годится, товарищ.

— Это же, это же, ах, ты! — задыхался виноторговец, распахиная за отвороты пиджак. — На серебряной свадьбе, про дядю, про дядю родного! Наелся, напился, и я ж его, как кровного родственника! Скажите мне, прошу, умоляю, стоит ли еще земля на воздухе, цел ли еще мир после этого?

Но больше всего кричал и тряс головой до бешенства доведенный доктор Петрос:

-- Так истинные армяне не напиваются, это русский мужик так напивается, это вы у русских научились. Армяне за стаканом вина сидят ночь и две ночи, поют, танцуют, держат речи, никаких безобразий, по улицам не валяются, не рвут, не блюют, не икают. Это русский стиль — заводить скандал. Вот вы до чего довели армянский город. Мы, приезжие люди, по-ра-жаемся, прямо поражаемся.

Но тут, в этом шуме и гаме, рыжий (давно уже один за другим не грубо, но и не ласково оторвавший от себя цепкие пальчики Клавочки) резкими шагами подошел вдруг к неподвижному старичку в золотом пенсне, пощупал ему голову и крикнул:

— Да поглядите же, ведь он умер!

*(Продолжение следует)*

---

# Петр Первый

Повесть

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

День и ночь пыль стояла над ярославской дорогой, — шли из Москвы пешие и конные, катили колымаги. За древними, исковыренными ядрами стенами Троицкой лавры в посадах и в поле теснились обозы, дымили костры, шум и драки ежечасно из-за места, из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия, и житницы скоро опустели, стога в полях были растащены. А стрельцов и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посылали отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыпленка, — мужики только чесались. И все же у Троицы тесно было и голодно. Многие высокие бояры жили в палатках, — кто на дворе, кто прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце под солнцепеком, тут же ели всухомятку. Трудно было сменить покойные — куда и птица чужая не залетит — московские дворы на такой поход. Но все понимали, — решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? Будто бы хуже, чем теперь, — некуда: вся Москва, весь народ, вся Россия — в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа под телегами, люди разговаривали вольно и вволю. Все поля кругом лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то мужики, знающие волшебство, — подмигивая странно, пересыпали в шапке бобы, присев, раскинув небольшой плат на земле, — кому хочешь разводили бобы: выбросит их из шапки, проведет перстами и тихо, человечно вещает:

«Чего, мол, хотел, — получишь, о чем думаешь, — не сомневайся, бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, овчины не носит, лицом бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. Дождешься своего, может, скоро, может, нет, аминь. Спасибо не говори, давай из-за щеки деньгу...»

---

<sup>1</sup>) См. «Нов. Мир». 1929 г., кн. кн. 7, 8-9, 10, 11 и 12.

Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между телегами:

«У царевны становая жила подкосилась, — шептали они, — князь Василий Голицын до первого снега не доживет... Умен, что ушел от них... Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх, они всему делу венец... Они за ядро станут... А самое ядро будет вот какое: боярам не велят в каретах ездить, и оставят каждому по одному двору, — только чтобы прожить. И гостинные люди и слободские лучшие люди выборные будут ходить во дворец и говорить уверенно: это, мол, сделайте, а этого не надо... Иностранцев выбьют всех из России, и дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет воля, — живи, где хочешь, без надсады, без повинностей...»

Так говорили волхвы и коновалы по бобам, так думали те, кто слушали. Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. Храмы и соборы открыты, озарены свечами, суровое монастырское пение слышалось день и ночь.

Чуть свет царь Петр — по правую руку царица мать, по левую — патриарх — сходил с крыльца стоять службу. После, под перезвон, являлись народу. Царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, говорил: «Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь» — и страшно сверкивал глазами на Петра. Петр, одетый в русское платье, в чистых ручках шелковый платочек, был смирен, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорила ему мать или патриарх или Борис Голицын, то и делал, из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скороговорку, тарашенье глаз бросил, — благолепно и тихо, когда надо, отвечал и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то-и-дело повторяла ближним боярыням:

— Не знаю, как бога благодарить, образумился государь-то, такой истинный, такой чинный стал!..

Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт, и то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху, приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал в рот, облегченно вздыхал. Сиделись близко рядом. Лефорт ломаным шопотом рассказывал про то и се, смешил и ободрял и между балагурством легко и метко вставлял дельные мысли.

Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке и за слезы, и приводил примеры из «гиштории Бронисуса» про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою... «Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с мужиком, а на другой день семь городов взял... Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрашил и в бегство обратил, но впоследствии

сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил, — говорит Брониус...» Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра.

Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софьей: не рваться в драку, — драка всем сейчас надоела, — а под благодатный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как подгнивший столб. Лефорт нашептывал:

— Ходи степенно, Петер, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят, — всем будешь любезен. Вот, скажут, какого господина нам бог послал, при таком-то передохнем... А кричит и дерется пускай Борис Голицын...

Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-французски называется политик знать свои выгоды, — объяснял Лефорт, — французский король Людовик Одиннадцатый, если мужик ему нужен, — и к подлому мужику заходил в гости, а когда надо, — знаменитому дюку или графу голову рубил без пощады. Не столько воевал, сколько занимался политик, и лисой был и львом, врагов раззорил и государство обогатил...»

Чудно было его слушать: танцор, дебошан, балагур, а здесь вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались: «У вас каждый тянет врозь, а до государства никому дела нет: одному прибытки дороги, другому — честь, иному — только чрево свое набить... Народа такого дикого сыскать можно разве в Африке. Ни ремеслов, ни войска, ни флота... Одно — три шкуры драть, да и те худые...»

Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим... Будто со свечей проникал он в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уж и огонек лампы перед ликом Сергия лизал зеленое стекло, за окном затихали шаги дозорных, — Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое:

— Ты очень умный человек, Петер... О, я много шатался по свету, видел разных людей... Тебе отдаю шпагу мою и жизнь. — Любовно заглядывал в карие выпуклые глаза Петра, тихого и будто много лет прожившего за эти дни. — Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди, — мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют... А бояре пусть спорят между собой за места, за честь, — им новые головы не приставишь, а ведь отрубить их никогда не поздно... Выжди, укрепись, еще слаб бороться с боярами... Будут у нас потехи, шумство, красивые девушки... Покуда кровь горяча — гуляй, казны хватит, ведь царь...

Близко шептал его тонкие губы, закрученные усики щекотали щеку Петра, зрачки, то ласковые, то твердые, дышали умом и дебошанством... Любимый человек, читал в мыслях, словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра...

Наталья Кирилловна не могла надивиться, откуда у Петруши такое благоразумие; не нарадовалась на его благолепие. Мать и патриарха почитает, ближних бояр слушает, в мыльню ходит, с женой спит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре: пятнадцать лет жила в забросе, и вот снова пихаются локтями великородные князья, чтоб поклониться матушке царице; боярѐ, окольные в уста смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на первом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ валится на землю, юродивые, калеки, нищие с воплями славословят ее, тянутся схватить край подола. Голос у Натальи Кирилловны сделался покойный и медленноречивый, взгляд царственный. В келье у нее на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели бояре: ближайший из людей, бывший еще при младенце Петре в поддядьках, Тихон Никитьевич Стрешнев, — на устах блаженная улыбка, бровями занавешаны глаза, чтоб зря люди не судили: лукав ли он, умен ли, какого нраву; суровый, рыжий, широкий лицом князь Иван Борисович Троекуров; свояк Петр Абрамович Ляпухин, — у него обтянутые скулы горели и голые веки были красны — до того низенькому, сухому старику не терпелось властвовать; прислонясь к печи, покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь Михайла Алегукович Черкасский... В середине месяца прибыл Федор Юрьевич Ромодановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая усы, ворочая, как стеклянными, выпученными глазами, вздыхал, колыхая великим чревом...

Приходила царица с братом Львом Кирилловичем. Здороваясь, называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, держа в перстах вынутую просфору. Рядом, — братец, румяный, тучный, степенный, и бояре не спеша с ними беседовали о государственных делах: как поступить с Софьей, как быть с Милославскими, кого в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким приказом...

Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы, — разве по крайней нужде, — стыдно ему было за двоюродного брата, да и неманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск. Советов когда: дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переничьих не слушал, заносчив был и горд хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыле с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками. Подскакивал, подбоченясь, к стрельцам, валившимся, как скошенная трава, на колени:

— Здоровы, молодцы! — сильным горлом кричал, и багровела пролысина у него на подбородке. — Бог вас простит, царь помилует. Распрягайте обоз, варите кашу, вас государь жалует бочкой вина...

— Ин веселый какой Борис-та, — говорили бабам стрельцы в обозе, — знать, тут дела в гору, хорошо, что мы перекинулись...

Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были не тревожиться, — в келье у царицы сидеть — думать — спокойнее. Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на дворе у митрополита, злобились на Бориса: «Семь лет от Василия терпели, а теперь нам Бориса сносить? Променяли кукушку на ястреба...» Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на Кукуе, за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх.

Двадцать девятого августа к железным воротам лавры подскакал стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, лица не видно от пыли, — одни выкаченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к наворотной башне и страшно закричал:

— Государево дело!

Отворили скрипящие ворота, сняли стрельца с загнанной лошади, — здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и итти, — до того загорелся, торопившись по государеву делу, — и под руки с бережением повели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой. Увидев Бориса на крыльце, рванулся к ножкам князя:

— Софья в десяти верстах, в Воздвиженском...

## 2

Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и хриstopродавцами, грозила кулаком. Стрельцы испугались, снимали шапки, но, когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвезти себя на какой ни на есть двор. Мужики и бабы высовывались из калиток, мальчишки влезали глядеть на крыши, собаки, усаженные репьями, лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, упавшая от стыда и гнева, Верка припала к ее ножкам, урод, карла Игнашка, аршин ростом, в колпаке с сокольими бубенцами, взятый в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, зажгла лампы, и Софья прилегла. Предчувствие беды сдавило ей голову как железным обручем.

Не прошло и двух часов, — послышался конский топот, звяканье сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в кабак, вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен:

— Где царевна?

Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая:

— Уйди, уйди, бесстыдник... Да спит она...

— А, ну спит, так скажи царевне, чтоб в лавру не ходила...

Софья вскинулась... Глядела, покуда Бутурлин не стащил с себя шапки...

— Пойду в лавру... Скажи брату, приду...

— Так государь приказал, чтоб тебе, государыне, ждать посла, князя Ивана Борисовича Троекурова, а до него в лавру бы не ходить... Князь уж выехал...

Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице. Слышалось хлопанье кнута, мычали коровы, скрипели ворота. И — опять монастырская тишина. Злоба сотрясала Софью. Позванивали жалобно бубенчики на Игнашкином колпаке, — шутенок уныло сидел на сундуке, свесив ноги. «Уж и этот меня хоронить собрался...» Достать бы его рукой — покатился бы с сундука, как котенок... Но руки лежали свинцовые...

— Верка, — позвала она тихо, низко, — про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре.

По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки Бутурлина, скручены посиневшие руки, уткнулся в плаху, — мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы — пузырь кровавый... Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.

Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру, — вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил. Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками:

— Верка, подай ларец...

Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго, — так что Софьины плечи опять сотряслись досадой, — чиркала огнивом... Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана: писал он Петру, чтоб помирился; — не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.

Читая, усмехалась недобро. Но все равно, придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волченка из Троицы... Задумалась она так крепко, что не слышала, как в'ехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился, пальцами до полу, — выпрямился медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только нос блестел от огонька свечечки... Софья спросила о здоровье царя и царицы,



Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, будто сомневаясь, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровьи. Поняв, она похолодела. И надо бы сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:

— Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприятно. — И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стояла от того, что ведь вот боится она, правительница, этого дурня в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи. Троекуров проговорил:

— Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна. Дороги опасные...

— Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас...

— Да что в них толку-то...

— Оттого и еду без охраны, — не хочу крови, хочу миру...

— Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет... Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это...

— Ты зачем приехал? — сдавленно крикнула Софья... (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) — Указ привез? Передай, — Верка, возьми указ у боярина... А мой указ такой: вели лошадей впрячь, ночевать буду в лавре...

Развернув свиток, Троекуров неспеша, торжественно стал выговаривать:

— Указом государя царя и великого князя всеа Великия и Малыя и Белья России самодерца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет... А в лавру ни в коем случае пускать тебя не велено...

— Поеду! — Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула... Черный плат упал с ее головы. — Вернусь со всеми полками, буду в лавре...

Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ, качал головой, и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:

— А буди настаивать станешь, рваться в лавру, велено поступить с тобой нечестно... Так-то!..

Софья подняла руки, ногтями впиалась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, как же ему, послу, в сем случае поступить: кланяться или не кланяться? покосился на Софью, — лежала ничком, как у мертвой, торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь без поклона.

### 3.

«...А что ты мешкаешь в таком великом деле, точет того хуже...»

Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их пере-

читывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат Борис писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему верно до смерти... С ним же прибыли иноземные офицеры и драгуны и рейтары... Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои, да промыслы, да торговые бани покидать неохота... Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу, — завтра будет поздно... Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе...»

Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегство из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали среди бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице.

— Голова моя седа и тело покрыто ранами, — сказал Гордон и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки, — я клялся на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу. — Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой. — Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе...

Василий Васильевич не противоречил — бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью обероветеля престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице разговаривать с Петром... Но брало сомнение, — а вдруг вместо послушания в полках закричат: «вор, бунтовщик»?.. Сомневаясь, бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.

На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха, упав, закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову...

Вчера ночью он приказал обоим сыновьям, Алексею и Федору, и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) **выехать**,

не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось — счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, — приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостинные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана, — он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбался (видно уже, что не жилец). Сама в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, — как была с дороги, — стала говорить народу:

— ...Нам мир и любовь дороже всего... Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь... И вот, помолясь, села я на лошаденюк да поехала сама — с братцем Петром переговорить любовью... До Воздвиженского только меня и допустили... И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, — не чаю, как жива вернулась... За сутки вот столечко от просфоры с'ела... В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына... Они братца Петра с ума споили... По все дни пьяный в чулане спит... Старшенького, царя Ивана, ни во что ставят... Давеча подослали злодеев — спальню его дровами завалили... Хотят они итти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить... Житье наше становится короткое... Скажите, — мы вам не надобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалье искать себе кельи...

Из глаз ее брызнули слезы... Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван... Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза... Когда царевна спросила: «не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» — закричали: «Можно, можно... Не выдадим...»

Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, — качали бородами... Конечно, в обиду бы давать не следовало, но — как не дашь? Хлеба на Москве стало мало, — обозы сворачивают в Троицу, в городе разбой, порядка нет. На базарах — не до торговли. Все дело стоит, — смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын, — одна от них радость...

Сегодня тысяч десять народу через все ворота ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищи и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку!» — кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкова, Кузьку Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!..» Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.

— Выдь, скажи зверям, — не отдам Федора Левонтьевича, — задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав

к двери... Не помнил, как и вышел на Красное крыльцо, — жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей... Он — не помнил что — крикнул и задом вполз назад в сени... Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами... Он увидел белую с остановившимися, без зрачков, глазами Софью... «Не спасти его, выдавай» — сказал... и дверь с треском раскрылась, повалили люди... Софья спиной прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем низко закричала, оттолкнула его, побежала... Когда оба стояли в Грановитой палате, слышали дурной крик Федьки Шакловитого... Его взяли в царевниной мыльне...

И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца, домоправитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечей, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах, Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя, — из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы, — властная, грубая, страшная... Лицо его славы!

Что он скажет Петру, что ответит врагам? С бабой приспал себе царскую власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь: «О гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит общему народу»... Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу... Ночи проводил с волхвами, с колдунами!..

Сквозь щель ставни тускло краснело... Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты... Пощады не будет! Приоткрыл ставень. Вдалеке, за стенами Китай-города, разгоралось зарево. Нехотя надел шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча, — фитилек свалился в растопленный воск, треща, погас.

На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ:

— Приведи его...

В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впихнули его к Василию Васильевичу под ноги.

— Пускай, с богом! — тихо-важно проговорил кучер. Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны.

Коровий пастух играл на рожке, бредя по пыли мимо ворот, откуда с мычаньем выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик, — ...лей, ...лей,—на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высыпали золу. Разинув рот, глядели на мчавшихся мимо снежно-белых коней, на ездовых, подскакивающих в высоких седлах, — малиновые с золотом кафтаны, шапки с павлиньими перьями; на зверовидного кучера, — борода от глаз во всю грудь, зад — бочкой, в вытянутых ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух ражих холопов с саблями наголо на запятках княжей кареты. И у бабы ведро валилось из рук, прохожие сдергивали шапки, иные для бережения становились на колени...

В последний раз так-то пролетал по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он прятался в воротник дорожного бараньего тулупчика, выставив вз'ерошенные усы. Казалось — дремал. Но когда Васька Силин попробовал пошевелиться, — князь со всей силы ударил его ногой... «Во как» — удивился Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда выехали за заставу, Василий Васильевич сказал тихо:

— Ложь, воровство, разбой еси — твое волхванье... Пес, страдный сын, плут... Кнутом тебя ободрать мало...

— Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет и — царский венец...

— Молчи, молчи, вор, бл... сын!

Василий Васильевич закинулся на спину и бешено топтал колдуна, покуда тот не захохотал...

В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замалхал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом — третий. «Едет, едет!..» Человек пятьсот дворни на колених, кланяясь лбами в мураву, встретило князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика... Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь, — больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы... Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами... Кругом широкого двора такие же из кондового леса конюшни, службы, погреб, полотняный завод, теплицы и парники, птичники, голубятни...

«Завтра, — подумал, — налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят... Все пойдет прахом...» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему старший сын Алексей ростом и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца. Прильнул дрожащими губами к руке, — нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против веницейского зеркала, где отражались струганные

стены, в простенках — шпалерные ковры, полки с дорогой посудой... Все пойдет прахом!.. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку, — и не выпил, не с'ел, забыл.. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то...

— Ну? — спросил Василий Васильевич сурово.

— Батюшка, были уж здесь...

— Из Троицы?

— Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков...

— Вы что?

— Сказали: батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол...

Сотник сказал: пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бесчестья...

Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает, — плечо повисло, ступни — по-рабски — внутрь, половица мелко трясется под ними. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо и стало его жаль:

— Не дрожи коленкой, сядь...

— И мне, батюшка, приказали быть с тодой к Троице...

Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу...

— Собирайся, Алеша, — проговорил Василий Васильевич. — Отдохну, — в ночь выедем... Бог милостив... (Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забегали.) Вот что надо, Алеша: мужика одного с собой привез... Поди присмотри, чтоб отвели его под речку в баню да заперли бы там, берегли пуще глаза...

Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, ссутулился, — морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа... Убитый человек...

Васька Силин сидел в баньке на реке под обрывом. Весь день кричал и выл, чтобы дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, плескалась в речке плотва, спасаясь от щук, да стая скворцов, готовясь к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве (видимой колдуну сквозь волоковое окошко в бане). Утомились птичищи, сели на орешник, защебетали, засвистали, не пугаясь человеческих вздохов...

— Родная моя Полтавщина, — стонал колдун, — чорт меня занес в сею проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем врозь поразойтись, чтоб все города позападали...

Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полок, под голову положив веник. Задремал и вдруг

вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага...

— Что теперь скажешь, провидец? — спросил князь странным голосом.

Сплоховал Васька Силин, не понял, о чем он говорит, зачем так спрашивает... Значит — оставалась все-таки у него капелька веры в Васькино волшебство, — иначе бы не пришел... Сказать бы князю: вижу, убить меня пришел... Или обнадежить: к царю едешь на муку, не бойся, будет худо, а кончится хорошо... И спутались бы мысли у Василия Васильевича... Но Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить:

— Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину... От меня ни вреда ни проносу не будет...—Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника поленом, навесил замок... Васька сразу и не понял, что князь делает: забегал около бани, волочит что-то... Понял, — хворостом заваливает!.. Колдун закричал: «Не надо!» Князь ответил: «Много знаешь, пропади...» И дул, покашливая, раздувал трут. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое окошечко кричать, — глотку забило дымом... Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел... Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка — спастись от жара. Скарежилась крыша. Пылали стены...

В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносившейся к ярославской дороге, летели по жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи...

— Где горит? Отец... Не у нас ли? — не раз и не два спрашивал Алексей. Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты...

## 4

На воловьем дворе в подземелье, где в смутное время были цокольные погребки, теперь — подвалы для монастырских запасов, — плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей и внизу — лежащее бревно с хомутом — дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом скамью для высших и починили крутую лестницу из подполья наверх в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шакловитый.

Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы из Разбойного приказа привезли заплечного мастера Емельяна Свежева, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у

столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады,—пятнадцатым ударом пересекал человека до станowego хребта.

Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного. Хитростью захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во все воеводства.

Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читанные ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю...» Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но он этого не знал и готовился попрежнему отпираться, что-де бунта не заводил и на государево здоровье не умышлялся...

Петр в начале розыска не бывал на допросах,—по вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком и тот читал сказки и опросные столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Четечкой, когда заговорили смертные враги,—Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он сел в стороне, под заплесневелым сводом. Уперев локти в колени, положив подбородок на кулаки, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, очерясь, захрустели от боли,—Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб, и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день он был бледен и задумчив. Но раз за разом по привычке и уже не прятался.

Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно,—Софья была еще в Кремле, но бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных—бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живыми с семьями и промыслами.

Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было стрельцов. Занумели: «Государь, выдай нам Федьку, мы сами с ним поговорим...» Нагнув голову, торопливо махая руками, он пробежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвала. Запахло сырыми кожами и мышами. Пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье, Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ромодановский важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шакловитого: он стоял в шаге от них на коленях, кудрявая голова уронена, дорогой кафтан (в нем его взяли во дворце) порван подмыш-



ками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали, будто беззвучным плачем, как у маленького. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся:

— Прикажешь продолжать, государь?

Стрешнев проговорил сквозь густые усы, рассудительно:

— Вруй и ответ умей давать,—а что же мы так-то бьемся с тобой? Государство хочется знать правду...

Борис Алексеевич повысил голос:

— У него один ответ: слов таких не говаривал да дел таких не делывал... А по розыску — на нем шапка горит... Пытать придется...

Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону как мышь, хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки с соленой рыбой... И — припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами бритую Федькину шею с глубоким желобком. Сунул руки в карманы парчевой ферязи. Сел — важный, презрительный — и сорвавшимся от высоты юношеским голосом:

— Пусть скажет правду...

Борис Алексеевич позвал:

— Емеля...

За дыбой из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый должно быть не ждал его так скоро, сел на пятки, — голова ушла в плечи, — глядел на равнодушное, лошадиное лицо Емельяна Свежева, — лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть, голая. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув, поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот, белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса... Федька хотел было честно крикнуть, — вышло хрипло, невнятно:

— Господи, все скажу...

Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястья, накиннул ремennую петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шакловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Заплетенные руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой, — Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалившимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой...

По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и прилизив сухой нос к свечке, начал читать:

— И далее на распросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: « в прошлом-де году, а в котором месяце и числе — того он не упом-

нит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня. И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и Федор, взял их за тем чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же...» В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: «Слушайте, как учинится в хоромех крик... А того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромех был великий... Учинится-де крик, будьте готовы все: которых вам из хором станем давать,— вы их бейте до смерти»...

— Таких слов не говаривал, Филипп напрасно врет,—выдавил из горла Шакловитый...

По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел, — удобно ли?—закинулся, размахнулся кнутом и, резко падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки. Вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. (Борис Алексеевич быстро сказал: «Три».) Ударил в третий. Шакловитый вопленно закричал, брызгая слюной:

— Пьяный был тогда, говорил, спьяну, без памяти...

— И далее, — когда замолк крик, продолжал дьяк читать, — говорил он Филиппу же про государя Петра Алексеевича неистовые слова: «Пьет-де и на Кукуй ездит, и никакими-де мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяна... И хорошо б ручные гранаты украдкой в сани его государевы положить, чтоб из тех гранат убить его государя...»

Шакловитый молчал. «Пять!» — жестко приказал Борис Алексеевич. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут: Петр подскочил к Шакловитому, глазами вровень, — так был высок, — глядел в обезумевшие Федькины глаза... Спина, руки, затылок ходуном ходили у него...

— Правду говори, пес, пес... (Ухватил его за ребра). Жалеете— маленького меня не зарезали? Так, Федька, так?.. Кто хотел резать? Ты? Нет? Кто?.. С гранатами посылали? Кого? Назови... Почему ж не убили, не зарезали?..

В круглое его пятнисто-красное лицо, в маленький перекошенный рот Федька забормотал оправдания, жилы надулись у него от натуги...

— ...одни слова истинно помню: «Для чего, мол, царицу с братьями раньше не уходили?» А того, чтоб ножом, гранатами, — не было, не помню... А про царицу говорил воровски Василий...

Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу: — Бей!

Емельян, берегясь не задеть царя, полоснул с оттяжкой четырехгранном концом кнута по Федьке между лопаток,—разорвал до мяса... Шакловитый завыл, выставя кадкы... На десятом ударе голова его вяло мотнулась, упала на грудь.

— Сними, — сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым платочком, — отнеси наверх бережно, оботри водкой, смотри, как за малым дитем... Чтобы завтра он говорил...

Когда бояре вышли из подполья на воловий двор, Тихон Никитьевич Стрешнев спросил Льва Кирилловича на ухо:

— Видел, Лев Кириллович, как князь-та, Борис-та?

— Не-ет... А чего?

— Со скамьи-та сорвался... Федьке рот-та заткнуть...

— Зачем?

— Федька-то лишнее сказал, кровь-то одна у них — у Бориса-та, у Василия-та... Кровь-то им дороже знать государева дела...

Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, удивился выше меры, взмахнув рукавами, ударил себя по ляшкам:

— Ах, ах... А мы-то Борису верим...

— Верь да оглядывайся...

— Ах, ах...

## 5

В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на полатах и вовсе не видно. Скучно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корытце с водой. Бежали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей, то-и-дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная льковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь: «Пропasti на вас нет, с'ели меня, оглашенные!..»

Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня, — в монастырские ворота их не пустили: «Великий-де государь велел вам быть на посаде до случая». Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич, по дороге готовился к худшему, но не к курной избе.

Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, сочувствовал, цыкал языком и как равного потрепал Василия Васильевича по коленке (вот, что было больнее всего)... «Нишего, — сказал, — не будь задумшиф, князь Фасилий Фасильевич, перемелется мука будет, — говорит русский пословиц»... Ушел, вольный счастливец, звякая большими шпорами.

Некого послать проведать в лавру. Посадские и шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилось в голове, дым ел глаза. И не раз почему-то на память приходил проклятый колдун, в ушах завяз его крик (из окошка сквозь огонь): «отчипи деееерь, пропадешь, пропадешь...»

Поздно вечером ввалился в избу урядник со стражей, закашлялся от дыма, и — беременной бабе:

— Стоит у вас на дворе Васька Голицын?

Баба ткнула рваным локтем:

— Вон сидит...

— Велено тебе быть ко дворцу, собирайся, князь...

Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, повскакали, засмеялись, — кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно:

— Стой веселей... Воевода на двух копытах едет... А где же конь его? А промеж ног... Ах, тудить твою, как бы воеводе в грязь не упасть...

Миновали позор. На митрополичье крыльцо, полное народу, Василий Васильевич вошел бегом. Но навстречу важно из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, — бил в темя каждым словом:

— ...за все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы московские и животы отписать на себя, великих государей. А людей твоих, кабальных и крепостных, опричь крестьян и крестьянских детей, отпустить на волю...

Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича, — тот едва стоял, без шапки, Алексей держал его под руку...

— Взять под стражу и совершить, как сказано...

Взяли. Повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи, сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик в рваном армяке, в лаптях закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Была глубокая ночь, звезды затянуло осенней сыростью.

## 6

Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом и Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану:

«... А теперь, государь братец, настoit время нашим обоим особам богом врученное нам царство править самим, понеже есьми пришли в меру возраста своего, а третьему з а з о р н о м у лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и расправе дел быти не изволяем...»

Софью честью перевезли в Новодевичий монастырь. Шакловитому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы, остальных воров били кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали в Сибирь навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были схвачены дорогобужским воеводой. Их страшно пытали огнем и железом и обезглавили.

Перед в'ездом в Москву бояре разобрали между собой приказы: первый и важнейший — Посольский — отдан был Льву Кирилловичу, но уже без титула Оберегателя; стрелецкий — Ивану Борисовичу Троекурову; разрядный — Тихону Никит'евичу Стрешневу; Большой казны — старому князю Прозоровскому; приказ Большого Дворца — Петру Абрамовичу Лопухину. По миновании военной и прочей надобности совсем бы можно было отвязаться от Бориса Алексеевича Голицына, — патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута и плахи, но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий род: «Пойдем на это, — скоро и из-под нас приказы вышибут, купчишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, к царю Петру так и лезут за добычей, за местами...» Борису Алексеевичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав о сем, плюнул, напился в тот день, кричал: «Чорт с ними, а мне на свое хватит» и пьяный ускакал в подмосковную вотчину отсыпаться...

Новые министры, — так начали называть их тогда иноземцы, — выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других, и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных не случилось. Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, щепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского...

Это были люди старые, известные, кроме раззорения, лихоимства и беспорядка ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе — купцы всех сотен, откупщики, торговый и ремесленный люд на посадах, иноземные гости, капитаны кораблей, приказчики — голландские, датские, фламандские, английские и шведские, — с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия — золотое дно — лежала под вековой тиной... Если не новый царь поднимает жизнь, так кто же?

Петр не торопился в Москву. Из лавры с войском вышел походом в Александровскую слободу, где еще стояли поросшие кустарником и мхом гнилые срубы страшного дворца царя Ивана Четвертого. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение. Длилось оно целую неделю, покуда хватило пороху. И здесь же окончилась служба Зоммера, — упал с лошади, покалечился.

В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы народа. Держали иконы, хоругви, караван на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы, — выборные, — из тех полков, кои не были в Троице...

# Первый день

Рассказ  
ГОРЕВ

## I

**В** док, — сказали Вале, когда он пришел на завод, и выдали ему сопроводительный лист. Мимо завкома, — Валя прочел вывеску, — мимо склада, на котором не так, как он это учил в институте, лежало железо: листы должны были стоять вертикально в стеллажах, а здесь они лежали грудями, один на одном, — мимо целого ряда построек и сооружений он направился к длинному каменному дому, стоящему у самой реки.

В конторе мастеров сидело несколько человек. Один из них в руке держал чертеж и, расставив ноги, задумчиво смотрел в окно, двое курили, мирно беседуя о чем-то, остальные были заняты кто чем.

— Кто здесь мастер товарищ Сапожников? — вполголоса спросил Валя, наклонившись через стол к нарядчице.

— Илья Карпыч? — спросила барышня.

— Да, Илья Карпыч, — неуверенно подтвердил Валя. Он не знал, как зовут Сапожникова, но почувствовал, что эта неосведомленность показалась бы здесь неприличной.

— На развод пошел. А что вам?

— Меня к нему начальник послал: работать.

— А-а, стажер, — сразу догадалась барышня.

— Да, стажер. Так его нет?

Сидевшие в комнате люди посмотрели на Валию искоса и отвернулись. Он переступил с ноги на ногу и вышел из комнаты. Этот день был для Вали испытанием, и началось оно именно с того момента, когда на него посмотрели и отвернулись. На душе у него стало нехорошо.

Выйдя в коридор, он остановился у дверей, поджидая Сапожникова, но мимо, туда и назад, проходило множество людей. Который из них был Сапожников?

«Не отличить» — подумал Валя, глядя на рабочих, одинаково одетых в толстые и грязные парусиновые одежды.

А торчать подле дверей было неудобно, тем более, что такая праздность среди спешивших людей обращала на себя внимание. И все же Валя наедине оправился от первого, хотя и неуловимого, но щемящего чувства задетости. Чем, собственно, он взволнован? То, что от него отвернулись, было вполне естественно: посмотрели и опять занялись своим делом.

Он опять вошел в контору и в задумчивости остановился посредине комнаты.

Нарядчица подняла на него глаза и улыбнулась. Были в ее улыбке и насмешка и чуточку кокетство.

— В чем дело? — спросил он ее тихо.

— Дело в шляпе, — бойко и глупо ответила девушка. — Станьте в сторону, дорогу только людям загораживаете — добавила она, обращаясь ко всем.

— Стою потому, что дело есть, — повысив голос, тоже обращаясь ко всем, ответил Валя.

— Да я же вам сказала, что Ильи Карпыча нету.

— Я подожду его.

Она дернула плечами, точно он сказал ужасную глупость и, наклонившись, что-то начала писать. Валя оглянулся кругом. Он подумал было, что все уже смотрят на него, но, оказывается, никто не смотрел. И это невнимание теперь поддержало его лучше, чем всякое сочувствие.

— Рабочие входили и выходили, приносили чертежи, спрашивали что-то, выписывали заклепки, листовое, угловое, рукавицы, — была сутолока, торопливая и вместе с тем сдержанная; каждый помнил, зачем он пришел, и мысль, что сегодня он приобщится к этой сутолоке, и радовала и волновала Валью.

— Вот Илья Карпыч, — вдруг сказала барышня, указывая вслед полному человеку, который прошел к столу в дальний конец комнаты. У Вали в сердце что-то ёкнуло, он мельком заметил, что тон у барышни уже другой. Обойдя группу рабочих, он подошел к мастеру.

## II

Человек в очень грязной, повидимому, некогда черной, а теперь цвета ржавого железа рубахе сидел за столом и сосредоточенно смотрел перед собой. Полный живот выпирал под широкой грудью, морщинистая шея висела мешками, а лицо большое, желтое и худое, с торчащими вбок вперед усами, неприятно поражало своей неопрятностью. Над усами выделялся нос безобразно большим треугольником, точно кто-то приподнял его. Ноздри, очень видные, были огромной величины и служили вместилищем копоти, черной угольной пыли и всевозможной грязи. Лицо и все на лице было так крупно, так разнообразно велико, что, казалось, невозможно сразу его охватить. Сидел человек прочно, сгорбившись большим телом.

— Я к вам, меня к вам... прислали работать, — неожиданно заикаясь, проговорил Валя.

Мастер не повернулся и не поднял голову: он только скосил глаза, но Валя стоял сбоку, так что глаза не достали. Минуту длилось молчание:

В это время подошел рабочий: он хотел что-то сказать, но мастер перебил его. Валя слушал. Мастер говорил о заварке углового, потом что-то о рамке, но Валя не вполне понимал его и не мог бы даже сказать — была ли это рамка из углового, или угловое и рамка никак не относились друг к другу и с ними были связаны два совершенно разных дела. «Пожалуй, рамка из углового, ее и заварили» — соображал он.

Оборвав свои объяснения, мастер встал и направился к двери рабочий пошел за ним.

Пока мастер говорил, больше всего внимание Вали привлекла обыкновенность его, ставшая вдруг такой очевидной. Этот человек, из ряда вон выходящий по своему виду, оказался просто знающим стариком. То, что он не посмотрел на Валью, не только не вышло оскорбительно, но вообще было вне того круга явлений, которые могут быть приятны или обидны.

Невнимание к Вале было невниманием к его делу, ибо «дела»-то вообще у него пока не было, а внимание к рабочему было вниманием к его делу и ради этого стоило подняться и пойти.

«Пожалуй, это внимание и невнимание и есть корень всего» — вдруг понял Валя. И, глядя в спину мастера, он почувствовал симпатию к этому старому безобразному человеку.

«Вот с кем работать, у кого учиться, учиться всему» — подумал он.

У самой двери мастер вдруг обернулся и громко сказал:

— Так работать, молодой человек? — он строго и ласково оглянул Валью. — В добрый час! Подождите меня, — и пошел.

### III

Мастер как ушел, так и не возвращался до обеда. Возвратившись, привел с собой рабочего, но уже не того, с которым вышел.

— Вот, молодой человек, будьте знакомы.

Валя встал и протянул руку. Поздоровались.

Как и каждый человек его возраста, Валя, начиная какое-нибудь дело, хотел добиться многого. И то, что это «многое» связывало его с этим рабочим, человеком сурового вида, и отчасти зависело от него, не только не оттолкнуло Валью, но, наоборот, скорее обрадовало. Трудности не пугали его. И если бы ему дали самую тяжелую работу, он взялся бы за нее со всей охотой, со всем умением, которое нашел бы у себя.



Рабочий Егоров привел Валю в столовую, — уже начался обеденный перерыв, — к своему ящику и познакомил с бригадой.

Здесь Валю тоже приняли сдержанно, даже сухо, — пожали протянутую руку и продолжали говорить о своем. Егоров, очевидно, заметил, что Вале неловко, и сказал:

— Так после обеда подойдите к ящику. — Но Валя не уходил. За столом шел оживленный интересный разговор. Толковали о том, стоит ли мужчине жениться. Молодой рабочий, размахивая в воздухе куском хлеба с котлетой (котлету он придерживал пальцем, чтобы не упала), горячился больше всех. Говорил он о своей жене:

— Поверьте, три года с ней живу, а дули от нее не видел.

Он сказал это и обернулся к Вале. Чужое, внимательное к его словам лицо заставило его замолчать. Валя почувствовал себя лишним, но уходить сейчас было нельзя. Молодой рабочий продолжал смотреть на него в упор, и напряженность положения с каждой секундой возрастала. Валя почувствовал необходимость как-то выйти и вывести всех из создавшегося положения, он даже подумал, что именно он, как будущий инженер, должен первым найтись и все взять на себя.

Но найти верное, простое слово было страшно трудно...

— Ну, ну, говорите, — сказал Валя.

Если бы раньше он уже был «своим», то ничего нельзя было бы сказать проще того, что он сказал. Но он не был «своим», молодой рабочий глядел на него не для того, чтобы он высказался, а чтобы он ушел. А Валя высказался, да еще в виде поощряющего замечания.

— Ну, ну, — передразнил рабочий, — чего нукаешь?

Валя покраснел и испуганно смотрел на рабочего.

— Вот видите, ступайте себе, а после обеда подойдете, — сказал Егоров.

— Почему же? — начал было Валя, не зная, кому собственно он отвечает, и окончательно смутившись. Все строго и серьезно смотрели на него. Валя медленно повернулся и вышел из комнаты.

После его ухода молодой рабочий усмехнулся и хотел было продолжать, но другой, с соседнего стола, перебил его и спросил, указывая на двери:

— Кто это?

— Да студент, у меня будет работать, — сказал Егоров не без гордости.

— Кажись, ничего парнек. Зря ты его, Сережка... только умничаешь.

Слова попали в цель. Тот, который коротко и грубо оборвал студента, очевидно, почувствовал себя уличенным и, желая исправиться, точно от полноты чувства, пренебрежительно махнул рукой, с ожесточением откусил большой кусок хлеба с котлетой и усиленно заработал челюстями. Все это потому, что он голоден, — так надо было его понимать, и ему не до разговоров.

— А ты чего заступаешься?

Второй рабочий улыбнулся

— Будет инженером, он тебе задаст, — неожиданно кротко, усмехнувшись чему-то сложному, но вполне ясному для себя, серьезно проговорил он.

#### IV

Никто ничего не сказал Вале, когда он после обеденного перерыва вернулся в столовую. Егоров поручил ему нести ящик с болтами, и вдвоем они отправились на судно.

Сегодня утром начальник ходил по цеху и коротко говорил: «Так чтобы не было задержек». Мастера наклоняли головы — мол, приняли к сведению — и ничего не отвечали.

Судно строилось на открытой верфи, а теперь на нем шли испытания водонепроницаемости и заканчивались сборочные работы. Наружная обшивка сочилась водой, судно тарахтело «пневматикой», дышало заклепочными горнами и гудело множеством сверловочных машин. Сборщики сновали туда и сюда по лестницам между лесами, кричали и ругались, нагревальщицы в синих халатах морщились от жары и дыма, шум стоял такой, что разговаривать можно было только крича над ухом собеседника.

А само судно пряталось еще между лесами. Только кое-где мрачной стеной стоял борт да выглядывали обнаженные ребра — шпангоуты, да впереди тяжелой полосой уходил вверх из лесов форштевень. Глядя на него, было понятно, как велико будет судно.

Егоров и Валя поднялись на верхнюю палубу и оттуда спустились на внутреннее дно. Здесь у Егорова была работа по установке фундаментов.

Егоров полез в горловину и из-под низу должен был подавать болты. Валя сверху, как научил его Егоров, просовывал проволоку в крайние дыры нижних угольников, показывая этим, в какие дыры подавать болты. Гайки завинчивал вслед за ним пришедший рабочий, тоже из бригады Егорова.

Это был, очевидно, очень веселый человек: он приветливо кивнул Вале, как видно, совершенно не считаясь с тем, кто Валя — стажер или рабочий; напевая, принялся за дело. Работа продолжалась около часу. Все болты были поставлены, и Егоров вылез из горловины.

— Теперь тот фундамент будем снимать, — сказал он. — Менять бракетки будем по новому чертежу.

Егоров отпустил рабочего, и Валя понял, что его работу теперь будет исполнять он, Валя.

Валя не спросил, зачем же было ставить фундамент, если теперь его приходится снимать: другие мысли занимали его.

Он понял, что эту простую работу — завинчивать гайки — Егоров не хотел ему сразу доверить: и это поразило его тем, что, во-первых, и эта работа, очевидно, требовала умения, и, во-вторых, что Егоров ни словом не упомянул, что ему, Вале, надо было следить за тем, как

эту работу исполнял рабочий, поскольку ему самому придется ее исполнять. В этом Валя угадал большой такт и осторожность в обращении с ним, и в этом же была хитрость и строгость: сам должен понимать, что нужно присматриваться.

И еще: Егоров отпустил рабочего, гайки отдавать будет он, Валя; кто же будет указывать проволокой нужный угольник и дыры в нем? Очевидно, никто: значит эта работа и не нужна вовсе, и если Егоров ему поручил, то только чтобы дать работу и втянуть в дело

«Это опять умно, — подумал Валя. — Но как же будет теперь? Он думал, что я буду присматриваться, я этого не делал и смотрел по сторонам. Но ведь тут следить не за чем — я и не следил. В какую сторону отвинчивать гайку — я знаю, и ключ еще на первом курсе чертил... Да, а в какую же сторону отвинчивать гайку: справа налево или слева направо? Или он будет ее отвинчивать?» Валя силился себе представить, в какую сторону идет резьба, но из этого ничего не выходило.

А между тем Егоров снизу уже стучал по одному из болтов, указывая этим, какой болт он придерживает, чтобы его отдавать, Валя стал на колени, взял за ручку ключ, но не с той стороны: ключ оказался мал. Валя перевернул его другой стороной, ключ подошел к гайке, и тут Валя понял, что он забыл или не знает, в какую сторону отдавать гайку.

Совершенно растерявшись, он все же приладил ключ и, наконец, дернул его. Снизу, через стальной настил внутреннего дна, глухо послышалось ругательство. Валя подумал, что это, может быть, потому, что он крутит недостаточно сильно. Кругообразным движением он завел ключ и потянул сильнее в ту же сторону. Гайка, которая сначала не поддавалась, теперь поддалась. Валя отнял ключ, отвел назад, чтобы удобно было потянуть к себе, и опять внизу сначала что-то задержало, потом соскочило, и гайка поддалась. Но тут Валя заметил, что вместе с гайкой в ту же сторону крутится стержень самого болта. Снизу опять послышалось ругательство.

Егоров держал внизу ключ, рассчитывая на усилие, направленное в одну сторону, а оно направлялось в другую, и ключ соскакивал. Тогда Валя попробовал крутить гайку в противоположную сторону. Гайка не шла. Не зная, что делать, чувствуя себя несчастным, как никогда в жизни, Валя бросил ключ.

Рядом стоял рабочий, тот самый, что заступился за Валю в столовой, по фамилии Рябов. Когда он подошел, Валя не заметил, но по его серьезному, пристальному и уничтожающему взгляду понял, что рабочий видел и понимает его позор.

— Ну, что же, — сказал Рябов.

Лицо рабочего не выражало и тени насмешки (это и было страшное), голос был повелителен, послушаться его было нельзя.

Валя опустил на колени, взял ключ и вдруг вспомнил... Его рука сделала верное, безошибочное движение, еще в воздухе примериваясь

и он уже знал, что рука, в которой он почувствовал уверенность и силу, не подведет его. Он приложил ключ, надавил (в ту же сторону, как последний раз) смело, сильно — гайка поддалась. Еще несколько движений,—болт неподвижно стоял на месте и гайка поднималась все выше и вот, наконец, лежала в Валиной руке: болт был отдан и, вынутый снизу, освободил дыру.

Быстро, споро работая, Валя отдавал болты. Фундамент был большой, и через четверть часа все было кончено.

Егоров вылез наружу.

— Что же так плохо? — спросил он, будучи еще под впечатлением первых Валиных ошибок. Внизу было тесно и грязно, и злоба его была понятна.

— Вы не сказали, что будете делать: снимать или ставить фундамент, — сказал за Валю Рябов.

Егоров ожидал всего, что угодно, но только не этого.

— Разве я не сказал? — спросил он растерянно. — Да ведь как же ставить, когда он поставлен?

— Надо было сказать! — и Рябов сделал жест в сторону Вали, показывая этим, что он, как новый человек, мог этого не понимать. — Привернуть гайки, поставить еще болты или что...

Это была опять нелепость, потому что гайки привертывают сразу натуго при установке болтов, а новых болтов Егоров вовсе не подавал, так что об установке их вообще не могло быть речи. Но такова была уверенность и сила слов, произнесенных Рябовым, что не только возражать, но и думать иначе было невозможно.

— Вот черти!.. Пойдите, принесите болтов: полдюймовые не годятся, принесите пятиосьминных... На верхней полке в ящике, — быстро проговорил Егоров, видимо, рассердившись. Валя взял ящик и, уходя, благодарно посмотрел на Рябова.

Рябов улыбнулся. Он был доволен собой, но задумчив.

Когда Валя вернулся, Рябова уже не было. А перед шабашем Егоров сказал Вале:

— А ведь Гришка-то Рябов соврал. Он сказал мне: бедовый парень!

Егоров весело, долго смеялся и крепко жал неживую Валину руку.

— Не тужи, братишка. Это он верно... И я не обидел вас и все ладно.

Валя смутился, покраснел и понял.

Да, Егоров прав; да, Рябов прав.

И он, Валя, прав; что мог, — он сделал.

Но более, глубже всех прав Рябов: недосыгаемо хорошим, справедливым почувствовал его Валя...

Так закончился первый его день на заводе, первый шаг на пути производственной жизни.

# Бахчисарай

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

«Фонтан любви, фонтан живой!»

Александр Пушкин.

«Дворец Гиреев пуст...»

Адам Мицкевич.

Бродил я и твердил, не зная сам,  
Что значит по-татарски «мен мундам!»

Но с этих слов, загадочно простых,  
На землю веял прадедовский дых,

И дух кочевий по моим следам  
Гудел гостеприимно: «мен мундам!»

Я кланялся плетущимся домой  
Сапожникам с паломничьей чалмой.

И отращенным в Мекке бородам  
Я признавался тоже: «мен мундам!»

Я наблюдал, как жесткую струну  
Кидали шерстобиты по руну,

И войлочный мне откликался хлам  
На хрипкое от пыли «мен мундам!»

По замкнутым дворам туземных нор,  
В святых пещерах молчаливых гор,

Снимая башмаки у входа в храм,  
Шептал я, как молитву: «мен мундам!»

К Фонтану Слез Гиреева дворца  
Младой певец другого вел певца,

Он звал его по имени—Адам—  
И, встретив их, я крикнул: «мен мун-  
дам!»

когда же я спросил о смысле слов,  
Мне давших ласку, и привет, и кров,

— Я здесь! — мне отвечали, — здесь  
я сам!—

Вот все, что означает «мен мундам»...

Журчал ключом и лился через край  
Воспетый Севером Бахчисарай.

В Бахчисарае это было, там,  
Где я сказал впервые «мен мундам»,

Где хан не правит и фонтан не бьет.  
Где пушкинская тень отраду пьет,

Где суждено уже не тем устам  
Шептать благоговейно «мен мундам».









# Первое покушение на В. И. Ленина

## 1 января 1918 г.

ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ

(По личным воспоминаниям следователя этого дела и на основании рукописей одного из покушавшихся)

### I

Трагический эпизод из жизни В. И. Ленина, о котором я хочу здесь рассказать, принадлежит к тем моментам жизни Владимира Ильича, которые еще мало известны, мало обследованы и требуют тщательного выяснения многих обстоятельств.

1 января 1918 года около 12 часов ночи мне позвонили из Смольного и просили немедленно приехать по очень важному делу.

Я сейчас же поехал туда. Оказалось, в этот день Владимир Ильич выезжал на митинг в один из полков и на обратном пути его обстреляли, пробили в нескольких местах автомобиль и ранили в руку, в палец, швейцарского социал-демократа Платена, который ехал с Владимиром Ильичем. Платен машинально нагнул голову Владимира Ильича, и пуля скользнула по пальцу руки Платена, лежавшей в это мгновение на голове Владимира Ильича. Владимир Ильич был на волосок от смерти.

Я тотчас же повел следствие, желая нащупать хотя бы первые обстоятельства. В эту же ночь до нас донеслись какие-то отдаленные, чуть заметные намеки на то, что в Петрограде образовалась военная офицерская организация, искавшая случая убить Владимира Ильича. Но, как мы ни искали в течение ближайших нескольких дней, ничего не могли выяснить.

### II

На утро Владимир Ильич встретил меня весело. Когда я ему сказал, что мы уже повели следствие, он вскинул пронизывающие глаза:

— А зачем это? Разве других дел нет? Совсем это не нужно... Что ж тут удивительного, что во время революции остаются недовольные и начинают стрелять?.. Все это в порядке вещей... А что, говорите, есть организация, так что же здесь диковинного? Конечно, есть. Военная? Офицерская? Весьма вероятно,—и он постарался перевести разговор на другие темы.

Я никак этого допустить не мог и прямо заявил ему, что это покушение направлено против него как главы правительства, избранного народом, и что мы не имеем права пройти мимо этого.

Я просил его рассказать мне, как это все было. Но он заявил, что ему очень некогда, что он сам ничего не знает, так как это было мгновенно, и что самое лучшее, если уж это так нужно, мне обо всем спросить других его спутников. Видно было, что он изо всех сил отбояривается и не хочет давать никаких показаний.

В калейдоскопе огромного следственного материала, проходившего через 75-ю комнату Смольного, не встречалось ничего, что бы давало новую нить

для раскрытия этого для нас весьма важного дела, но, как нередко бывает, и здесь помог случай.

### III

Однажды я выходил из своей квартиры на Песках, чтобы ехать в Смольный, как неожиданно был остановлен толпой человек в пятьдесят рабочих и работниц, поблизости проживавших. Многие из них меня хорошо знали. Их интересовали какие-то законодательные распоряжения, и они хотели услышать разъяснения. Я стал рассказывать им все то, что их интересовало и тут вдруг скорее почувствовал, чем увидел, острый, в упор смотрящий на меня взгляд. Это был храбрый солдат в серой шинели, смотревший пристальными черными глазами. Я продолжал отвечать на вопросы рабочих и работниц, затем стал прощаться, пожимая им руки и говоря, что спешу по делу.

— Послушайте!—вдруг обратился ко мне тот солдат.—Где можно мне вас видеть и поговорить?..

— А что?

— Я хотел вас убить,—в упор сказал он мне, смотря прямо в глаза.—Сейчас должен был стрелять, а с вами рабочие по душам разговаривают, вот меня и взяло сомнение...

— Это любопытно!—ответил я ему.—Что же это вы, батенька, надумались мною заняться?.. Хотите поговорить, так садитесь, поедем.

— Нет, я лучше приду.

— Да ведь не придете!

— Приду!—упрямо сказал он, и глаза его вновь загорелись.

— Ну что же, тогда идите в Смольный и там меня спросите.

— Но меня не пропустят...

— Обязательно пропустят, назовите мою фамилию. Вы знаете, как меня зовут?

— Знаем.

— Ну, так вот приходите.

— Придем.

— Что за странность?—подумал я и тут вспомнил, что мне дома наша няня рассказывала, что все это время при ходит какой-то солдат и требует меня

меня нет, что я на службе, он ей резко отвечает:

— Все вы врете, скрываете вы его.

— Что-то здесь есть?—подумал я, под'езжая к Смольному. — Или, может быть, просто сумасшедший, психически больной, вернувшийся с фронта,—тогда их было очень много.

Я приступил к текущим делам, рассказав кое-кому из своих товарищей о любопытном случае со мной.

Приблизительно часа через два мне говорят, что меня добивается видеть какой-то солдат и что он не хочет ждать приемных часов, так как у него есть нужное дело ко мне.

Я велел позвать.

— Ну вот я и пришел,—сказал он,—а вот вам револьвер, из которого я должен был убить вас,—и он положил на стол нагаи.

— Кто вы будете?—спросил его кто-то из товарищей рабочих.

— Я—фронтвик... Совсем недавно вернулся с фронта. Фамилия моя Спиридонов.

— Садитесь, товарищ,—сказал я ему.—Вы хотели со мной потолковать, давайте, у меня сейчас есть время...

Он присел и как-то виновато сказал:

— Ведь вот, еще минута и застрелил бы вас... Ошибка... Вот работницы... Это они помешали мне.

Я постарался сейчас же наводящими вопросами направить его мысль, куда мне было более всего интересно. Мне хотелось знать: связан ли он с кем. действовал ли в одиночку?..

— Подождите, все расскажу... Не спешите...—ответил он мне, словно догадываясь о том, что мне нужно было.

Кругом нас столпились рабочие, члены нашего комитета, заинтересовавшиеся этим посетителем.

— Мать честная!—вдруг сказал тут Спиридонов, поднимаясь.—И тут все рабочие, все наш брат, а говорили — немцы, господа... Все звали нам...

— Мы, брат, такие же немцы, как ты татарин...—сказал, смеясь, и хлопнул его по плечу здоровенный рабочий-молотобоец, еще черный, закоптелый от заводского дыма.

Спиридонов быстро освоился. Стал рассказывать о том, что он был на фронте. Там их часть вся раз'ехалась, а он с несколькими товарищами, среди которых были офицеры, решив убить Ленина, направились в Петроград, и вот здесь имеется офицерская организация. Комиссары насторожились. Я кратко записывал главнейшее. Он указал один адрес в Перекупном переулке, где часть организации собиралась и где он сам бывал. Все это было на квартире у одной женщины, но где остальные бывают, он не знает.

Мне стало ясным, что нити у него в руках.

Но что делать с ним? Арестовать? Все испортишь. Пустить на волю,— может раскаться в своих показаниях и всех предупредить.

Я вышел и незаметно вызвал к себе двух-трех комиссаров и сказал им, чтобы они передали всем другим: сей час же Спиридонова окружить самым большим вниманием, пойти с ним обедать, забрать его в свою среду, рассказать ему все о революции. Брать его с собой по раз'ездам, потащить на собрания к рабочим, но отнюдь ни на минуту не выпускать из сферы своего наблюдения. Так и сделали. Спиридонов быстро сделался своим человеком.

В этот же вечер мы арестовали всех на квартире в Перекупном переулке, устроили там засаду, и туда, как горох, сыпались люди, которых от времени до времени доставляли в Смольный. Здесь их немедленно допрашивали, и дело все более и более раскрывалось.

Через два дня мы добрались до фигур, стоявших ближе к центру, и, наконец, арестовали трех офицеров, которые были непосредственными участниками покушения на Владимира Ильича. Но ясно было, что они являются лишь бруднем в чьих-то более крепких руках. Один из них все принимал на себя и по своему жертвенному настроению казался мне наиболее идейным и наиболее симпатичным, может быть, добросовестно заблуждавшимся.

Я докладывал Владимиру Ильичу о ходе дела, и он, подвергавшийся смертельной опасности от пуль этих людей,

был самым трудным препятствием в деле расследования. Он, словно защитник этих подсудимых, ставил мне всевозможные вопросы, то сомневаясь в достоверности материала, то требуя новой проверки, казалось бы, совершенно ясного, и все более и более заинтересовываясь личностью покушавшихся.

— Вы им побольше литературы, книг давайте читать, — сказал мне как-то Владимир Ильич, осведомляясь о том, посылает ли мы заключенным газеты.

#### IV

Кто же были эти люди, поднявшие руку против вождя Октябрьской революции, против того, кто так изумительно умел понять и высказать действительно народные нужды, цели и намерения борющегося пролетариата?

Только теперь, в силу случайно сложившихся обстоятельств, мы имеем в нашем распоряжении подлинные исторические документы, записанные рукой одного из деятельных участников этой трагической истории, чуть-чуть не окончившейся величайшей катастрофой.

Замысел этого покушения зародился на фронте в те времена, когда империалистическая война была объявлена оконченной с нашей стороны, когда фронт совершенно развалился и когда войска расходились во все стороны, спеша вернуться домой.

Все воинские части разделились на два враждебные, ошетинившиеся друг против друга лагеря. Одна часть — за мир во что бы то ни стало и за уход с фронта, другая — за «порядок» и за ненарушимость фронта.

Первые верят большевистской пропаганде, вторые ненавидят ее и считают изменой, немецкими проделками.

«Враждебный лагерь полка стал осадой. Мы ходим вооруженные, — пишет автор цитируемой нами рукописи. — Нам еще бояться и это нам помогает, но на ночь мы собираемся в одну большую халупу, чтоб спать всем вместе, спим, выставив у ворот караул, и, спать ложась, кладем жен своих рядом в постель: «наши жены — ружья заряжены».

Наконец, я говорю Семе, что больше ждать ничего и не на что надеяться. Мы должны приступить к немедленной демобилизации вверенных нам частей. Некоторые ушли самотеком — «резали винта с липой». Это не годится. Должны же мы умереть по-человечески!

Разве мы не команда и разве не тридцать человек в команде нашей? Разве мы не старые солдаты и разве мы не сделали всего, что требовал от нас наш воинский долг? Слово полк наш не дрался под Плевной и мы не дрались под Кирли-Бабой? Знамя полка на походе несли впереди в порыжелом кожаном чехле, знамя, которое мы целовали на присяге. А на стоянке знамя ставили за кровать командира. Где командир и где знамя?

Раз мир «по-ротню и по-взводно», значит я — главноверх, ты — штаба начальник, — пиши приказ о демобилизации! Спиридонов скрепит приказ за комиссара республики, а Орлов примет его к исполнению по генерал-квартирмейстерской части.

— Становь последний раз команду!

— Как становить?

— В полном боевом<sup>1)</sup>.

Команда последний раз выставлена, — все по форме, по-военному, по уставу, согласно всех традиций лучшей старой воинской боевой дисциплины.

Наступает трагический момент — самораспускание части, пережившей многое в походах и в боях, сжившейся друг с другом, сроднившейся, сдружившейся перед лицом постоянной смертельной опасности.

«Выпили на прощанье, и в ту же ночь первая партия села на поезд. Прощаясь, никто не хотел друг с другом расставаться. Все давали друг другу адреса, уговаривались. Именно в эту ночь проводил я Спиридонова, уговорившись с ним относительно встречи в Москве. Он ехал в деревню повидаться с родными<sup>2)</sup>».

Уехали свои. Оставшиеся осиротели. Ложет тоска, и прошлое властно тянет к себе. Три ужасных года войны, стра-

дания, смерти, ужасы. За что, зачем, для чего? Ответа нет и нет. Раньше была устремленность, содержание жизни, теперь все непонятно, все рухнуло, и этот последний день на позициях был самым ужасным днем для тех, кто не понимал творившейся действительности, кто не только не поспел за событиями, но отстал от них, классово не чувствовал, как это чувствовали нутром сотни тысяч крестьян, батраков, рабочих и другой бедноты, одетой в солдатские шинели, брошенные когда-то на фронт властной рукой самодержавия и с радостью уходящие с фронта войны, из окопов, как из векового рабства, насилия и гнета.

Даже низшее офицерство военного времени, вышедшее из разночинной среды, кровью не связанное с капиталистами и помещиками, не замуштрованное дисциплиной военного времени, и то не могло дать себе ясного отчета в гигантском росте революционного движения, и очень небольшая часть его поняла и присоединилась к солдатской массе, которая жаждала мира во что бы то ни стало. И здесь зрел конфликт громадный и потрясающий, который был чреват неисчислимыми последствиями. Здесь собственно находились все зародыши военной силы уже на ступавшей контрреволюции, никогда доселе невиданной огромной гражданской войны.

## V

«Мы назначили свой отъезд на завтра, — пишет наш автор, — ночь лунная, лунная, ветреная. Последняя ночь.

Я вглядываюсь в белесоватый полусвет и вспоминаю, что два года назад были такие же ночи в Новом Свержне, недалеко от Минска. Год назад стояли на Карпатах. Полк только что вышел из боя! Стояла зима, Карпаты под снегом являли зрелище величественное. Как крутно шагает время, как многое изменилось за столь короткий срок! Пусть седлают мне Копчика в последний раз!

За околицей деревни на горе ветер пронизывает насквозь толстый мех романовского полушубка. Ветер в лицо. Лошадь захлебывается от ветра, ей трудно бежать, догоняю. Мне хочется

<sup>1)</sup> Рукопись: Г. Решетов (псевдоним) «Огненный император». Ч. XI. «Погром», стр. 47 — 68. Москва. 1925 г.

<sup>2)</sup> См. там же, стр. 89.

проехать скорей на ту сторону хребта, где тянутся по скату давно брошенные позиции. Долго кружу, не пускают глубокие нити ходов, ходами сообщения изрезано поле перед окопами.

Добрался. Окопы разрушены. Бревна взяты солдатами на дрова. Продвинулся еще и остановился у проволочных заграждений.

Кажется просто так: кольца отянуты тенетами проволоки. Но только посмотреть на эти кольца! Символ трех лет войны.

Неужели отдать три года жизни войне, отдать раны и убитых товарищей, отдать скорбь и печаль, отдать труды и лишения—все отдать за мир по-рогтно и по-взводно?

И где-то там, за холмами «он». Он знает все, он покрыл наш тыл полчищами шпионов. Он выждет, когда станут пустыми позиции, и кинется на беззащитную землю.

Измена творится, торжествует враг, люди обезумели, страна гибнет. Что же мы, любившие и присягавшие?

Спасти во что бы то ни стало, спасти какой угодно ценой. Спасти и погибнуть.

— Копчик, тебе придется померзнуть сегодня. Сегодня мы с тобой на последнем посту»<sup>1)</sup>.

## VI

Все передумано, все вспомнано, нервы натянуты, в голове полный сумбур, затаенная злоба и ненависть гнездятся где-то там, далеко, в глубине сердца, и невероятные мысли сверлят мозг. Россия гибнет! — решили эти молодые люди. И они должны спасти Россию.

«Куда мы едем? В Москву. Зачем в Москву? Спасать Россию. Как спасать? Великая тайна.

Мы уезжаем гурьбой: я, Орлов, Евтеев, Николаев и другие. Пожалуй, можно сказать, что мы демобилизуемся в составе команды.

С некоторыми затруднениями мы набираемся до Окинци. В Окинци мы находим вагон, груженный лошадьми. Гоним провожатых, выгружаем лошадей и пускаем их на волю.

— Демобилизуйся, товарищи!

И плотно набираемся в вагон. Мы едем шайкой, скопом, с оружием, мы сила, нас боятся.

В дороге, когда все новые и новые слухи еще более затуманивают голову, когда ощущается всяду назревающая гражданская война, еще более укрепляется та крайне простая мысль, уже достаточно созревшая на фронте, что единственный виновник всего случившегося—это неведомый и неизвестный Ленин, приехавший в запломбированном вагоне. Черная, гнусно-лживая, отвратительная агитация Бурцева, Алексинского и других им подобных оставила какой-то тайный, неуловимый след в примитивных, в неискушенных никакою политикой головах, и как тогда, в июльские дни, так и теперь все те, кто ничего не понимал в страшной революционной действительности того времени или кто был связан тесными узами с прошлым, с буржуазным обществом, сейчас же находили выход своему отчаянию, своей ограниченной, почти бесплодной мысли: решительно во всем был виноват Ленин! А злоба и ненависть закипали к нему еще больше.

«Ночь зимняя, но теплая,—пишет тот, кто вскоре поднял руку на Ленина.— Мы подъезжаем к Гомелю. Теплушка идет последней.

Наш поезд направили на Гомель, потому что в Киеве бой.

Многим взволнована душа. Мне душно и томительно в вагонной тесноте. Я выбираюсь на тормоз. На тормозе кондуктор—молчаливый хохол, он меня ни о чем не расспрашивает.

Лесом пролегает полотно. Не шибко идет поезд. Ночь зимняя стоит над лесом.

А я смотрю на ели, на небо, на огни уходящих деревень, как-будто я вижу их впервые.

Все найдено, все стало ясным. Да исполнится любовь, больше которой нет. Я—как воин, получивший приказ на смерть. Потому что наступили дни, когда жизнь не может быть своей.

Я возьму на себя самое большое, что может взять человек.

— Я убью Ленина!»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 70, 71 и 72

<sup>1)</sup> Та же рукопись, стр. 73 и 74.

## VII

Петроград полон смятения. Революционный порядок первых дней Октябрьской революции нарушен пьяными погромами. Классовые враги пролетариата, ошеломленные первым сокрушительным ударом, начинают оправляться. Либералы, кадеты, эсеры, меньшевики, вместе со всеми многочисленными приверженцами старого порядка и кереновщины, начинают объединяться, готовя силы для контр-удара. Для этих людей все средства хороши, все дозволено, все приемлемо, раз дело идет о низвержении большевиков. Как в июльские дни, готовы они были физически уничтожать большевиков, убивая их на улицах, громя их газеты, комитеты и организации, пуская в ход самую злостную и подлую клевету против тех, кто стоял во главе большевистского движения, арестовывая их и бросая в тюрьмы, так и теперь, после победы пролетарской революции, они, эти жалкие остатки бывшего могущества, чуя свою окончательную смерть, собирали все свои последние силы, чтобы смертельно ужалить новый восходящий класс.

В Петроград, в этот центр Октябрьской революции, где формировалось новое революционное правительство, со всех сторон стекались и друзья и заклятые враги нового социалистического порядка.

Само собой понятно, что совсем не одиноки были такие влывшие в отчаяние, взбаламученные люди, как те, которые, самораспустив себя, ехали с развалившегося фронта в красную столицу, дабы здесь проявить себя в качестве спасителей «отечества». С'ехавшись в Петрограде, все эти взбудораженные и разгоряченные герои фронта, желавшие продолжать проливать кровь русского солдата за интересы отечественной и международной буржуазии, волей-неволей образуют из себя какое-то подобие общежития с отдельной конспиративной квартирой, хозяином которой является некий Капитан, который, может быть, больше других был уже тогда сознательным контрреволюционером, но вся остальная масса — юнкера, солдаты, под-

поручики, — все эти Жени, Макссы, Спиридоновы, Ирины, — все они были действительным «пушечным мясом» контрреволюции, — они не имели даже определенной, сколько-нибудь выдержанной закалки, не говоря уже о принципиальной устойчивости, ибо они были посредственные мечтатели, ничего не знавшие, ни о каких принципах, бредшие по течению подхватившей их волны. Красная столица оказывала на них огромное влияние, разлагала их, незаметно настраивала на другой лад и постепенно размагничивала: рабочие митинги, солдатские собрания — все это заставляло и их, этих истых фронтовиков, впитывать в себя совершенно иные элементы, иные настроения. Почти каждого из них охватывало раздумье. «Где радость подвига? Тайным ядом сомнения отравлен разум. Мучительна зараза петроградских дней. Кто думу разорвал, какими усилиями, ценой какой вернуть утраченную твердость»<sup>1)</sup>. «Убить Ленина!» — вот задача, вот сокровенная мысль этих фронтовиков, а тут в столице, а может быть, и раньше, уже началось его чарующее неведомое влияние на сознание и этих людей, прибывших сюда с определенной целью.

«Откуда эта странная и губительная власть его надо мной? Как случилось, что то простое и ясное, с чем я приехал сюда, вдруг запуталось в тяжелый пук противоречий и стало сложным и непонятным. Кто вынул из меня тот покой жертвенности, который обрел я в недавние дни в старом воробьевском домишке? Кто лишил этого своего дела, какими тайными путями проникло в душу сомнение и кто цельную душу разорвал надвое?»<sup>2)</sup>.

Вспыхивает громадная внутренняя борьба, которая просачивается везде и всюду, на каждом шагу, при каждой мысли, еще и еще раз, неотвязно и неотступно.

«Много дней как хожу по следам его. По газетам, статьям и словам его слежу за ним. Нагад и бомба высшего качества у меня для него, но кажется

1) Рукопись «Покушение», стр. 2.

2) Там же, стр. 8.

мне иногда, что он у меня в груди и мне не убить его, даже если он будет мертв»<sup>1)</sup>.

### VIII

Шутливы и веселы, внешне спокойны эти люди, привыкшие к чувству вечной опасности, к постоянной упорной игре со смертью во имя «рокового долга».

«На столе, под стихами Ирине—письмо Спиридонову. В письме все тот же яд, упрятанный в твердость придуманных слов. Спеши, запоздавший охотник! Твоя цельная мужицкая натура выдержит соблазн обольщений. Ты же убил жандарма когда-то, явившегося на усмирение, за что и гулял на каторгу, ты мне pomoжешь расправиться с этим. С тобою, честным и простым, мне будет легче, как легко бывало люд песни заунывных пуль бродить по полю и замирать в огне ракет»<sup>2)</sup>.

Как утопающий хватается за соломинку, так и здесь эти беспартийные террористы каким-то подсознательным чутьем, не рассчитывая более на свою собственную крепость и выдержанность, поколебленные всеми обстоятельствами жизни в твердости своих намерений, схватились за своего единомышленника, солдата Спиридонова, этого отпрыска народной массы, отнюдь, казалось, не искушенного никакими сомнениями, действующего всегда прямо и непосредственно, напролом, ни о чем не задумываясь. И вот ему письмо, отчаянный зов: приезжай скорей, скорей, без тебя пропадем!

Представитель народной массы, замучтованный дисциплиной солдатчины, загипнотизированный фронтом, окопами и боями, должен был притти и подкрепить тех, кто в гибели вождя рабоче-крестьянской революции видели все то, что, по их мнению, должно было спасти Россию... от недостатков революции! И здесь внутреннее противоречие было налицо. Оно под действием всех обстоятельств жизни пролетарской революции в красной столице должно было претерпевать громадное потрясение и изменение и диа-

лектически притти к своей собственной противоположности. Неожиданный случай, как мы уже знаем из нашего рассказа, помог этому единственному «спасителю». Он на основе классового чутья, классовой солидарности, классовой чуткости превращается в свою собственную противоположность, делается «предателем» контрреволюции, сливаясь с рядами своего собственного класса, присоединяется к пролетарской революции и становится ее пламенным бойцом и защитником.

Вот оно что! Даже «люди, столь признанные в науках и государственной мудрости», — все эти теперь подмоченные авторитеты, тогда еще неизбежно стоявшие на высоких пьедесталах, — и они за убийство Ленина. Он слышит, он знает, что все эти кадеты, энесы, эсеры, члены учредительного собрания, деятели науки и искусств, «мужи мудрые», все они дуют в одну дудку: убить, истребить Ленина и большевиков и «спасти» «возлюбленное отечество» от этого нового надвигающегося «татарского ига».

«Как же думают здесь первейшие люди страны?» — задавал себе вопрос один из преданнейших контрреволюционных террористов. И этот «первейший» явился, очевидно, по зову Калитана, который, видимо, начинал замечать некоторые колебания среди своих солдат.

### IX

«Пришел Старый Эсер,—пишет наш автор.—Он сидит в зале у рояля, в кресле, поставленном на середину. Он большой, толстый, с одышкой. У него крупное лицо, немного сиповатый голос. Он в защитной меховой бекеше, меховая шапка в руках. Он с живостью, несколько подозрительной, и с видом беспокойным озирается по сторонам. Он похож на человека, немало дней живущего в великой тревоге и заботе. С другой стороны, он весь вежливость и внимание. Его чрезвычайная предупредительность выдает его смущение за то беспокойство, которое он причинил хозяевам своим посещением. Но в то же самое время он знает себе цену и производит впечатление человека,

<sup>1)</sup> Там же.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 2 и 4.

как бы слегка подавленного высокостью своих добродетелей, неоспоримостью своих революционных заслуг и высоким званием члена учредительного собрания»<sup>1)</sup>.

«Братва вся в сборе, и мы образуем вокруг него род внимательной аудитории. Его появление ново и многозначительно: не хотят ли дать некоторое политическое гражданство нашей самочинной боевой дружине, рожденной фронтом и наполненной очень неопределенным содержанием горячего желания бить большевиков и истреблять коммунистов? С этой стороны к делу подходя, появление Старого Эсера среди нас, конечно, событие важное. Через него мы как бы вырастаем на целую голову. Без него мы просто партизанская шайка, лихими налетами пытающаяся учинить неприятелю вред и существующая «самофуражировкой», через него мы регулярная действующая часть, нам даже дается нечто в роде наименования, и отселе мы будем входить в группу тех боевых частей великой армии спасения родины и революции, которые формируются и группируются вокруг Обуховского завода. А ведь если это армия, то ведь, наверно, в этой армии есть интендантская часть с ее провиантским и денежным довольствием.

Через Старого Эсера мы часть большого целого. Потому что, что бы ни было потом, а сейчас Старый Эсер рассказывает нам о районах, штабах, дружинах «в любой момент», о тысячах «по первому зову», об удивительной самоотверженности, о строго продуманной стратегии и о том, что стоит над всем этим, излучая из себя истоки государственной мудрости и твердой власти — Комитете. Это хорошо. Капитан молодец»<sup>2)</sup>.

Вот это действительно слияние душ! Смотрите на эту трогательную картину: эсеру нужно «пущечное мясо» нового терроризма, — ведь о терроре не говорят, а террор делают, — очевидно, вспоминает он старые заветы славной «Народной Воли», а потому... потому он сам, несомненно по повеле-

нию того изумительного «Комитета», который, по меткому замечанию автора записок, долженствовал «излучать из себя истоки государственной мудрости и твердой власти», жертвуя своим временем и сповыйствием, обшаривал все углы Петрограда, стараясь найти, сколотить «актив» своей «партии», хотя бы он и состоял из неизвестных фронтовых авантюристов и других столь же «почтенных» и «партийно выдержанных» людей.

Но не все ли равно было теперь этому пресловутому председателю учредительного собрания В. Чернову или совершенно обезумевшему Гоцу, или еще кому-либо из этой «стаи славных», кто за них будет делать их подлое дело.

Воспользоваться оружием явных контрреволюционеров, оружием белогвардейщины против революционеров другой партии столь же ужасно, отвратительно и подло, как воспользоваться оружием бандитов и уголовников. Но эсерам нечего было терять, ибо они уже растеряли все, — они играли ва-банк.

Но разве может эсер не похорохориться хотя бы для вида, не заплакать в жилет каждому встречному-попечечному о несчастной доле народной, которую он-то и призван неизвестно кем опекать и исправлять, не почваниться своим изумительным боевым прошлым, своими заслугами, партийными орденами и чинами для того, чтобы хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь, хоть каким-нибудь тряпьем и ветошью прикрыть свою политическую срамоту и полную беспринципность действий и убеждений.

«Когда все оперативно-деловое исчерпано и беседа становится оживленной, речь сходит на темы более приватные, — записывает автор записок. — Наш гость рассказывает нам о героическом пятом годе, о ссылке и тюремных невзгодах, о 1-й государственной думе, о долгих годах эмиграции, о том, как был он в Париже сапожником, и о многом другом. И хоть кажется мне, что говорит он об этом, как о чем-то заученном, зная меру эффекта, рассказами производимого, но все же от рассказов его, как от старых песен революции, горит и разгорается сердце».

<sup>1)</sup> Там же, стр. 10.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 11.



X

Подъем чувств продолжался недолго, а червь сомнения беспрерывно все точил и точил.

Сначала один—да еще один ли?—был полон сомнений, а теперь вот и другой зашатался, но, конечно, скрытно, почти невидимо для постороннего глаза.

«Вот этой улыбки, мой милый младший офицер, я раньше у тебя не видал,—думаю я,—пишет автор рукописи «Покушение». — Может быть,—продолжает он,—и тебя околдовала нечистая сила?»<sup>1)</sup>.

А кто же эта «нечистая сила»? Конечно, все тот же Владимир Ильич Ленин.

К покушению готовятся. Вырабатывают планы. Все ждут чего-то. Нервные. Сумрачны. Залихватски бесшабашны, пьют, флиртуют, играют на гитаре, а там в глубине все точит и точит все тот же червь сомнения.

«Третьего дня, как бродил вокруг его дворца, где он живет и где жили раньше институтки, бурей поднялось неодолимое желание видеть его. Все равно! И когда увижу, тогда узнаю все»<sup>2)</sup>.

Вот оно, неотступное желание: посмотреть, увидеть, а может быть, и услышать того, кого, «все» говорят, надо убить. Оригинальное, невиданное желание у террориста! «Быть может, увижу мертвого или, быть может, увижу тогда, когда глянут в последний раз смерть увидевшие глаза».

Так или иначе, но увидеть во что бы то ни стало. И разве не кажется вам, читатель, что в этом «быть может»... «увижу мертвого»... так много, так ужасно много трагического сомнения, что еще глубже шевелится лишь одно: увидеть живого, послушать, узнать, кто и что он? Куда, зачем и кого зовет?

«Кажется, что вот только увидал бы, и все будем ясным. Увижу и пойму. Увижу, и станет ясным все»<sup>3)</sup>.

Кто он? Вот вопрос, который стал неотступно, как древний рок, как сама судьба. И если ранее кругом шептали, что он враг рода человеческого, то те-

перь вдруг промелькнуло и ударило в самое сердце: «Или он глашатай новой правды, пророк нового царства?»<sup>4)</sup>.

XI

Душевные бури одолевали одного из тех, кто был постоянным и неизменным, надежнейшим членом военно-террористической контрреволюционной организации, которую так тщательно просвещал «толстый, рыхлый» эсер, многократно посещавший «Предбанник», эту конспиративную квартиру отчаянных заговорщиков, внешне связанных казавшейся строжайшей военной дисциплиной.

Тут были сомнения и глубокие, почти трагические переживания, а там «крот делал свое дело». Капитан—этот явный черносотенец и приверженец старого порядка — выбивался из сил, чтобы справиться с задачей и устроить покушение на Владимира Ильича во что бы то ни стало. Он пронюхал, что Владимир Ильич жила у меня на даче, отдыхая там, и так как по Смольному распространился слух, что я около первого января хочу поехать на несколько дней за город, то он сейчас же, узнав это через своих агентов, направляет в Финляндию подчиненного ему «Юнкера».

«Юнкеру ехать сегодня в Финляндию на ст. \*\*\*. Кто-то сказал, что Ленин бывает там иногда и на днях туда собирается на отдых»<sup>2)</sup>.

«Почем знать, — думается этому заматерелому черносотенцу, — может быть, там, «в Финляндии», что-либо удастся пронюхать». Но он не желает действовать в одном направлении. Его поиски, его разведка чисто по-военному ведутся в разных направлениях. «Действовать через Смольный, — о, это может стать делом чрезвычайно затяжным. В Смольном работать трудно, — признается он.—Вокруг Смольного очень ограничены возможности. Квартира Бонч-Бруевича гораздо удобнее»<sup>3)</sup> — мечтает он.

Сюда и был послан Спиридонов, и отсюда этот самый Спиридонов, вновь ро-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 18.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 9.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 9.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 9.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 5.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 3.

дившись, ушел, как уже известно, не в «Предбанник», а прямо в Смольный, в семьдесят пятую комнату, столь ненавистную тогда всей контрреволюции.

В Смольном у Капитана, — главаря этой «партизанской шайки» — работал «Технолог», на которого он то возлагал огромные надежды, то клял за его медлительность.

«Технолог все сулит и сулит, но он, Капитан, не думает, что от Технолога будет какой-нибудь толк...»<sup>1)</sup>

## XII

Таинственная личность этот Технолог. Придет время, когда мы всех действовавших здесь лиц раскроем по фамилиям, но я не могу не вспомнить, что около этого времени в Смольном вокруг помещений, занимаемых правительством, все вертелся студент-технолог, навязчиво предлагавший свои услуги. Он был эсером, конечно, называл себя левым эсером, которые в то время работали вместе с большевиками. И именно этой своей навязчивостью он показался мне весьма подозрительным, и я принял меры к тому, чтобы его не пропускали в помещение Совнаркома. Он нередко бывал во втором этаже Смольного, где в отделе прессы работала его родственница в качестве машинистки. В этот отдел всегда шло множество народа за всякими справками, и именно здесь этот технолог был часто наблюдаем агентами 75-й комнаты. Ничего другого сколько-нибудь подозрительного он не внушал, хотя и отмечен был у нас как крайне болтливый, излишне любопытствующий субъект. В настоящее время, сличая все обстоятельства, можно думать, что именно он подшпионивал в пользу контрреволюционеров, и весьма вероятно, что именно он и был тем «Технологом», который теперь фигурирует в этих документальных данных о первом покушении на Владимира Ильича. Во время расследования этого дела он не попался в наши сети, но вспоминается, что и в Смольном его больше не было заметно. Он неожиданно вновь появляется, когда расследование этого дела за-

кончилось и когда началась деятельная подготовка переезда правительства из Петербурга в Москву. В эти дни он стал проситься захватить его в Москву. Он объявил здесь о себе, что он левый эсер. К сожалению, он действительно был знаком с некоторыми левыми эсерами, имевшими прямой доступ к правительству. Несмотря на просьбы некоторых весьма в то время авторитетных товарищей из левых эсеров, я наотрез отказал взять его с собой в поезд, удалил его из Смольного и предложил ему более не являться к нам. Нельзя здесь не отметить, что эсеры, как теперь положительно это известно, подготавливали покушение на взрыв поезда, в котором переезжало правительство, и что им это не удалось более всего потому, что мы совершенно спутали эсеров отправкой целого ряда внеочередных поездов с различных станций Петрограда в Москву, и среди этой гущи пассажирских, товарных, воинских и иных поездов совершенно неожиданно с никому неизвестной железнодорожной площадки отошел правительственный поезд, в который я не взял сознательно ни одного левого эсера, так как слухи о готовящемся покушении до нас дошли, и я предполагал, что через левых эсеров, всегда имевших связь с другими группами своей партии, о нашем отъезде узнаю и правые эсеры, точившие зубы на молодое социалистическое правительство.

И вот неожиданно в «Предбанник» является Технолог, и «партизанской шайке», помазанной эсеровским миром, становится известным, что именно сегодня, первого января, «красногвардейцев провожают на фронт. Проводы в цирке Чинизелли. Ленин обещал там быть. Ждут к восьми часам»<sup>1)</sup>.

Сведения, принесенные Технологом прямо из Смольного и это неожиданное известие не могло не ошеломить всех конспираторов «Предбанника». У нас невольно является вопрос, каким образом этот Технолог мог добыть эти сведения в Смольном, когда все выезды Владимира Ильича были всегда обставлены в высшей степени конспиративно?

<sup>1)</sup> Там же, стр. 3.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 19.

Обыкновенно, когда Владимир Ильич желал выехать из Смольного, он всегда заранее уведомлял меня об этом. Мы минута в минуту подавали автомобиль — и почти всегда разных номеров — к одному из многочисленных под'ездов Смольного, при чем ни шофер и никто иной, кроме особо доверенных лиц, не знал, когда поедет Владимир Ильич, к какому под'езду под'ехать автомобилю и куда ехать. Все это сообщалось в самую последнюю минуту, совершенно незаметно и особо конспиративно. Первого января 1918 г. этими строгими правилами пренебрегли, оче видно, все сделали упрощенно, болтли во, и среди смольненских обывателей несомненно вскоре распространилась молва — куда, зачем и когда Владимир Ильич выезжает из Смольного.

### ХІІІ

Наступило время действовать фронтным террористам, приобщенным к своему лону эсерами.

После сообщения Технолога и деятельных распоряжений Капитана все зашевелилось. «В «Предбаннике» казарма, — пишет один из участников покушения. — В серых шинелях, одевающиеся и одетые, сидят и ходят, готовят оружие и пьют коньяк»<sup>1)</sup>.

«Я сел в угол, в кресло у зеркала, и, готовый и одетый, с чувством обычной пустоты, стал ждать приказа о выступлении»<sup>2)</sup> — рассказывает один из наиболее вдумчивых и чутких участников этой организации.

Наконец, приблизился решительный момент. Выработан план действия. Роли разобраны.

Все тот же Старый Эсер самолично присутствовал на квартире, когда вся эта «партизанская шайка» спешно одевалась и выходила «на работу».

«Я видел, — записывает автор цитируемой нами рукописи, — как Старый Эсер тихонько попрощался с Капитаном и вышел. За ним вышли и остальные»<sup>3)</sup>.

Эта пресловутая партия во время Октябрьской революции все делала

«тихонько». Исподтишка натравливали они на главу советского правительства первого января 1918 года армейскую молодежь; исподтишка подталкивали они Каплан, стрелявшую во Владимира Ильича 30 августа 1918 г.; тихонько — петушком, петушком! — прокрадывались они во всевозможные белогвардейские правительства, пока их не выгоняли оттуда вон; и также исподтишка поздней, уже за границей, вышвырнутые могучей волной пролетарской революции из пределов «возлюбленного отечества», входили они в преступную уголовную и шпионскую связь с контрразведками европейских фашистских правительств, продавая себя, как истинные политические проститутки, направо и налево до тех пор, пока спрос на них совершенно иссяк, и когда, наконец, на все вопли «председателя учредительного собрания» о том, что он хочет кушать, окончательно перестали обращать всякое внимание, грубо отказывая даже в самых малейших подавниях и милостивых об'едках со стола всесветных политических прожектеров и авантюристов.

### ХІV

«Капитан с Технологом уехали первые»<sup>1)</sup>.

«Шагом марш! — выпаливает Макс. — Капитоньч, дерябнем напоследок по единой»<sup>2)</sup>.

И все двинулись. Куда? Зачем? Что это: вылазка из окопов? Разведка? Нет, это одно из проявлений только что начинавшейся, никем не об'явленной самочинной гражданской войны. После свержения правительства Керенского еще ни разу не открывался огонь. Теперь вот оно, начинается. Военщина, благословляемая эсерами, первая подняла руку против правительства диктатуры пролетариата, и, само собой понятно, рука эта должна была быть отсечена...

— Эх, ночка разбойная, лучшей ночки не найти, — мечтательно восклицает один из деятельных участников покушения.

— Да, Макс, лучшей не выдумаешь,

<sup>1)</sup> Там же, стр. 16.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 18.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 14.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 20.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 19.

— подтвердил другой, взявший на себя исполнение нападения на вождя пролетарской революции.

Как хотите, но это восклицание характерно для группы этих лиц, выступивших против советской власти, явно ничего общего не имевших с великим подъемом масс Февраля и Октября.

## XV

Вот и цирк. Огромная толпа народа. Все гудит, все ждут. Заговорщики собралась в условном месте за цирком.

«Капитан говорит как нужно действовать:

— Убьем, когда будем уезжать с митинга. Стараться из револьвера, чтобы не побить народ. Если не выйдет, — бомбу. Всем делать нечего. Двое, — остальным со мной, — помочь или выгнать. До времени не уходить. Живым в руки не даваться»<sup>1)</sup>. Читатель, давайте твердо запомним этот план действия. Это нам необходимо.

«Пошли каждый на свое место. Подвинулись ближе к цирку.

Вот автомобиль какой-то, с улицы свернув, нырнул в ухабе и двумя огненными пальцами указал на цирк.

— Едет!

Шаркнулась, сомкнулась, сдавила толпа.

— Товарищи, не напирай!

Автомобиль остановился и толпу расчистили.

— Осади!

Меня в грудь давит красногвардеец, сзади давит толпа.

Кто-то трое вышли из автомобиля и по очищенному проходу вошли в цирк.

Я рванулся и прорвал оцепление. Толпа сомкнулась. Ее задержали у входа.

Но я уже в цирке.

Красногвардеец, маленький и коренастый, в пиджаке, перетянутом под сумкой, с винтовкой, кажущейся непомерно большой, ухватился за полусубок.

— Товарищ, нельзя.

Но я вырвал из рук его конец полы и крикнул:

— Я комиссар!

Мой вид и тон говорили о том, что он жестоко ошибся, задержав меня, и что разговаривать с ним мне совершенно неинтересно, красногвардеец дал дорогу.

Бегом направился дальше.

Слабо освещенная внутренность большого, незнакомого цирка. Купола не видно, от редких ламп и сверху — черпый провал.

В цирке пустынно. Посредине трибуна, украшенная красным, и перед трибуной развернутый строй небольшой красногвардейской части»<sup>1)</sup>.

Народ валил. Цирк наполнялся, и все кричали, приветствуя того, кто приехал.

«А на трибуне среди каких-то незнакомых людей стоит человек.

— Он!

Разве я могу не узнать его сразу? Плотный. Городское пальто. Руки в карманах. Шалка.

Он стоит, как человек, которому кричат «ура» и который не может в этом крике принимать участие.

Он стоит величественно и просто.

Он улыбается и терпеливо ждет»<sup>2)</sup>.

## XVI

Так вот совершилось: контрреволюционный террорист, «взявший на себя» убить Владимира Ильича, наконец, увидел того, кого так страстно жаждал видеть, чтобы сразу все понять.

«И то были минуты, когда на смену обычным чувствам, — записывает тот, кто взял на себя убить Ленина, — явились какие-то особенные»<sup>3)</sup>.

И все кругом было особенное. Люди вдруг воспламенились, точно сердца их сомкнулись одним током, все слилось в один бурный и неуправляемый восторг чувств, лившихся от сердца к сердцу непрерывным бурлящим потоком.

«Люди в шеренгах кричат и кричат и не хотят остановиться, и тянут «ура», как молитву, и молитва растет, и дух величайшего одушевления царит над этой кучкой и над этим человеком в незнакомом полусвещенном цирке. И

<sup>1)</sup> Там же, стр. 22.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 23.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 23.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 21.

я слышу, что я тоже кричу. Не рот раскрываю, как нужно делать, чтоб видели другие, что кричу, и не думая худого, а нутром кричу, потому что кричится, потому что не могу не кричать, потому что забыл все, потому что рвется из нутра что-то неударное, стихийное, помрачающее рассудок и рвущее душу, и какая-то сила неведомая подхватывает и несет, и кажется, нет ничего, и только ощущение захватывающего простора, беспредельной шири и безграничной радости»<sup>1)</sup>.

Но ему нужно видеть его ближе, взглянуть ему в лицо, встретиться глазами, и здесь все должно решиться: ведь он именно тогда «все узнает». И он, борясь со всеми, преодолевая препятствия толпы, стремится все ближе и ближе туда, к трибуне, и, наконец, он у цели: сейчас все решится.

«Я вижу совсем близко от себя доброе и простое лицо, улыбающееся мне лицо, и глаза, горящие нежностью и любовью...»<sup>2)</sup>

И несомненно именно здесь, именно вот сейчас все решилось.

Вот все стихло.

«И тогда человек в пальто стал говорить.

— Не помню ни единого слова,—записывается в рукописи,—из сказанных им тогда. И в то же время знаю, что каждое из слышанных слов тогда ношу в себе...»<sup>3)</sup>

## XVII

А там на улице, кто не вошел в цирк из этой «партизанской шайки», по команде Калитана занимают сторожевые места и спокойно подготавливаются к назначенному злодеянию.

Вот и он, «взятый на себя», тут же на улице, за цирком. Он должен убить того, кого обрекли на смерть его товарищи. Он опять полон решимости. Чувство «долга» перед товарищами, бравада офицера, гордого своим превосходством над другими,—ведь именно ему поручил Калитан «взять на себя» его, Ленина, ведь не кому-либо иному, а именно ему поручили столь ответственное дело. Он ли, пренебрегавший

всякими опасностями на фронте, не выполнит то, что взял на себя здесь в Петрограде и что так возвышает его в глазах товарищей, в глазах Ирины и всего того маленького мирка, в котором он столь замкнуто вращался. И он идет, идет героем, и душевное состояние его повышенное, почти блаженное.

«Я не сумею,—пишет он,—подлинно передать то состояние, в котором я тогда находился, потому что это было состояние чего-то совершенно неизведанного и необычного. Это было состояние какой-то великой радости, чего-то найденного, и состояние необычного душевного напряжения, страшной душевной силы, способной на все. И я знал и видел—сейчас я убью его. Знал, что сейчас убью его, и не было ни страха, ни колебаний»<sup>1)</sup>.

Так внешне думал тот, кто должен был совершить «взятое на себя». Нельзя не совершить! А там внутри, глубоко, идет своя работа, и неотступно смотрят «улыбающееся лицо и глаза, горящие нежностью и любовью»...

Тут борются два: старое и новое, и в эти страшные, спокойно-жуткие минуты тот, кто «взял на себя», еще не знает, еще не чувствует, что он уже в плену, что не даром, «как молитву», пел он — и не мог не петь — приветственный восторг и ликование вместе с красногвардейской частью.

Он еще сопротивляется, бьется, делает последние усилия, распоряжается другими и самим собой, а тот, другой, работает и работает, разрушая в нем самое все то, что казалось таким крепким, цельным, обязательным и безусловно повелительным.

«И я говорю, и голос мой тверд.

Сейчас мы его ликвидируем. Из револьвера можно промахнуться, а бомбу кидать у подезда неудобно, побьем напрасно много людей. Мы его остановим и убьем на мосту через Мойку. Этого моста ему не миновать. Я это сделал сам. Но нужно автомобиль задержать и нужно его не прокараулить. Поэтому мы должны поставить посты в разных местах, на поворотах пути, чтоб первый, проследив, как сядет, дал си-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 23.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 23—24.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 24.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 24.

гнал второму, второй — третьему, чтобы нам на мосту не прозевать и не ошибиться. Макс, Капитан и Сема со мной, остальных мы выставим дозорными. Так? Согласны. Капитан согласен вполне<sup>1)</sup>.

Видите, какая перемена. Он, «взявший на себя» и «совершенно твердый» в своем намерении, — уже не подчиненный Капитану. Он сам командир и командует Капитаном. Вот он, переполненный «душевной силой, способный на все», он сразу меняет план действия, совершенно забыв, что «при переправе через реку лошадей не меняют посередине реки». Он вдруг осенен гениальной мыслью, что можно убить только там, подалее от народа, в темном переулке, а здесь страшно, боязно и промахнуться можно, и народ перебежешь, а потому... рассеем весь отряд! Храбрых и решительных, а в том числе и Капитана, который знает, что делает, отвлечем подалее туда, к мосту, запрежем его в темноту, и Сему, помощника своего, тоже туда, а остальные пускай подадут сигналы в ревущей толпе: свистят, гудят, — как хотят — лишь бы не прокараулить». Гениальный план! И так все просто и убедительно, что никто не возражает, а все мгновенно согласны. И сейчас же скорей за дело, все — на свои углы:

«Капитонич — у автомобиля.

Моряк — на первом повороте.

Технолог — как выйдет автомобиль из-за угла.

Капитан и Сема — у моста.

Я с Максом — на мосту<sup>2)</sup>.

Не тот ли другой, который властно вселился в сознание и того, кто «взял на себя» это «дело», и того, «младшего офицера», у которого «улыбка стала другой», так успешно работает здесь и повелевает тайными движениями сердца этих боевых людей, заставляя все делать так, что шансы на успех этого покушения, несмотря на всю эффективную видимость, с ясной очевидностью уменьшаются благодаря распоряжениям главного действующего лица.

Мы думаем, мы уверены в том, что все то, что слышал и видел там в цир-

ке «взявший на себя» убийство Владимира Ильича, не могло не ошеломить его и еще более углубить его сомнения, которые проявили себя в этом неожиданном новом плане покушения, совершенно ином, чем был утверждён и приводим уже в исполнение повелительным и твердым Капитаном.

«У твердокаменного Капитана могут размякнуть солдаты<sup>1)</sup>» — несколько раньше воскликнул герой этой драмы. И «не размяк» ли он сам вот здесь, в цирке, когда «пел» вместе с народом «молитву», когда заглянул в эти чарующие, притягивающие глаза Владимира Ильича, горевшие «нежностью и любовью?»

### XVIII

«Гуман, ночь, минуты — вечности.

Но что легло там огненное через площадь? Это тот автомобиль! Пусть не будет фонарей сигнальных, я знаю — это тот!

Автомобиль свернул к мосту.

Сюда!

Кто-то бежит за ним.

Автомобиль у моста.

На мосту.

Фонари легли по мосту. Вот Макс, вижу его в свете фонарей.

Он машет руками.

Сейчас!

Автомобиль идет, — бомбой, только бомбой.

Кидаюсь вперед, — автомобиль медленно.

Почти касаюсь крыла.

Он в автомобиле.

Он смотрит, в темноте я вижу глаза его.

Бомбу!

. . . . .

Но почему автомобиль уходит, а бомба в руках?

— Макс, Сема, Капитан, — ночь темная, бомба в руках моих!

Вот я вижу и знаю, что бомба в руках и автомобиль уходит и что нужно бомбу кинуть, и чувствую весь ужас того, что не делаю этого и не могу это делать. Словно кто связал по рукам и ногам.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 24—25.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 19.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 25.

Словно вдруг вся земля, все небо, все люди, все дома страшной силой сразу сковали железом руки, ухватили тысячами клещей, и я нечеловечески силюсь и не могу порвать, не могу разжать, выйти из оцепенения...»<sup>1)</sup>

И тот другой, чьи глаза светились «нежностью и любовью», победил и здесь на этом странном и неожиданном фронте.

Все кончено!..

И тут только понял Капитан, что он проиграл сражение. Солдаты его «размякли», он не мог в этом не убедиться, и он открыл одинокую стрельбу.

## XIX

«Вдруг выстрел.

Стреляет Капитан! Капитан дает сигнал! Капитан не отпустит.

Капитан помог. Выстрел Капитана толкнул. Выстрел ударил.

И сразу и ночь, и туман, и уходящий автомобиль прониклись ужасом того, что я сделал.

И снова выстрел Капитана, и я слышу, как ударила пуля в кузов. Капитан стреляет.

Что я наделал, я не бросил бомбы!

— Макс, голубчик, выручай!

Не видно Макса.

Я выхватываю наган и, стреляя, бегу за автомобилем.

Что это? Автомобиль остановился! Я не верю глазам своим.

Нагнать и бросить бомбу!

Бегу.

Но нет, автомобиль не остановился. Это просто сообразительный шофер сзернул машину в переулок...»<sup>2)</sup>

Так закончилась эта драма, чуть было не стоившая жизни Владимиру Ильичу.

## XX

Следствие быстро выяснило значение этой контрреволюционной организации, которая не была важна сама по себе, ибо не имела под собой никакой почвы, однако, нам совершенно было ясно, что элементы гражданской войны нарастают, что и нам необходимо спешно еще более мобилизоваться и

укреплять свои позиции и на удары отвечать ударами в сто раз более крепкими, дабы отбить охоту к дальнейшим выступлениям против советской власти.

По логике вещей, все главные виновники покушения, конечно, должны были быть немедленно расстреляны, но в революционное время действительность и логика вещей делают огромные, совершенно неожиданные зигзаги, казалось бы, ничем не предусмотренные.

Когда следствие уже было закончено, вдруг я получил депешу из Пскова, что немцы перешли из пассивного состояния, двинулись в наступление. Псков был взят, и немцы стали распространяться дальше по направлению на ст. Дно, на Петроград. Все дела отпали в сторону. Принялись за мобилизацию вооруженного пролетариата для отпора немцам.

Как только Владимиром Ильичем было опубликовано его изумительное воззвание «Социалистическое отечество в опасности», из арестных комнат Смольного пришли письма покушавшихся на жизнь Владимира Ильича, просивших отправить их на фронт на броневиках для авангардных боев с заседавшим противником.

Я доложил об этих письмах Владимиру Ильичу, и он, всегда забывавший о себе, наложил резолюцию: «Дело прекратить. Освободить. Послать на фронт».

И вот те, которые еще вчера были у нас под следствием и сидели арестованными, ожидая расстрела, сделались нашими ревностными сотрудниками и из всех сил спешили оборудовать первые бронепоезда, дабы броситься в головной ударной группе в атаку на немцев.

И они хорошо выполнили возложенное на них.

Двое из них и по сие время работают на советской службе. Один, кроме того, литераторствует, и от него мы ждем дальнейшего рассказа о всем этом событии. Третий уехал за границу и там белогвардейски беззубо шипит, обнаружив все свое гаденькое нутро.

Так закончилось это дело о первом покушении на жизнь главы молодого советского правительства — на жизнь Владимира Ильича Ленина.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 27.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 27—28.

# Люди и факты

1. А. СОКОЛОВ. Великие будни. — 2. Бор. АНИБАЛ. Преступление работницы Прасловой. — 3. Н. ШПАНОВ. Северные очерки.

## 1. ВЕЛИКИЕ БУДНИ

А. Соколов

Степь. Только на далеком горизонте маячат синие точки — редкие селения. С юга, со стороны казацкой грани, дышит суховеем, сушит громады девственных залежей. Задумчивый курган — свидетель седых веков — обозревает степную гладь.

До сих пор один только ветер был здесь хозяином. Лишь недавно сюда ворвалась новая сила — машина, и... 4—5 месяцев изменили до неузнаваемости степь, открыли новый смысл в ее необъятном просторе...

Бузулук — неказистый степной городок — необычно бурливо кипит. Нарушая сопением и грохотом сонную тишь его улочек, десятками ползут в степь машины. То и дело мелькают забрызганные кузова автомобилей. Солнце начинает старательно припекать, рассыпаясь веселыми блестками в мутных уличных ручейках.

Поезда ежедневно выбрасывают на платформу грязного вокзальчика новые пачки разных грузов и людей. Странные люди, и грузы странные. Таких Бузулук еще не видал со времени своего основания. Машины, машины. Некоторые из них — «Клейтраки» — напоминают танки. Кому пришлось побывать на фронтах, вспоминают, как машины на таких же гусеницах сеяли вокруг себя смерть. Назначение же этих гусениц здесь иное: они должны сеять в степях новую культуру.

Затем громоздкие, пузатые, точно опы на антирелигиозных плакатах, «Ойль-Пули»; живые, подвижные «Интернационалы»; многоядные гладкоотполированные сеялки; тысячи пахнущих свежей краской дисков Бехера и Сакка; легкие «Форды»; тракторные тележки — безмоторные грузовики; десятки цистерн с горючим и смазочными веществами; гессенские палатки.

Сотни тонн грузов ежедневно загромождали станционную платформу. Потом все это исчезало, словно проглоченное степью.

Бузулукское население первое время толпилось на станции, с жадным любопытством встречало прибывающие поезда, удивленно рассматривало машины, шупало, восхищалось. Затем все это стало привычным. Лишь, когда по улицам проходила колонна еще невиданных машин, у калиток собирались кучки зевак.

Но главное оживление внесли люди, так непохожие на медлительно-постылых обывателей глухого провинциального городка. У всех этих новых людей торопливые движения, во всем у них спешка, точно какая-то сила изнутри их подгоняет: скорей, скорей, — время теперь — ураган. Лица — изрезанные сеткой морщин и молодые, свежие с пробивающимся первым пушком. Все озабочены, у всех эта лихорадочная целеустремленность.



По небольшой табличке у крыльца нахожу штаб зерносовхоза № 3—Андреевский. Но и без таблички мимо него не пройдешь. Точно на параде, перед штабом проходят различных систем машины. Далеко по улице разбросаны еще нераспакованные ящики, кузова автомобилей, баки для горючего, разобранные плуги и бороны. Вокруг всего этого снуют измазанные, покрытые копотью рабочие, трактористы в комбинезонах и люди в форменных фуражках и роговых очках. У тех и у других порывистые движения, но без излишней мешающей делу суеты.

В штабе людно, накурено. Стены пестрят разноцветными диаграммами, графиками и планами. Столы завалены образцами частей машин и орудий. За одним из свободных столиков сидит человек с обветренным лицом в глянцевиной кожаной тужурке. Он что-то отмечает в небольшом блокноте. Высокий, плотный человек, сидящий напротив, перебирает стопку бумаг. То и дело он нервно поглаживает свой широкий лоб, затем проводит рукой по волосам, уже посеребренным годами, и переводит руку на левую, точно пергаментную, давно небритую щеку. Этот комбинированный массаж он каждый раз продельвает автоматически точно. Вокруг стола топчутся люди, видимо, рабочие. Я обратился к одному, не знает ли он, где мне найти директора Усманского зерносовхоза.

— А вот он самый и есть, — указал он на человека в тужурке.

Вглядевшись пристальней, я заметил легкую припухлость вокруг глубоко засевших глаз директора. Видно, недосыпает человек. Глаза эти остро ощупывали собеседника. Тот, видимо, чувствовал себя довольно неловко под этим сверлящим взглядом.

— Кто этот другой?

— Усманский инженер-механизатор. Я протолкнулся поближе к столу.

— Предупреждаю в последний раз, — в такт словам директор пристукивал карандашом по столу, — таких распоряжений не делать без моего ведома. Я не допущу никакого хаоса в работе. Четкость и опять четкость!..

Инженер под ряд два раза проделал свой массаж.

— Вы правы, Тихон Михайлович, — сказал он, — но, тем не менее, все 32 «Клейтрака» уже размещены по участкам, 10 «Ойль-Пуль» все на месте, 110 больших и малых «Интров» у меня в готовности...

— А насосы достали?

— Нет еще, я...

— Закупить немедленно в Самторге все наличие насосов!

Инженер поднялся, собрал бумаги и быстро ушел.

Я объяснил цель своего приезда. Директор внимательно выслушал, глядя на меня в упор.

— Ага, правильно. Это штука благодарная; дело наше новое, размах небывалый. Надо все это отобразить, надо; хорошо — покажите; сядем в галошу — кройте нас по всем швам, чтобы кости хрустели. На то и печать! Только вот что, голубчик: здесь, видишь, какая толчея... Мы тут в роде сбоку припеку. Я свой штаб отправил к месту действия. Ты где остановился? В «Московских»? Хорошо. Через час жди меня, там и потолкуем...

Ровно через час он пришел ко мне в «Московские номера», сел в кресло и устало потянулся:

— Ну, спрашивай.

Скоро я узнал биографию этого руководителя нового хозяйства, в два раза превосходящего по своим размерам хозяйство крупнейшего американского фермера Кемпбелла. Бывший батрак, подпольная партийная работа в царской армии во время войны, революционные фронты, комиссар по ловле контрреволюционеров после взрыва 25 сентября 1919 года в Леонтьевском переулке, опять фронты, с 1922 года комендант по охране сахарных заводов на Украине, потом администратор восстанавливающихся и восстановленных сахарных заводов. Краткая, но яркая биография одного из исполнителей многотрудных революционных заданий, в повседневном, порою сверхчеловеческом, упорстве получившего закалку и выработавшего в себе навыки самостоятельно нажимать соответствующие рычаги и регу-

лировать пар гигантской машины, именуемой строительством.

Вдруг в номер вбегает заведующий центральной мастерской совхоза, старый механик. Массивный корпус как-то неуклюже сидел на его коротких, толстых, немного искривленных ногах.

— Товарищ Кауров! С гайками к прицепам зарез. Нет двухдюймовых.

Сухое лицо директора слегка передрнулось.

— Товарищ Колебякин, — приказал он, чеканя слова, — чтобы к послезавтра были гайки ко всем прицепам! Понятно?

Механик задумчиво почесал широкие запыленные ладони о край стола, оглядел свежую припухлость на глазах директора и ответил тихо:

— Понятно.

Затем немного помялся:

— Товарищ Кауров! Вы уж отпустите меня в Москву, справлю, что нужно, а к началу сева как раз и вернусь. Даю честное слово...

Директор немного подумал:

— Нет, — сказал он, — не могу тебя отпустить ни на час. Сам знаешь: помощники твои — хорошие ребята, но положиться на них не могу, а до сева еще куча дел. Вот после кампании — поезжай... Да ты не обижайся, дай, старина, руку. Войди и в мою шкуру...

Механик торопливо вышел из номера.

— Мастер отменный, — заметил директор, — на редкость. И мужик хороший, да вот удрать хочет, — не по силам нагрузка. Насилу удерживаю, нечем заменить. А так, надо сказать, армия у меня надежная: 160 комсомольцев и 60 членов и кандидатов партии. Крепкое ядрышко — не подведет...

Пришел инженер-механизатор растроенный.

— Тихон Михайлович! Ведь это сплошное безобразие — начальник станции задержал кислоту, не пропускает большой скоростью. Опирается на инструкцию...

Кауров резко поднялся, прошелся по номеру и повернулся ко мне:

— Хотел бы я знать, где предел чиновничьему формализму? Нет кислоты для зарядки аккумуляторов. Я бросил-

ся на военный завод. Выручила братва, отпустили мне 60 кило. Теперь вот начальник станции не пропускает. У него, видишь ли, какая-то инструкция. А у меня, черт возьми, 14 «Клейтраков» стоят без действия. Что важнее: инструкция или «Клейтраки»? Эх, человек!

К инженеру:

— Строчите отношение в ГПУ. Кислота должна быть доставлена с максимальной скоростью!

Когда инженер ушел, директор взял папироску, закурил и глубоко затянулся.

— Мелочи, — сказал он, — все мелочи, а из-за них вот четвертые сутки спать не приходится. Усамский совхоз должен дать в этом году 150 тысяч центнеров чистосортного зерна. Понимаешь, должен! А то ведь трудно в зародыше угробить самую идею зерновых фабрик. Неприятель много. А тут... Правда, и поддержка есть и полное сочувствие. Все же на каждом шагу патыкаешься на чиновника. К тому же дело новое, опыта у нас — кот наплакал. Спасает положение, что подбор ребят у меня удачный, с энтузиазмом берутся за дело. 320 трактористов — один к одному. Вот технический персонал — не скажу, что целиком на высоте. Я недавно аппарат свой маленько подчистил. Но есть еще, есть отдельные чуждые экземпляры — и при правлении и на участках. Только гляди да оглядывай, чтобы какой-нибудь из них такой свиньи не подложил...

Распутница порвала связь между штабом совхоза и участками. Река Самарка разлилась. Степные балки переполнились водой. Пробраться на участки можно только с большим риском.

Проходит день, два. Совхоз отрезан от Бузулука — базы снабжения. Инженер-механизатор все повторяет:

— Как быть? Уширительные ободья еще не отправлены, кипятильники здесь, часть борон «Лина». Товарищ Колебякин, надо отправлять, надо.

— Куда? — спрашивает старик, щуря глаза с нескрываемой иронией.

Инженер быстро проделывает свой массаж. Обращается к директору:

— Тихон Михайлович, что делать? Главное, уширители...

Директор смотрит в окно. Только кое-где остались побуревшие снежные плешины. Солнце окрасило охрой противоположную стену. По разбитому деревянному тротуару бродит тощая корова. Двое мальчишек брызгают в нее водой из канавы.

— Завтра я поеду верхом на разведку, — говорит директор, — не может этого быть, чтобы совсем не было дороги.

Механик предостерегает:

— Старожилы говорят, что в эту пору для степной балки проглотить коня с седоком — пустяшная закуска.

— Все равно, надо ехать. Веселая картинка: сидеть тут прикованным и ломать голову, как там...

Точно в ответ, у крыльца «Московских номеров», где происходило совещание, остановился всадник, прыгнул с лошади и, прихрамывая, направился в номера.

Все обрадовались:

— Жиркин, парторганизатор. Молодец! Как он продрался?..

В номер вошел смуглый коренастый парень в кубанке. Вода с него стекала струйками. На полу быстро образовалась лужа.

— Ты это как ухитрился? — спросил, здороваясь с ним, директор. — Да садись... ладно, не сахарное, не растает.

Жиркин заговорил с легкой хрипотой:

— Ну, и дорожка! Два раза тонул. Еще пень какой-то в воде подвернулся — ногу разбил. Дайте-ка, взгляну.

Он с усилием стянул правый сапог. Мокрая портянка была окровавлена.

Кожа у ступни оказалась содранной, а нога опухла...

— Все в порядке, — рассказывал Жиркин, закусывая. Настроение ребят боевое. Можно бы и начинать. Машины мы испытали — все в исправности. Только в одном большом «Интре» грайфа сломалась, а в «Клейтраке», который замороженный пришел, лопнули цилиндры. С питанием вышла заминка. Посуда в Алексеевке застряла.

Кооператор нам, Голутва, прохлопал, не успел во-время вывезти. Как подсохнет, соберем комсомольскую конференцию. Надо дать ребятам зарядку до сева.

— А ты зачем приехал? — спросил директор.

— Уширительные ободья надо вывезти. Время-то какое — час от часу сушит. При такой погоде через неделю придется в поле выезжать, а тут еще не знаем, как уширители налаживать.

— А как по-твоему везти? — заинтересовался механик.

Жиркин подумал:

— Этого я и сам еще не знаю. Ты, Кауров, как решил?

— Надо пробраться завтра на пятый участок и выслать «Клейтраки» с тележками.

— Ничего не выйдет, не проедут. Я сделал круг верст на двести. Где были плевые овражки, там теперь омут. Вплавь перебирался, благо лошадь хорошая, попалась. Утром сегодня в одном овраге захватило, думал — крышка, насилиу выкарабкалась. Нет «Клейтраки» не пойдут.

— Как же иначе?

— Нельзя ли на верблюдах? Полсотни верблюдов здесь найдем.

— А верблюды провезут?

— Вьюками пронесут.

— Верно, — согласился директор, — ты пока ложись, отдохай. Я пойду узнавать насчет верблюдов. А ты, Колбякин, мобилизни своих мастеровых, пусть связывают уширители по две пары. Кстати, как нам самим выбрать-ся?

— Только на Богатое. В Павловке у нас еще порядочно груза застряло. Там решим, как его перебросить на первый участок пока. На Самарке ледоход, кажется, уже прошел.

— Значит завтра едем...

Я остался с Жиркиным.

— Ты приехал из центра? — спросил он, раздеваясь. — Писать будешь про нашу работу? Это хорошо. Ты обрати внимание на наших ребят. Пришли, которые из деревни, еще и железной дороги не видали. Серые до чего, прямо обидно становилось за се-

рость за ихнюю. А тут у нас на курсах за полтора месяца так переварились, что и не узнать человека. Совсем другая психология и повадки другие. Великая сила — машина. С нею мы, товарищ дорогой, вмиг два-три столетия оставим позади. Да-а...

Рано утром в степь вышел караван верблюдов, нагруженных уширительными ободьями. На самых высоких между горами мерно, в такт верблюжьему ходу, покачивались пять проводников. Через полчаса мы втроем — директор, Жиркин и я — поехали поездом на станцию Богатое, чтобы оттуда, через село Павловку, попасть на первый участок зерносовхоза.

Павловка — большое хлебное село, красиво расположенное на холме, обрывисто сползающем к реке Самарке. Прошлой осенью здесь была открыта участковая ремонтная мастерская совхоза. В мастерской производилась сборка машин, прибывавших на станцию Богатое. Станция расположена в полкилометре от села.

Приехали мы в Павловку вечером и остановились на ночлег в квартире заведующего мастерской № 2 Демехина. Его самого не было дома, — погнал вместе с двадцатью трактористами и инструкторами «Клейтраки» на участок.

Из разговоров с рабочими мастерской выяснилось, что в течение зимы они провели в селе большую работу. Долго Прокофьев рассказывал, как они организовали борьбу против кулаков. Из его манеры строить фразы видно было, что парень он развитой и привык говорить.

— До нас здесь было полное засилье кулачества. Кулаки вертели селом, как хотели. Не чувствовалось, что где-то за пределами села существует советская власть, которая строит жизнь как-то по-иному, добывается перерождения деревни. Беднота была запугана. Советские организации были в руках кулаков. Партийной ячейки не было. Комсомольская ячейка влачила жалкое существование, тоже подпала под кулацкое влияние.

Когда мы явились, кулаки сразу же почувствовали в наших рабочих

серьезную угрозу. У нас же больше всего батраков и бедняков. И на курсах еще получили хорошую шлифовку. Вот на собраниях кулацкие заправили лишали нас права голоса.

Подшли подошли перевыборы в сельсовет. Кулаки, по примеру прошлых лет, были заранее уверены в своей победе. А мы тут начали спешно обрабатывать бедноту. Во время перевыборов решили дать кулакам бой. С большим трудом нам удалось добиться роспуска кулацкого избиркома и создать комиссию из представителей бедноты и части середняков. В результате 160 кулацких семейств очутились в списке лишенцев. Никогда еще село не видело таких перевыборов, как на этот раз. Особенно беднота с нашей поддержкой проявила такую активность, что кулацкой группе оставалось только ляскать зубами.

Сельсовет мы отвоевали. Как раз подспела кампания по самообложению. Такое здесь получилось обострение, что нам пришлось выставить усиленные наряды для охраны машин. Ночью у нас в охране стояли исключительно партийцы и комсомольцы. Долго ли отвернуть магнетто и вывести машину из строя. Дело нешуточное — одних лишенцев 160 семей, а сколько они еще за собой ведут!..

За зиму изменилось лицо села. Все сельские организации подверглись осповательной встряске. Открыли избучитальню. Приучили мы публику и газетку почитать и книжку. А до нас только и знали, что пьянку и мордобой...

Утром мы остановились на берегу Самарки. К нам присоединились Прокофьев и второй бригадир, рыжий детина, намеченный парторгом на третий участок. Река быстро несла льдины. На ходу они трескались. Лодку-баркас сразу умчалось вниз по течению. Усилиями трех перевозчиков она была направлена к противоположному берегу. Два других мускулистых парня длинными баграми отталкивали насклизывавшие на борта льдины. Наконец, лодка врезалась в тонкую пленку прибрежного льда.

Трехкилометровый путь от реки до ближайшего села Андреевки занял около четырех часов. Далеко обходили затопленные балки. То-и-дело приходилось делать поистине акробатические прыжки.

В Андреевке лежало много совхозских грузов в ожидании, когда их можно будет развести по участкам. Пока же тракторами перебросить грузы было невозможно, а крестьяне ни за какую плату не соглашались везти, хотя бы и вьючным путем на верблюдах.

Здесь мы достали лошадей и верхом направились на первый участок — около 30 километров. Впереди на приземистой степной лошадке крестьянин-проводник.

Далеко впереди вырисовывались багровые от заката контуры селения. Поселок Нижняя Паника. Здесь помещаются трактористы и инструктора, прикрепленные к первому участку. Экономия участка находится в трех километрах от поселка.

В какую избу ни заглянешь — только и слышишь: дифференциалы, коробки скоростей, реостаты, карбюраторы и другие термины, мало понятные человеку непосвященному. Точно вы находитесь не в крестьянском, а в чисто рабочем поселке крупного машинизированного предприятия, где все рабочие заняты подготовкой предложений о техническом улучшении процессов работы. А риги, амбары, лапты, рева и бляеные скота — все атрибуты мелкого земледельческого хозяйства — уже кажутся здесь чем-то посторонним, неуместным.

Поздно вечером приехал верхом с третьего участка Демехин. У него высокая кряжистая фигура и сухое бронзовое лицо. Рабочий-металлист.

Дирекция поручила ему в самом начале распутицы перебросить «Клейтраки» из мастерской на три участка совхоза. Ждать было некогда: начало сева предполагалось не позднее 20 апреля, а машины были получены только 10 апреля, — хотя бы за неделю до сева машины должны были находиться на участках, иначе пришлось бы вый-

ти в поле без предварительных маневров.

Скоро собралась парт'ячейка первого участка. Первым вопросом повестки дня было сообщение Демехина, как он справился с заданием.

На другой день по получении распоряжения дирекции, — рассказывал он, — едва только рассвело, 20 машин перебрались через Самарку, тогда еще скованную льдом, и двинулись через Андреевку в степь. Демехин сидел на головной машине рядом с клейтракстом. Ко всем машинам было привязано по несколько толстых досок.

Некоторое время шли хорошо. Балки попадались не очень глубокие, и «Клейтраки» через них легко проходили. Попадались и глубокие балки. Тогда приходилось отвязывать доски и настилать помост.

К вечеру стало свежеть. Холодный ветер все усиливался. Пошел снег, сначала редкий, затем все чаще, и, наконец, он превратился в буран. Небо и степь слились в одну черную бушующую массу. Клейтраксты надели предохранительные очки, но и это не помогло, — буран ослеплял.

Остановиться было опасно. Буран замел бы людей и машины. Пришлось двигаться вперед, не видя дороги, без направления, лишь бы не стоять на месте. Руки трактористов в кожаных рукавицах закованели. Работали попеременно одной рукой, пока другая отогревалась в кармане.

Только на другой день кое-как добрались до экономии третьего участка.

Собрание перешло ко второму вопросу: о прицепах. Один из бригадиров доложил, что на первом участке они раздобыли старые рельсы от узкоколейки и делают из них прицепы. Начался спор. Демехин доказывал, что рельсы погнутся, что целесообразнее всего применить для прицепов деревянные ваги, скрепленные железными плашками. Директор перебил спор:

— У вас когда первый прицеп будет готов?

-- Денька за два сделаем.

— Ладно. Значит валяйте и сразу на участке испытайте. Если погнетсЯ, немедленно делайте ваги!..

Собрание закончилось выборами парторга. Ячейка приняла намеченную бюро коллектива кандидатуру Прокофьева.

— О каких это прицепах спор идет? — спросил я у Жиркина, когда мы складывались на полу спать.

Он ословательно почесал спину.

— В баню пора; приедем в Алексеевку — схожу. Ты о прицепах? Это, видишь ли, одно из наших больных мест. Для борон «Лина» и «Зигзаг» нам требуется довольно сложный прицеп. «Клейтрак», например, тянет сразу 20 борон; надо как-то их сцепить. Из-за границы мы этих прицепов не выписали: дороги, и у нас их не делают. Вот и кустарничаем сами. Что выйдет — пока не знаю, хотя сев уже на носу, а мы с прицепами все еще «плаваем». Главное, нельзя достать трубчатого и углового железа...

На другой день с утра мы осматривали первый участок, вернее, экономию № 1. Единственный деревянный домик в экономии занят под контору участка. Здесь же помещаются зав. участком и его помощник. Конторский персонал живет в низеньком глинобитном строении, напоминающем кладку.

Немного на отлете выстроены машины. Демехин подвел меня к ряду «Клейтраков», своими гусеницами будто угрожавших еще затопленной степи.

— Моя гордость!..

Сказано искренне, неподдельно. Соприкасаясь с «Клейтраком», Демехин заметно сбрасывает с плеч десятка два лет, как-то весь расплывается молодым пылом. Я понял, что не даром вчера директор, ложась спать, называл его: «Мой тракторный фанатик».

Долго Демехин объяснял мне интересное устройство электрической проводки «Клейтрака», отвинтил источник его энергии — аккумулятор, в отличие от магнетто на других тракторах. Он даже собрался снять гусеницу, чтобы окончательно открыть предо мною секреты машины, но это была уже сложная работа, и мне не хотелось его затруднить. Между прочим, он показывал мне небольшую частицу электро-

оборудования — реостат, а в этом реостате маленькую, едва заметную пружинку.

— Вот эта пружинка ежели перегорит, машина выходит из строя. В СССР ее не найдешь, а с машинами не прислали ни одной запасной части...

Зав. участком Першин — грузный человек с одышкой. Маленькие глазки под очками быстро шныряют по сторонам. Сидя на кровати и как-то беспомощно опираясь руками о грязный тюфяк, жалуется:

— На 24 части разрываю. Ни одной сосредоточенной мысли: пятые сутки по часу спим, и мысль тупеет. Графики, которые выработаны в кабинетах, к чорту полетят; практически будет сделано все, что мы в силах, а не по графикам. Чтобы охватить все в деталях, и хорошо охватить, здесь нужно сверхчеловека. 20 лет я работаю по сельскому хозяйству, но такой темп, такой размах...

Он развел руками. Чувствовалось, что этот темп и размах действительно его дают.

Штаб расположен на краю озера посреди села. Где-то недалеко строили мост, не провели во-время каких-то труб, и в селе образовалось озеро. Оно подходит вплотную к домам и залужено сетью мостиков. Мальчишки катаются по нему на плотах.

— Чем у нас не Венеция? — спрашивает зам. директора по административно-финансовой части Овчуков, человек с зычным голосом и бойкой речью. У него широкое безбровое лицо. Всеми своими повадками он будто хочет сказать: «Смотрите, я парень — душа на распашку, весь перед вами».

Ячейка помещается в маленькой комнатке в одно окно, выходящее на грязный двор. В соседних комнатах стрекочут пишущие машинки, сухо шелкают счеты: канцелярия — одна из многих. А вся жизнь совхоза сосредоточилась в насквозь прокуренной комнатке ячейки. Здесь сердце грязного хозяйства.

Дверь ни на минуту не затворяется. В ячейку приходят партийцы, комсомольцы и беспартийные. Здесь разре-

паются все спешные, не терпящие отлагательства вопросы. Овчинников, заместитель Жиркина, высокий парень, похожий на цыгана, настаивает, чтобы кооператоры были немедленно, не глядя на распутицу, отправлены на участки. Нужно поскорее наладить питание в экономиках. Вызывается зав. кооперативом Голутва. У него еще не намечены кандидаты в заведующие участковыми отделениями кооператива. Жиркин предлагает ему немедленно подобрать людей с тем, чтобы завтра же они были отправлены на участки. Голутва опытный, уже немолодой кооператор, но, видно, привык работать с прохладцей. Здесь же он теряется, от волнения у него подергивается правый глаз. Руки машинально стряхивают пылинки с новенького коричневого костюма. Говорит, сильно заикаясь:

— Да я... я, товарищ Ж-жиркин, с-сам понимаю, ч-что нужно, но н-не могу так м-молч-ниеносно...

Жиркин повторяет:

— Завтра люди должны быть высланы на участки! За три дня до выхода в поле питание под твоей личной ответственностью должно быть налажено...

Говорит как-то приглушенно. Тон его не допускает возражений.

— О твоей работе я поставлю вопрос на бюро.

Кооператор уходит, втянув голову в плечи.

Пришел заместитель секретаря комсомольского коллектива Виноградов — мускулистый тракторист с красивым открытым лицом. Он выпалил одним духом:

— Ну, я уже согласовал с райкомом насчет конференции. Выборы проведены, послезавтра ребята начнут собираться. Пойду заготавливать лозунги... На четвертом участке оказались два жулацких сынка. Надо их убрать. Один чуть в комсомол не залез. А секретарь райкомовский — инертная баба...

— Как ты их выявил?

— Пришла партия сезонников из их села, обоих знают, говорят: «Батки ихние — первейшие наши богачи, эксплуатировать народ».

— Ты, Овчинников, переговорить с Брейдо, чтобы он их немедля рассчитал.

На другой день с участков стали собираться делегаты на конференцию. Дороги были еще залиты, и делегатам пришлось 30—50 километров до Алексеевки сделать пешком. Последними пришли делегаты со второго участка. Все были густо облеплены грязью, некоторые в своих комбинезонах.

Утром открыли конференцию в читальне Алексеевского народного дома. Над столом президиума большой во весь рост портрет Чапаева. Присматриваюсь к делегатам. Среди них две трактористки — загорелые лица, большие натруженные руки в комбинезонах и армейских башмаках. Видно, до сих пор жизнь их не нежила. От трактористов их можно отличить только по красному головному платку.

Конференцию открыл Виноградов. В краткой живой речи он выразил мысль, что на конференции должен быть дан ответ на вопрос: «Готовы ли мы, готов ли совхоз к первой посевной кампании?»

Доклад Жиркина прошел в общем гладко. Говорил он несколько тягуче и оживился лишь, когда перешел к задачам совхоза. Закончил доклад, указывая на лозунг, написанный Виноградовым на длинной полоске кумача и занявший три стены: «усманский зерносовхоз должен дать государству в 1929 году 900 тысяч пудов зерна. Мы их, товарищи, дадим!!»

Судя по тому, как конференция слушала доклад, я не ожидал от нее особой активности. Но первые же вопросы докладчика разбили ожидания.

— Как с прицепами? Почему нет запасных частей к машинам и орудиям? Почему до сих пор нет телефонной связи между штабом и участками? Рассчитано ли в пятилетнем плане выпустить новые марки тракторов советской системы, приспособленных к крупным зерносовхозам? Ограничится ли совхоз имеющейся территорией или же он будет расширяться?

И еще многие «почему?», звучавшие как-то особенно твердо, настойчиво.

Тревога за будущее:

— Как будет в случае неурожая, — не сорвется ли наше дело?

— Во сколько в нашем совхозе обойдется пуд зерна?..

Кауров начал свой доклад с заявления, что в своих донесениях в центр он иначе не называет совхозскую армию трактористов и инструкторов, как «мон орлы».

Начав с такого польстившего конференцию заявления, он затем долго развивал мысль, что есть и будут большие трудности и с жилищем, и с питанием, и технические, но совхоз имеет задание за 9—10 дней засеять 15 тысяч гектаров, и задание должно быть выполнено.

Горячие прения по докладу красочно показали, какие рогатки стоят на пути развития молодого хозяйства. По все это «детские болезни», которые могут быть легко преодолены в процессе роста. Указывали, например, что сухое протравливание семян на открытом воздухе вместе с семенами «протравливает» легкие рабочих. Вредные газы при ветре проникают через маску в легкие. Это — верно, но в первый год работы и неизбежно: машина «Нейгауз», на которой производится сухое протравливание пшеницы углекислой медью, требует специального помещения с вентиляцией и специального моторчика для подачи энергии. В этом же году работа могла производиться только вручную и в открытой степи.

Попутно рассказали случай, характеризующий «плавание» многих работников зерносовхозов: на первом участке протравили сухим способом 90 тонн овса. Это была работа в пустую. Только рабочие напрасно шесть часов впитывали в себя вредные газы. Овес поддается протравливанию лишь мокрым способом раствором формалина на машине «Гейда».

Дальше, на том же первом участке обвалился сарай и помял несколько тракторов. Зав. участком Першин, когда услышал грохот первых пригнанных Демехиных тракторов, почему-то скрылся и пропал целую неделю.

Час ночи. Большинство делегатов разомлело от усталости. Но тут дежур-

ный по штабу принес телеграмму. Директор зачитал:

«Гигант» вызывает все сеющие зерносовхозы на социалистическое соревнование на лучшее проведение весенней посевной кампании».

Лица делегатов оживились, точно они не заседают вот уже 15 часов с небольшим перерывом. Наступившую тишину разрядил делегат с четвертого участка.

— Готовы ли мы?

Прения продолжались. Делегаты говорили о колоссальной, порою героической работе, проделанной за короткий срок на участках. Участники перегонок машин совместно с Демехиным вкратце повторили рассказ, уже слышанный нами на собрании ячейки первого участка.

В заключительном слове директор горячо призывал конференцию, а через нее и всю массу трактористов и инструкторов к революционному энтузиазму. Он напомнил про тот энтузиазм, с которым лучшие люди страны брали в октябре власть, отстаивали ее на многочисленных фронтах, а затем постепенно завоевывали государственные командные высоты.

Председатель Виноградов заявил:

— Мнения докладчиков и большинства конференции сводятся к тому, что в общем мы к севу готовы и вполне можем вступить в соревнование. Голосуют: кто за принятие вызова «Гиганта»?

Вместо голосования делегаты вдруг поднялись, точно подхлестнутые силой огромного напряжения, и, сначала вразброд, затем все дружнее пропели комсомольский гимн «Вперед, заре навстречу».

Так приняла конференция вызов крупнейшей в мире хлебной фабрики.

На другой день к вечеру мы с Жирковым приехали на хутор Раковский. Хутор представляет собой нагромождение глинобитных мазанок, крытых соломой. Здесь помещается экономия четвертого участка. Между Алексеевкой и хутором Жиркин указал мне на огромные штабеля досок и груды кирпичей невдалеке от дороги.



— Здесь будет наша центральная усадьба.

Пока же, кроме кирпичей и досок, на месте будущей центральной усадьбы были воздвигнуты легкие воротца с красным флагом наверху и табличкой на одной из стоек: «На усадьбе курить строго воспрещается».

— Вот только подсохнет, здесь начнется горячка...

Машины и орудия четвертого участка расположены на открытой площадке за хутором.

Контора участка помещалась в курной мазанке с низко свисающим потолком. Там мы застали директора. Он беседовал с зеведующим участком немцем Брейдо — краснощеким атлетом, напоминающим циркового борца, с небольшой, русой, тщательно отделанной бородкой. На вопросы директора он отвечал, сильно акцентируя:

— Бутит истелано, уже истелано...

Дальше — на третий участок. Резкий степной ветер колотил лицо. Бурую дорожную жижу затянуло изморозью. В одном овраге проломился тонкий лед, и лошадь Жиркина провалилась — только голова торчала наружу. От толчка при падении лошади Жиркина отбросило далеко в сторону, но он быстро поднялся и успел схватить поводья. Кое-как нам удалось пробить лед и вывести лошадь на край оврага.

Приехали в село Герасимовку. Здесь помещаются трактористы и инструктора, прикрепленные к третьему участку. Село стояло по самые крыши в снегу. Улицы села до того изрезаны рытвинами и овражками, что приходится удивляться, как это герасимовцы ухитряются по этим улицам проезжать в повозках, когда и верхом проехать не очень легко.

Мы встретили несколько десятков трактористов, направляющихся из экономии в село. Они шли гуськом, едва вытаскивая ноги из грязи. Задние старательно ставили ноги в ямки, образованные идущими впереди. В некоторых трактористах я узнал делегатов комсомольской конференции.

Вблизи экономии нам попался на встречу «Флейтрак». Гусеницы его свирепо штурмовали грязь, медленно,

с трудом преодолевая каждую пядь дороги. На крюке он тащил какие-то бревна, гладко отесанные, по-особому сцепленные между собой железными болтами и привязанные к двум парам колес. На бревнах сидело несколько человек. Среди них — инженер-механизатор Разумовский. Он ушел с головой в серый воротник шубы.

— Что везете? — спросили мы, не доезжая.

— Прицепы.

— Готовы!? — радостно вырвалось у нас одновременно. — Ну, как?

Инженер спрятал улыбку в морщинах у тонкогубого рта:

— Испытание дало четыре с плюсом по пятибалльной системе.

— Куда вы сейчас направляетесь?

— На второй участок. На шестом, пятом и третьем уже оставили.

— Гут, — воскликнул Жиркин, почему-то по-немецки. Это, кажется, единственное немецкое слово, которое он знает...

Экономия третьего участка представляет собой кучку строений на берегу огромного пруда. В стороне чернеет несколько рядов машин. На противоположном берегу пруда стоит небольшой новый домик — контора участка. Здесь же помещается администрация участка.

Зав. участком уехал в Алексеевку. В конторе все злые, сонные.

— Вас это какая муха укусила? — спросил Жиркин.

Старший рабочий — черноусый, статный красавец — выругался:

— Посадили, как на острове, подыхать с голоду. У нас тут животы влупухи... Вез уже кооператор продукты, и то не довез, прислал только сообщить нам радостную весть: застрял, мол, на втором участке... Курево есть? Дайте хоть дымок поглотать.

— Чем же вы питаетесь?

— Кипяточком. У нас его три сорта — вареный, жареный и цареный. Вам какой приготовить?

— Плохо ваше дело... А в селе что?

— В потребилке густо — нет подвоза, а крестьяне и яйца не продадут, — все к пасхе берегут.

Жиркин смотрел в окно. Сумерки уже поснились строения по ту сторону пруда.

— До сих пор в толк не возьму, — сказал он, — какой это сумасшедший построил здесь контору, какой он частью тела думал в то время?

Старший рабочий злился:

— Я бы его заставил раз двадцать в день бегать отсюда в экономию и обратно. Тогда бы он восчувствовал. Ему-то что, головогянул и убрался по-своему, а расхлебывать мы должны: за каждой мелочью топай версты две...

Поднялась метель. Доступный со всех сторон порывам ветра домик трещал по всем швам, точно вот-вот готов развалиться. Крыльцо замело снегом.

— Верпулась зима, — констатировал счетовод.

К утру метель утихла. Мы побрели в экономию. Обогнули пруд, при чем в двух местах провалились в рытвины по пояс. От конторы до экономии было не менее двух километров.

Машины за ночь занесло снегом. У одного «Клейтрака» копошились инструктор и несколько трактористов. Они разобрали гусеницу и запаивали какую-то отставшую пластинку.

— Где остальные? — спросил Жиркин.

Указали на мазанку:

— Там, греются.

В небольшой прокопченной комнатке ютилось с полсотни трактористов. Некоторые сидели на теплой печи. Один, вытягивая по-гусиному тонкую шею и моргая заплывшими глазками, рассказывал, очевидно, что-то смешное. Рассказ то-и-дело прерывался дружным хохотом.

— Я ей говорю: «Извиняюсь, говорю, потому как равноправие вполне», а она: «Шел вон, дурак!!!»

Быстро расхватали оказавшиеся у нас папиросы.

В беседе оказалось, что группа герасимовских кулаков умышленно подпаивает трактористов. Она развела агитацию, что совхоз — это против крестьянства, что строительством зерносовхоза преследуется цель всех крестьян превратить в батраков. Наибо-

лее смелые как-то при выпивке даже намекали, что следовало бы перед сном испортить машины. Эта же группа уговаривала крестьян не давать совхозу подвод для перевозки грузов, а сама взяла подряд на перевозку по взвинченным ценам.

Бедняки же и небольшая активная часть середняков помогали участковым партийной и комсомольской ячейкам разъяснять крестьянам сущность зерносовхоза и какую роль он должен сыграть в переустройстве крестьянского хозяйства. Значительную помощь им также оказывал часто приезжавший в село районный агроном. Кулаки вскоре были разоблачены. Но некоторые трактористы не особенно брезговали кулацким угощением. Собрание постановило:

«Всякого, кто будет замечен, что он ведет компанию с кулаками, немедленно выбрасывать из зерносовхоза».

Площадь села Таволжанки близ пятой экономии пестрела до боли в глазах нарядами. Наряды некоторых деревенских «франтих» представляли собою сочетание 10—12 цветов. Но они великолепно гармонировали с яркостью солнца, весны, предпосевным настроением. Первое мая.

Тракторные тележки быстро облепили ребятишки. Пошли. Колонна машин впереди. За нею отряд трактористов и трактористок. Своими однообразными комбинезонами и организованным шагом отряд резко выделялся среди пестрого разброда крестьянской массы.

Недалеке от белой кривококой церкви открыли митинг. Помощник заведующего пятым участком — выдвигенец-железнодорожник, — обращаясь к отряду трактористов, брызнул в него горячей струей слов:

— Тракторист должен знать, что с каждым поворотом тракторного руля во время сева он поворачивает нашу лапотную деревню с дубрей нищеты и невежества на широкий рельсовый путь.

Трактористы один за другим карабкались на трибуну — тракторную тележку — и давали обещания отдавать все свои силы зерносовхозу и, в пер-

вую очередь, провести в боевом порядке посевную кампанию.

— Вон из наших рядов, — сказала трактористка Криворучкина, — пьяниц, подрывателей трудовой дисциплины!..

На трибуну взобрался белобородый крестьянин и энергично сдернул с головы шапку.

— Нам все время говорили «смычка», — заговорил он зычно на всю площадь. — Только мы не знали, как она выглядит, эта самая смычка. Теперь, как вы к нам пришли, — мы в роде стали понимать. Я, братцы мои, скажу по-простому: большое ваше дело! Степь во как протянулась. Расшевелил ее, магушку нашу, машиной. И го-сударству польза и нам — народу крестьянскому. Работайте, братцы, а мы будем у вас учиться, что к чему, как похлеще жисть нашу переладить...

Товарища Иванова — зам. директора по производственной части — я поймал в квартире заведующего пятым участком Домбровского. Внешне они стоили друг друга: представьте себе двух геркулесов с лицами, напоминающими мякоть добротного украинского арбуза и весом в обоих не меньше четверти тонны. Разница между ними только в том, что лицо тов. Домбровского замкнуто в рамку из небольшой бородки и пары пышных усов, а у Иванова лицо гладкое, как тарелка, и гладкая блестящая лысина.

Из отзывов я уже знал, что они — лучшие специалисты-агрономы.

— Вообще-то, — говорили в штабе, — на Иванова в смысле производственным возлагают почти все надежды — епсп, каких мало...

За все время подготовки к севу его почти не видели в штабе. Он мельком показывался и в экономиях, просматривая бумаги, кое-что закусывал, и дальше на участки. Копался в земле, только показавшейся из-под снега, набивая дорожный чемоданчик мокрыми комками земли, сушил ее, растирал между пальцами, разглядывал образовавшуюся пыль в лупу и пробовал даже на вкус. Сопровождавшие его заведующие участками почтительно выслушивали распоряжения.

— Здесь сначала продисковать, основательно продисковать. Здесь сразу можно пустить «Лина». Вот догадался бы Разумовский придумать комбинацию одного прицепа для борон и сеялок, чтобы одним махом здесь отбояриться — мягкая земля, мягкая...

У меня был для него присажен ряд вопросов. Он только-что вернулся с объезда пятого участка. Жена Домбровского — худощавая, костистая женщина — подогревала для него на примусе какое-то варено. Домбровский представил меня... Иванов добродушно улынулся. — Хорошая улыбка, располагающая, во всю ширь лица.

— А, — заметил он, — суровый глас общественности! Здравствуйте... Это не мешает — видеть свои грешки пропущенными, так сказать, сквозь беспристрастную призму стороннего восприятия. Не мешает. Только вы, дружище, смотрите в корень, как сказал когда-то ваш коллега Прутков... Садитесь, будем кушать.

Мы поужинали. Иванов вытер рот старой газетой.

— Ну, теперь я к вашим услугам. С чего начнем? Территория. Можно с территории...

Говорил он медленно, вдумчиво, как-то лениво, точно выполняя тяжелую, несвойственную ему обязанность.

— У нас всего три массива — около 37 тысяч га. А, вы это уже знаете? Превосходно. Два массива так себе, а третий с ужасно неприличной фигурой: вытянут колбасой на 23 километра. Ширина от двух до шести километров. Такая конфигурация никуда не годится. Она, по-нашему, создает зигзагообразные или «лихорадообразные» гоны. Что? Так ли останется? Нет, так не оставим. Отрежем ему хвост и обменяем с населением. Остальную часть сведем в правильную форму и заложим на ней опытный участок. В нашем деле не обойтись без экспериментов, не обойтись. Это тем легче, что после сева нам прирезавают еще возле Алексеевки 32 тысячи гектаров. Вы курите?

Закурили.

— Ну, поедем дальше. Рельеф местности оставляет желать много лучше-

го. Невероятно изрезан оврагами. Здешние овраги имеют одну милую особенность: летом плевый незаметный овражек весной делается неприступным. Нужно много мостов. Вот, значит, наш первоочередной вопрос: мостовое строительство и укрепление оврагов. Что уже сделано? Помилуйте, когда это мы могли сделать? Ведь мы только теперь, как снег сошел, территорию свою как следует разглядели. Мелкие мостики через овраги — это еще туда-сюда, а вот мост через Самарку — это уже величина покрупнее. Как вы сами заметили, совхоз больше тяготеет к станции Богатое. Через нее пойдут все наши грузы, «и золотое зерно, как кровь по артериям, потечет туда, где его будут ждать»... Простите за лирику, я в молодости баловался стихами, только ничего не вышло... Так вот: а на станцию нас Самарка не пускает. Нужен мост, да капитальный, для наших машин. Нас уже пугнули, что меньше как с миллиончиком и подступаться нечего. Только мы народ, должен вам сказать, не пугливый. Пока мы отпустили 16 тысяч рубликов на изыскания, а потом... мост-то ведь областного значения. Ну, мы в Самаре и подыдем тарарам с недвусмысленной целью: получить на расходы. Короче говоря, мост мы построим.

— Дороги у нас еще скверные, вернее, степные тропинки. Перевозки ныне легли на нас хорошим накладным расходом... Ух, жарница!

Он открыл окно. Нас приятно обдало свежим ветерком.

— В этом году, — продолжал он, глядя в окно на черную гущу ночи, — мы проведем 60 километров хорошей дороги. Вот ждем только специальных машин и дорожного отряда. Это удовольствие нам обойдется тысяч до ста...

Укладываясь на полу спать, он прибавил:

— Мы не коснулись вопроса о рабочей силе. Может записать: трактористами мы вполне обеспечены, даже будет некоторый резерв. Только квалификация у них мизерная, полуторамесячная. Зимой думаем пропустить их

через повторные курсы. А вот с повторными рабочими дело обстоит серьезнее. Собственно, на время сева нам рабочих хватит — сумеем использовать только 10 проц. свободных рабочих рук в районе. Но в уборку район нам не сумеет дать ни одной души — все заняты в крестьянском хозяйстве. Придется везти рабочих откуда-нибудь со стороны. Ну, спокойной ночи...

Два дня мне пришлось побывать в Бузулуке. По дороге обратно в пятую экономию я заметил, что в степи, как грибы после хорошего дождя, выросли шалаши. Крестьяне выехали в степь целыми семьями. От шалашей доносится удушливо-острый запах тлеющего кизяка. По всему простору полей рассыпались парами величаво шагающие верблюды, спокойной-флегматичные волы или мохнатые степные лошадки.

Знойный ветер быстро сушит землю. Подъезжаю к экономии. Участок пустынен, точно забыт. Возникает беспокойство: почему, ведь каждый час дорог — степное солнце не шутит?

Но из-за кургана, облитого солнцем, вышла колонна «Клейтраков» с прицепами дисковых борон. У каждой машины на крюку три бороны с 96 дисками. Колонну сопровождают Овчуков, Домбровский, инженер-механизатор и Жиркин.

Ехавшие мимо крестьяне остановились поглядеть.

— Ишь ты, — смаковали они, — вот это да-а... Одним загоном десятинку чешет.

Одна машина попала в сырое место. Стала буксовать — гусеницы вертятся в пустую. Свисток, и из-за пригорка вынырнул дежурный «Клейтрак», сцепился с буксующей машиной, рывок — и машина, отфыркиваясь, пошла дальше.

Жалкой казалась разбросанная по степи живая тяговая сила крестьян по сравнению с мощностью машинных колонн. Огромный массив, покрытый бесформенными черными комьями, быстро, в продолжении минут, превращался под дисками в ровную, пушистую скатерть.

Гоны машин длинные. Начинается гой у дороги и уходит вдаль на много

километров. Долго ждать возвращения машин.

Мы с Жиркиным отправились в экономию. Там был уже развернут полевой продуктовый ларек. Возле него образовалась очередь из нескольких десятков поденных рабочих. Горбатый продавец ловко торговал хлебом, колбасой, салом, табаком. Несколько рабочих укрепляло гессенку и две бивуачные палатки. Невдалеке у ряда сеялок что-то варилось в двух походных кухнях.

Далеко за экономией тянулись ряды бочек с горючим и смазочным маслом. Посредине, как наседка среди цыплят, высился громадный железный бак. То-и-дело под'езжала к горючему дежурная машина с прицепленной к ней тележкой, рабочие взваливали на тележку несколько бочек, и машина, грохоча, уползала в степь к работающим колоннам.

Еще неделю назад ветер здесь гулял по снежным сугробам. А сегодня уже напряженно пульсировала жизнь одного из нервных узлов огромного хозяйственного механизма.

Прибежал с поля Домбровский. Капли пота стекали у него по крепкому румянцу и терялись в рыжеватой бороде.

— Вот, — обратился он к нам, — хотели мы сегодня только произвести маленькую пробу сил, а тут оказывается, не мы машину, — она нас подгоняет. Изрядный кусочек отхватили. Завтра пушу сеялку...

Дороги присохли. Лошади быстро покрыли 20 километров до третьей экономии. Здесь шла та же спешка.

К утру готовились выйти в поле. Трактористы и инструктора собирали диски, привинчивали к «интерам» уширительные ободья, заправляли машины. Пять студентов-практикантов проверяли сеялки. На подостланные брезенты золотым дождем сыпалось из сошников зерно. Работали, не разгибаясь.

К сложно переплетенной системе брусьев приладили 18 борон «Лина». Прицепили к «Клейтраку» и вывезли в поле. Пока машина шла по прямой линии, — прицеп держался, но как

только она стала заворачивать, — хрястнуло, точно выстрел, и прицеп разлетелся на несколько частей.

— Значит надо сегодня остальные закрепить посредине скобами, — заметил зав. участком Андржейкович, длинный, сухой, желчный на вид человек. И добавил угрюмо: — Хорошо, что мы имеем один прицеп запасной, а то сели бы в лужу.

У одного «Интера» на коленях сидела трактористка, прилаживая к колесу уширительный обод. Она ловко работала гаечным ключом. Волосы у нее распустились, лицо вспотело. Она ушла в эту работу как-то всем своим существом. Казалось, она бы не оторвалась от работы, если бы над самым ее ухом грянул гром.

— Она откуда? — спросил я у другой трактористки, заправлявшей рядом свою машину.

— Таволжанская.

— А что она раньше делала?

— Батрачила, она бобылка — ни двора, ни кола.

Подшел молодой механик в форменной фуражке.

— Вы это про кого? — спросил он.

Я взглядом указал ему на поглощенную работой трактористку. Он несколько минут смотрел на ее работу и сверкнул улыбкой сквозь белые нити зубов:

— Как вы это назовете: пафос стройки или производственный энтузиазм? Хотя дело не в названии.

Солнце начало старательно припекать. Трактористы стали отрываться от работы и бегать к пруду освежать водой голову и лицо. Быстро вытирали лицо рукавами комбинезонов и снова хватались за работу. Один не вытерпел, отбежал подалее, скинул одежду и бухнулся в пруд. Инструктор закричал:

— Эй, голова садовая, вылезай, насморк схватишь.

— Ничего не будет до самой смерти, — философски заметил тракторист, поворачивая батарею дисков.

Солнце уже село, когда мы приехали во вторую экономию. Навстречу выплыл пруд, оттененный с одной стороны несколькими деревьями. Чахлые

деревца, но они приятно ласкали взгляд после голого однообразия степей.

Здесь уже было все устроено как-то более фундаментально. Крепкий, даже с претензией на красивость дом конторы, тракторный сарай, конюшня, хорошее помещенье для кооперативного ларька и хранения продуктов, столовая, правда, в легкосколоченном балагане, но все же столовая с горячим завтраком, обедом и ужином. На берегу пруда стоит ряд гессенских и бивуачных палаток. В гессенских уже устроены полы, еще пахнущие свежим деревом, и установлены новые деревянные кровати. Во всем здесь чувствуется, как говорил Кауров, хозяйин.

В экономии мы застали Каурова и двух представителей союза сельхозрабочих — зав. орготделом ЦК и инструктора областного отдела союза. Они приехали в совхоз на перевыборы рабочего комитета. Старый рабочком почти не работал. Председатель его, некто Фролов, дезертировал: уехал самовольно в Самару, а через несколько недель телеграфировал Жиркину: «Сию Бузулуку благодаря распутице не могу приехать». Это в самую горячую пору — в период подготовки к севу.

Решили досрочно переизбрать рабочком. Кандидатом в председатели бюро партколлектива наметило тракториста Маркова. Его же рекомендовал центральный комитет и областной отдел союза. Но предварительно нужно было избрать участковые, или, как их здесь почему-то называли, цеховые бюро. Сегодня должно было состояться собрание второго участка.

Трактористы и инструктора со второго участка помещались в селе Корнеевке, в восьми километрах от экономии. Отсюда это самое ближнее селение. Легко себе представить, каково было в распутицу проходить ежедневно 16 километров на работу в экономию и обратно. Но делегаты с участка на комсомольской конференции об этом даже не упомянули.

Один из делегатов как раз ехал с нами в Корнеевку. По дороге я его

спросил, почему они на конференции и не заикались о своих жилищных условиях. Парня удивил мой вопрос:

— Зачем? — приподнял он белевые брови. — Сразу что ли строилась Москва? Дело-то новое, не все сразу...

— Да тяжело ведь?

— Конечно, нелегко. А мы потерпим. Вот засеем, уберем, тогда и об этом время будет подумать...

Перед ясным, прямым взглядом этих серых глаз с голубизной я насую.

Приехали в Корнеевку ночью. Село точно вымерло — нигде ни души. Только возле церкви толпился народ, а из открытых окон дома против церкви неслась хоровая песня.

Проваливаясь в ухабах, мы пошли разыскивать место для ночлега. Из многих домов доносятся сектантские песнопения. Оказалось, что в селе существует несколько сект: молокане, балтисты и небольшая секта хлыстов.

Узнавая, что мы из зерносовхоза, нас даже не впустили в дом. В селе много кулаков. Отношение к совхозу крайне враждебное. Непримируемое всего по отношению к совхозу держат себя сектанты, независимо от направления. Это объясняется тем, что в сектах состоит почти вся зажиточная верхушка деревни. В селе нет ни партийной, ни комсомольской ячейки.

В одном доме нас встретила на пороге плотная старуха. Мы попросились переночевать.

— А вы кто будете? — спросила она.

— Совхозские.

Она энергично замахала на нас руками:

— Нет, нет, уходите! Не стану я под светло христово воскресение бусурман в дом пущать...

Пришлось ретироваться. Отовсюду нас выпроваживали приблизительно таким же образом. Мы побрели в помещенье сельсовета, но ключи от него находились у председателя, который куда-то уехал.

Хоть на улице ночуй. Невдалеке от сельсовета, на отлете от сельской улицы, по-здешнему «порядка», стояла приземистая мазяка, крытая соломой. Мы постучались туда. Открыл

нам незранный мужичонка с соломинками в черной с проседью взлохмаченной бороде.

— Вам кого? — спросил он хрипло.

— Пусти ночевать.

Мужик растерялся. Ему как-то не верилось, что шесть человек, по-городскому одетые, не шутя просят ночевать в его курную мазанку.

— Я... я, что ж, с превеликим моим удовольствием, только где все ляжете? У меня горница того... малость подкачала... А вы из каких мест?

— Совхозские.

Мужик широко распахнул дверь.

— Проходите, коль так. Чем, значит, богат, тем и рад.

Хитровато подмигнул:

— Видать, солоновато пришлось, что ко мне припожаловали?

— Да, народ у вас не ахти гостеприимный. А закусить чего найдется?

— Хлеб есть. Больше, кажись, ничего. Баба тут кой-чего настряпала, да сама-то в церкви. Без нее и тронуть не смей. Пойду раздобуду молока. Сегодня у нас правило такое: ничего в чужой дом не давать. Только кум, может, даст.

Он ушел и скоро притащили жбан вкусного молока. Мы закусили.

На широких полатах из-под драного тулупа выглядывали, как мышата, ребяташки. Мужик хотел согнать их на земляной пол, а нас положить на полатах, но мы запротестовали. Тогда он принес большую охалку соломы и постлал нам на полу.

Разговорились с хозяином о сельской жизни.

— На этих порядках, — сказал он, — живоглот на живоглоте сидит. Которые победнее, — вон там за оврагом живут... А вы как, уже сеете? Наши после праздников собираются выехать.

— Да ведь земля высохнет.

— И то сказать, весна недружная нынче. А только три дня праздника, хоть всё пропадай, никто с места не тронется.

— И ты не выедешь?

Хозяин глядел в сторону.

— Я что, я бы выехал — день год кормит, — да вот баба у меня неладящая, заклоет.

— Ну, а что говорят крестьяне о совхозе?

— Разно говорят. Первое - то время богатеи наши здорово баламутили село. И то сказать — их тут сила. Чего только не городили: и мужиков всех вчистую в батраки произведут, и растратят народные денежки, и нас налогами обложат — не вздохнешь. Все, значит, на нашей мужицкой шее. Сектанты — те про нашествие антихриста толковали. Не разбери-бери.

— А теперь как?

— Теперь как узнали, что безлошадным совхоз вспашет землю, — мужики припевок этих и слушать не стали. У нас много безлошадных, особливо заовражинцы. Там одна голутва. Потом ребята ваши тут вот уж сколько стоят, — тоже все больше у заовражинцев, что ни говори, а ежели самим жрать нечего, — оно — хорошее подспорье.

Он помолчал, затем ухмыльнулся в бороду:

— Ребята, одно скажу, у вас молодчаги, боевые ребята. Они тут, бывало, на сходах с кулаками как срежутся, те и деваться не знают куда. До самых косточек доберутся: гляди, дескать, народ честной, что эти люди из себя обозначают. Они заовражинцев на товариство подбили. Те уж и две сеялки в складчину купили, и культиватор, и триер, и три плуга четырехлемешных... Семена вот еще мы возили в экономии протравливать. Бесплатно нам ребята травили. Заведующий, который в экономии, хороший человек, справедливый. «Что, спрашивает, товарищ, зернышко привез травить? Валяй, валяй. Дело хорошее. Мы всегда рады помочь». Вон они какие!

Утром мы хотели расплатиться за ночлег и закуску, но хозяин, не глядя на подмигиванья синегубой жены в ярком красном сарафане и красном повойнике, ничего не взял.

— Вот дайте только за молоко куму уплатить...

Небо затянуло вуалью цвета кирпича. Воздух стал удушливо-напряженным. Полил такой ливень, точно опрокинулся небесный резервуар.

Мы забежали в школу.

Когда прекратился ливень, стали собираться трактористы и инструктора. Двое встреченных нами инструкторов обошли дома, где помещались трактористы, и созвали всех в школу. Собрались и много крестьян, молодежи и стариков. Пришлось вынести собрание на улицу. Большинство расселось на куче бревен.

Секретарь комсомольской организации Иванов открыл собрание. Недолго говорил член старого рабочкома — полевой об'ездчик. Он пытался мотивировать бездеятельность рабочкома частыми передвижками штаба зерносовхоза — вначале штаб был в Бузулуке, затем перешел в село Усманку, оттуда обратно в Бузулук и в Алексеевку. Четыре передвижения за 6—7 месяцев.

Видимо, собрание сочло такую мотивировку слабой. Посыпались вопросы: что делал рабочком по подготовке к севу? Обсуждал ли рабочком производственный план совхоза? Почему не прорабатывался производственный план на производственных совещаниях? Почему рабочком не созывал производственных совещаний? Какие меры он принимал для поднятия трудовой дисциплины? Что сделано для развития на участках культурно-просветительной работы? Сколько раз выезжали члены рабочкома на участки?..

Ни на один вопрос представитель рабочкома не мог ответить. Никакой работы не было.

В прениях развернулась картина работы на участке в предпосевной период.

— В начале марта, — рассказывал инструктор Токмак, — во вторую эконормию пришли 15 машин при двух инструкторах. Ни жилища, ни кормежки. Надо работать, и хоть волком вой. Где рабочком? Ждем две недели, месяц, полтора — о рабочкоме ни слуху, ни духу. Не было спецодежды, рукавиц. Никакой медицинской помощи, не было даже иода для заливки покалеченного пальца.

Дальше собрание напоминало провавший плотину ручей:

— Председатель рабочкома только на полчаса показывал нос на участок

и — до свиданья... Люди по 16 часов в сутки работали, в буран чуть не замерзали в степи. Жили хуже собак. А рабочком и ухом не вел...

Не жаловались, а только показывали колоссальные трудности пройденного этапа. Но слова горели обидой за то, что орган, призванный защищать интересы сотен героически преодолевших все эти трудности, не проявил никаких признаков жизни.

Перешли на вопросы чисто производственные:

— Прицепы никуда не годятся. С этими прицепами невозможно итти в два следа, а в один след бороновка не годится — приходится два раза возвращаться на одно и то же место... Инструктора бегают, как ошумелые, со стороны их жалко становится, но они ничего не могут сделать...

— Пока происходит смена, — трактора простаивают по несколько часов. Нельзя ли сменяться побыстрее? На колонну дали только двух чистильщиков борон, — приходится трактористам останавливать машины и самим очищать бороны...

Во всех речах сами же трактористы подчеркивают необходимость более бережного отношения к машинам, чтобы ее преждевременно не пришлось отправить на «кладбище».

Около десятка ораторов высказалось по вопросу о производительности труда.

— Не только от рабочих, — говорили они, — зависит производительность, но и от распорядительности администрации. Приезжаем вот утром на работу, а воды нет на заправку машин. Простой тракторов, а время не терпит. Или заведующий не указывает направления гона, и колонна идет туда, куда головному трактористу взбредет в голову...

Собрание по перевыборам рабочкома незаметно превратилось в производственное совещание. Замечания дельные, продуманные.

— Отбросы горячего выбрасываются, а их бы собирать в бачок и использовать на промывку тракторных частей. Воронки бросаются на землю и к ним пристаёт сор, который затем по-



падает в керосин. Это ведет к порче машин...

Еще и еще раз о разгильдяях и пьяницах — подрывателях трудовой дисциплины. Вносятся предложения подвергать их общественному бойкоту, выносить вопрос о трудовой дисциплине на широкое обсуждение рабочих через стенные газеты, общие собрания и производственные совещания...

Высказываются не ради того, что надо же, дескать, кому-то что-то говорить. Каждое выступление — это результат хоть и короткого, но уже глубоко усвоенного опыта. В речах еще проявляется какая-то особая страстность. Директор подал мне записку:

«Ну, разве не орлы? Вот он — подлинный хозяин говорят. Чувствуешь, как болеет у них нутро за свое, за кровное?..»

— Товарищи, — заявил председатель, — а про рабочком мы и забыли! Какое же решение примем о его работе?

— Признать работу никуда негодной...

— Так и постановим? Кто за?

Единогласно. Видимо, из чувства солидарности подняли руки и присутствующие крестьяне.

Быстро выбрали участковые бюро. Поговорили о широкой хозяйственной и культурно-просветительной помощи селу. Выступило несколько крестьян. Один из них, в новой сатиновой рубашке, красиво облегающей круглую грудь, сказал:

— Досель мы еще как следует не знали, что совхоз, как совхоз. Одно знали, что работа идет, ворочаете. Теперь поняли — лучше не надо: и хороше выложили и болячки свои показали.

Обратился к крестьянам:

— Слышали, граждане-товарищи? Вот как работают, не нам чета. Давайте, граждане, которые все здесь, завтра выйдем в поле. Нам не резон ждать, покада высохнет земля, потом, без хлеба сидеть.

— Как так — в праздник?

— Пушай себе поп с кулаками празднуют. Им-то что — у них еще запасы вахоронены.

— Правильно. Время упустишь, а там ва хлебом к ним же пойдешь кланяться.

— Что и говорить — завтра едем.

К школе подкатил чистенький, блестящий «Форд». Директор облегченно вздохнул:

— Наконец-то. У меня, признаюсь, в известных местах кожа в подошву уже превратилась. Теперь, — обратился он к инструктору Токмаку, — можешь взять моего «Серого».

«Форд» плавно скользил по утрамбованной уже дороге до экономии. Незаметно уплыли назад восемь километров. Зав. участком Лапин с нетерпением дожидался директора.

— Земля подсохла, — сказала он, — я вызываю вторую смену.

— Действуй.

Два грузовика быстро доставили из Корнеевки вторую смену трактористов. Через полчаса в поле вышли 25 машин.

Ночью мы лежали в «гессенке» и любовались отблесками огней работавших машин сквозь слюдяные оконца палатки. Несмотря на усталость, мы не могли уснуть. Жиркин размечтался:

— Эх, сесть бы сейчас на самолет и подняться над степью. Облететь все совхозы. Везде, я думаю, теперь работа, как у нас, кипит при фонарях. И снимочков несколько сверху сделать. Занятная была бы штука... А, Кауров, ты как на этот счет?

Директор пробурчал, засыпая:

— Ладно, замолкни, до наряда полтора часа осталось, дай глаза сомкнуть...

Нас разбудили предупредительные гудки отъезжающего «Форда». Рассвет только начал пробиваться из ночи. Первая смена машин бороздила степь.

Между экономиями мы наталкивались на новые тракторные колонны. Скоро мы начали улавливать звук моторов на большом расстоянии. Казало, всю степь покрыл громадный шмелиный рой. То-и-дело нас перегоняли или мчались навстречу: походная кухня, зав. мастерской на мотоцикле, инструктор-механик карьером на лошади, дежурный трактор, грузовик, наполненный мешками с зерном или пе-

регруженный до отказа очередной смежной трактористов. Все это создавало впечатленные фронтовой обстановки, вызывало в памяти картины минувших дней.

На четвертом участке мы впервые увидели сеялки в действии. Длинный ряд тройчаток (тройной прицеп сеялок) шел стройной колонной — колесо к колесу. Как-то захватывала эта стройность, вернее, этот парад железа и стали на наших «расейских» полях.

У нас был тяжелый фото-аппарат, и мы не могли заснять колонны в действии. Попросили было на минуту остановить колонну. Но инструктор Гуцалова отчеканила тоном, не допускающим возражений:

— Ни секунды! Снимайте, когда будем заворачивать.

— Это где?

— Вон, где мешки.

На горизонте, километрах в четырех-пяти, виднелись штабеля мешков в виде серых пятен.

Пухлое лицо Гуцаловой уже успело основательно загореть. Все ее движения стали как-то резче, увереннее.

Работа на участках шла только с двухчасовым перерывом в сутки. Палашеем днем солнце подгоняло. Обливаясь потом, люди не сходили с машин в течение 10—11 часов без перерыва.

Мучил недостаток пригодной для питья воды. Вода из прудов — единственных питьевых источников на втором и третьем участках — отдавала каким-то специфическим запахом разложения. На пятый и шестой участки пришлось подвозить воду бочками из ближайших селений. Тяжелая работа, отнимавшая много сил и энергии.

Только после сева предполагалось приступить к работам по обводнению. Требовалось очистить имеющиеся пруды, запрудить новые и вырыть сеть колодцев. По предварительным изысканиям на некоторых участках годная питьевая вода находилась лишь на глубине 40—50 метров. На обводнение участков намечено в этом году затратить до 40 тысяч рублей.

Пока же люди мучились. Лапин жаловался, смачивая языком потрескавшиеся губы:

— Мой участок с водой в самом худшем положении. Хочешь не хочешь, а пей эту мерзость. Из Корнеевки не повезешь. Мы уже пробовали кипятить — все то же.

Лапин — один партиец из шести заведующих участками. Он уже успел до того измотаться, что сразу не осмысливает задаваемых ему вопросов. С раннего утра до поздней ночи он не слезает с лошади.

С пятого участка получилось сообщение, что тракторист Артемьев тяжело ранен. На ходу управлял «Интер», его захватило шпорой и он попал под колесо. Но ужаснее всего, что ему не могли оказать на месте первой помощи; пришлось везти его окровавленного в Усманку за 30 километров.

Изъеденное оспой лицо Лапина нервно передернулось:

— Я знаю Артемьева, знаю, он был у меня лучший тракторист. Но Самарские здравотдельские дельцы должны пойти под суд. Мне вчера еще Кауров говорил, что он уже без счета отправил телеграмм, а вот до сих пор — ни врача, ни фельдшеров, ни медикаментов... А ребята — никакой осторожности. Как ты уследишь? Я уже говорил им двести раз: «Не сидите на крыле машины». Ноль внимания. Долго ли захватить ногу гусеницей или шпорой. Смотрите, вон опять...

Он хлестнул лошадь и помчался к машине, на крыле которой примостился какой-то беспечный тракторист.

В Алексеевке я попал на срочное совещание дирекции. Кауров бегал по комнате и не говорил, а стрелял словами:

— Темп, понимаете, дайте мне темп! Где инженеры? Я не чувствую инженерского персонала. Прицепы гнутся, ломаются. А наряды! В два часа утра еще машины не заправлены. В четверть третьего только смена собирается. К чорту, всех нас под суд отдать надо за такие наряды!

Иванов медленно цедил:

— Тихон Михайлович! Пойми, сколько отнимает времени людей со всего села собрать.

У директора вырвалось короткое, непечатное выражение:

— Я распорядился перейти в палатки? Почему не выполнено распоряжение? А, почему? Немедленно, слышите, немедленно перевести всех в палатки! Чтобы ни одного человека до окончания сева не осталось в селениях!.. Скажите там шоферу, пусть подает машину...

Через несколько минут все умчались на участки.

В это же время кипела работа и в центральной усадьбе. Быстро, точно из-под земли, выростали строения. Прораб, вытирая цветным платком пот с одутловатого лица и поминутно поправляя золотое пенсне на остром носу, водил меня по огромной площади усадьбы и объяснял:

— Здесь будет шесть домов на 12 квартир и три общежития на 72 человека. Здесь столовая. В этом месте — баня и прачешная. Тут — автогараж и пожарный сарай. Это место займут два тракторных сарая, сарай для орудий и центральная мастерская. Ну, а здесь — склад снабжения, кооператив и хлебопекарня... Общая кубатура? Сейчас... 27.778 кубометров.

— А где зернохранилища?

— На участках. Там построим уже в этом году 4 зернохранилища. Ну, а кроме того, мы там наметили по плану на этот год построить два дома на 4 квартиры, 3 тракторных сарая, 4 сарая для орудий и две конюшни. К осени все это должно быть закончено. Присовокупляю, темп в моей практике невиданный.

Наконец, приехал медицинский персонал. На вопрос директора: «Почему так поздно?» — женщина-врач выпучила и без того выпуклые рачьи глаза:

— Поздно? А я думала, что особенно некуда спешить. Знаете ли, никто из врачей к вам не хотел ехать, да и меня, признаться, не особенно тянуло в степь... Кажется, у вас нервность? Не мешает принимать бром...

Двух фельдшеров, мужа и жену, Кауров назначил на пятый и третий участки.

— Нет, — заявили они, — мы раздельно жить не будем. Хотим вместе.

Директор уставился на фельдшерскую чету немигающим взглядом:

— Вот что... Поезжайте обратно. Вы мне не нужны... Я затребую других... Чета уехала...

На одном из прогонов между участками меня нагнал на «Форде» инженер-механизатор Разумовский. Пригласил меня в автомобиль. Он осунулся. Более часто, чем перед севом, он масировал себе лицо.

— Плохо, — сказал он, — с маркерами замучился.

— Какие это еще маркеры?

— Указатели при обратном проходе трактора во время посева. Это чтобы сеялки не попадали еще раз на пройденное место, а также не допускали обсевов. Фабричные нам не прислали, хотя... я их никогда и не видал. Пробовал сам соорудить такую штуковину, да ничего не вышло — плюнул.

— Как же вы делаете?

— А вот смотрите...

По полю шла колонна сеялок. Впереди каждого трактора было двое рабочих с длинным шестом в руках — один по колее пройденного ранее колеса сеялки, а другой — посредине перед мотором.

— Занятно.

— Нет, скорее грустно...

— Ну, а в остальном как?

— Ничего. Только конструкцию Сакковских сеялок необходимо изменить. Кронштейны ломаются, — нужно их делать из более твердого материала. Ломаются шестерни, а запасных нам «Сакки» не дал. Ломаются шайбы пружинного давления, — нужно делать не из трубчатого, а из линейного железа. Вилки пружинного давления укреплены на круглом валу, а не на прямоугольном — в процессе работы они соскальзывают и меняют глубину заделки семян отдельными сошниками. Кто хоть раз видел сеялку, тот все это поймет. В общем, много дефектов...

— Дисковые бороны легки на твердых пластах. Бороны «Лина» не оправдали надежды на очистку их на ходу при помощи рычагов. Очищали вручную, подымая бороны... Приходится

утешаться тем, что эта кампания дала нам, по крайней мере, богатый опыт. В дальнейшем уже легче будет устранить все нелепости, которые теперь имели место...

Девять дней колонны машин в три тысячи лошадиных сил не сходили с поля. Десять ночей резали темноту огни фонарей.

На десятый день сев был закончен. Посеяно около 15 тысяч гектаров.

Когда заканчивали последние гоны, — на первых, пройденных девять дней тому назад, из земли уже прорвались нежные зеленые всходы.

Это было ровно через десять месяцев после решения Пленума ЦК ВКП(б) организовать хлебные фабрики.

## 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАБОТНИЦЫ ПРАСЛОВОЙ

Очерк

Борис Анибал

### Н а ч а л о

«Одной из главных причин, задерживающих рост нашей промышленности... является ослабление трудовой дисциплины среди некоторых отсталых групп рабочих...»

Из постановления СНК СССР от 6 марта 1929 г.

Экономиста вызвали в кабинет директора фабрики.

— Вот что, — сказал директор, сдвигая на ухо шапку, — наши ребята хотят суд над прогульщиками устроить, так надо бы это дело как следует организовать... материал там подобрать, прогульщицу позлее выбрать... Вы от фабрики по судам раз'езжаете, так, пожалуй, сумеете такое дело наладить...

Вопрос о поднятии трудовой дисциплины за последнее время неизменно стоял первым в порядке дня производственных комиссий и совещаний, цех-делегатских и общих собраний, ему же посвящались совещания административно-технического персонала швейной фабрики.

Закрывая собрание цехделегатов, чинно рассеявшихся в сумеречном клубном зале, хлопотливая и вечно озабоченная предфабкома, поправляя растрепавшиеся волосы, сказала:

— Новые правила внутреннего распорядка строже старых, но вы смотрите, это не для того, чтобы как можно больше уволить работниц, а для того, чтобы поднять среди несознательных труддисциплину.

Для убедительности она прижала к груди руку с засаленным блокнотом и обгрызанным карандашом и продолжала:

— Кто у нас прогуливает? Молодежь да которые недавно на фабрике, а старая работница, не беспокойсь, она не прогуляет и не опоздает. Мы суд над прогульщицами организовать собираемся. Вы растолкуйте в отделениях-то, чтобы подтянулись. Пора уж, поразгильдяйничали...

А в отделениях работницы перекорялись:

— Ты, смотри, — опять прогуляла...

— Маруська, будет тебе во время работы-то убежать!

— Да я курить хожу.

— В перерыв покуришь.

— А ну вас к чорту с дисциплиной-то! Подумаешь... и погулять нельзя, какие новости.

— А на собрании не была? Не слыжала, что говорили? Догуляешься до дела, тебе же хуже будет.

— Стану я ходить на собрания. Считаюсь хозяйёва, а как прогуляешь, так за косу и за ворота, а если я не хочу тут попкой за машиной сидеть...

— Хороши хозяйёва, которые свою фабрику прогуливают.

— Ну и будет. Отстань. Провались совсем.

Раньше большинство рассуждало так:

— Гуляет? А наше какое дело! Пусть администрация смотрит, на то она и

поставлена. Может, и мы сами скоро гулять захотим.

Теперь этим стали интересоваться не только заводоуправление, но и сами работницы. Почувствовав такую перемену, прогульщицы начали держать себя менее уверенно и, недовольно огрызаясь на замечания соседок, постепенно сдавали свои позиции.

Старший инструктор, Николай Васильевич, ходил веселый:

— Дождались труддисциплинки. Это уж фактический факт. Дисциплинка, это—красота!

Организация показательного суда являлась логическим завершением целого ряда докладов, заседаний, собраний и совещаний. В живой и впечатляющей форме он мог раскрыть работникам необходимость того, о чем говорилось в докладах, пестревших неутешительными, но сухими цифрами.

Скоро в пошивочных отделениях появились плакаты:

Разгильдяям и вредителям нет места на производстве. Исключим злостных прогульщиков из профсоюза. Всякий прогульщик снижает зарплату работниц.

Это были новые слова, и они были действительны.

И вот по всей фабрике расклеили написанные доморощенным живописцем афиши:

В субботу в 8 час. вечера  
в клубе фабрики  
состоится  
суд  
над нарушительницей  
труддисциплины  
работницей фабрики  
Прасловой.

По отделениям шли разговоры:

— Кого же это судить-то будут?

— А кто же ее знает. Разве из полугора тысяча человек упомнишь.

— Из второго, говорят, отделения..

— Вот, дура, догулялась до ручки

— Интересно посмотреть.

Прогульщицы и прогульщики и прочие нарушители труддисциплины, поглядывая на плакаты и афиши, прислушиваясь ко всем этим разговорам и чувствуя, что их поведение не совсем безукоризненно, не выдержали и по очереди стали бегать в фабком, спрашивая:

— Да что же нам-то повесток нет? Суд назначили, а повесток нету. Мы и не знаем, что и как...

— А вы не беспокойтесь, — успокаивали их в фабкоме, — сами без повесток приходите, не ошибетесь.

### С у д

Шутить не время. Дай ответ...

Пушкин.

В субботу, к восьми часам вечера в клубном зале было уже тесно. Работницы, рабочие, красноармейцы подшефной части и зайцем пробравшиеся обыватели фабричного переулка, прослышавшие о суде, сидели на стульях, кались на скамьях, заложив руки назад, стояли у стен. Прогульщица, поживаясь и посмеиваясь, пробирались в задние ряды. Около зала, у диаграмм, красными, синими и черными кубиками и кругами показывавших нарушения труддисциплины по фабрике, останавливались вновь прибывающие.

Но внимание собравшихся было еще рассеяно. Велись негромкие разговоры, слышался смех, грохот передвигаемых стульев и скамеек, топот многих ног и хлопанье дверей.

За сценой в маленькой комнатке толпились участники суда. Председатель и агитпропорганизатор комсомольской ячейки, перебивая друг друга, торопливо давали последние указания. В квадратное отверстие, прорезанное в заднем полотнище сцены, зал казался громадным и настроенным враждебно. Свидетельницы, поминутно сморкаясь, как будто они вдруг захватили жесточайшие насморки, волновались, на заседаниях вот уж десять минут искали по всему клубу и не могли найти, а время шло. Наконец,

все устроилось. Пронзительный звонок насторожил публику. Комендант суда, черный, похожий на цыгана утюжилщик с дикими глазами вышел на сцену и закричал:

— Прошу встать, товарищи. Суд идет.

За стол, покрытый красным сукном, сели: председатель, никогда не виданный на фабрике, лысый и серьезный человек, две нарзаседательницы и секретарь — свои работницы. К маленькому столику, справа, придвинули свои стулья директор, выступавший прокурором, и старший пожарник фабрики — совправец I МГУ, выступавший общественным обвинителем. Слева уселся защитник — механик отделения.

Зал глухо шумел и посмеивался, посматривая на суд и на франтоватую обвиняемую. Открывалось необычное зрелище, и публика присматривалась, перекидываясь замечаниями.

Председатель позвонил. Секретарь, работница Сторожева, торопясь и спотыкаясь, читала обвинительный акт, но голос ее креп, становился ровней, и вот уж он один звенел в притихшем ярко освещенном зале.

По бесконечной лестнице, со ступеньки на ступеньку, все ниже и ниже вел Праслову обвинительный акт. Выяснялось, что она в течение полугода прогуляла двадцать пять дней, опаздывала на работу, бросала ее раньше времени, никогда не чистила машины, грязнила и по своей небрежности заливала машинным маслом фабрикат.

Все это при конвейерной системе пошивки, когда прогул, опоздание или преждевременный уход одной отражаются на заработке всех остальных, связанных с ней конвейером, влекло за собой простои, перегруппировки работниц, понижение выпуска, срыв плановых заданий, а значит и заработка работниц.

Кроме того, это заставляло содержать лишнюю запасную, которая при прогуле обвиняемой могла бы ее заменить. Уклонение Прасловой от чистки машины более чем вдвое ускоряло износ ее частей, получаемых главным образом из-за границы. Грязный и за-

масленный фабрикат браковался. Все это за полгода дало фабрике убыток в 1.427 руб. 50 коп. Цифра была внушительна, но она являлась суммой незначительных слагаемых.

Лестница кончилась. Внизу — провал. — Признаете ли вы себя виновной? — строго спросил председатель.

Дело принимало серьезный оборот, и публика сдвинулась на стульях и скамьях, устраиваясь удобнее слушать. Категоричен был плакат, висевший за судейским столом:

Злостного прогульщика — за ворота. Вредителя производства — в тюрьму.
--

Оп не предвещал ничего хорошего для обвиняемой.

В коротком платьице, телесного цвета чулках, стриженная «под фокстрот», напудренная и подмазанная, Праслова держала себя самоуверенно. Переступив лаковыми туфельками, она бойко ответила:

— Нет, конечно, виновной я себя не признаю.

Интерес публики поднимался. Обвиняемая не сдавалась, слегка насмешливо парируя вопросы суда. Она оглядывалась, ища поддержки в онемевшем зале. Председатель двинул стулом, налег на стол и обрушился на нее градом вопросов. Осторожно, как будто она шла по тоненькой жердочке, Праслова стала отступать. Он говорил густейшим басом, а ее soprano постепенно становилось напряженной и начинало дрожать.

Домашние обстоятельства, небывалые болезни, опоздания трамваев, поломка часов, записки от докторов, — все это, как стена, было выдвинуто ею в защиту своих прогулов и опозданий. Но достоверность всех этих причин, складывавшихся у нее, как кирпичи, в какую-то заколдованную стену, работницам хорошо известна, и, когда председатель серьезно задает вопрос:

— А что, от вагоновожатого вы не представляли в контору справки, что трамвай опаздывает?

— зал смеется. Праслова не представляла даже больничного листка. С таким тщанием воздвигнутая ею стена рассыпается от этого смеха.

Свидетельницы, соседки по работе, показывают против, и только близкая подруга обвиняемой пытается ее обелить:

— Конечно, опаздывала и прогуливала, — говорит она, — но ведь это со всеми бывает...

— Значит и вы так же опаздывали и прогуливали, как и Праслова? — спрашивает председатель.

— Нет, что вы, я меньше!.. — спохватывается свидетельница.

Публика смеется опять.

Теперь Праслова совершенно одинока в этом безжалостно освещенном зале.

Выясняется, что вместо того, чтобы идти на работу, она оставалась дома, устраивала вечеринки, когда нужно было работать в вечерней смене, или просто уходила гулять со знакомыми парнями.

— Встретила я ее, — рассказывает свидетельница, — когда в вечернюю смену шла. Идет такая расфуфыренная, под руки ее два хахаля держат. Куда? — спрашиваю. — В кинушку, — говорит, — «Во власти спрута» смотреть. — А хахаль-то ее меня зовет: — Пойдем, говорит, с нами, а то у нас один в роде как бы лишний...

За сценой, заглядывая в зал в узкий квадратик, прорезанный в зеленом полотнище репса, следили за ходом дела агитпропорганизатор и экономист. Прибегала молоденькая и веселая секретарша фабкома.

— Ну, что, Нюра, как там из публики?

— Хорошо! Председатель здорово ведет. Настоящий суд. — И она морщила свой веснучатый носик и смеялась.

— А публика-то как настроена?

— Публика — против! Работницы говорят: мы ее знаем, известная по всей фабрике прогульщица.

В зале защитник допрашивал свидетельницу.

— Можно ли в полгода прогулять 25 дней и опоздать 48 раз?

— По прежним правилам внутреннего распорядка и больше можно было прогулять, а опаздывать можно было 14 раз в месяц по 15 минут: значит, за полгода-то она могла 84 раза, а не 48 раз опоздать<sup>1)</sup>.

Допрос свидетелей Праслова слушала равнодушно, стоя спиной к залу и помахивая на носки своих лаковых туфель.

— Что ж, — рассказывала другая свидетельница, — фабком за нее не один раз брался, обещалась исправиться, а толку чуть... Конечно, заработком мы из-за нее страдали, выпускали меньше, да и простой были... Несознательной она не может быть, охоча гулять только.

— Гражданка Праслова, — спрашивает прокурор, — а общие собрания, заседания производственной комиссии вы посещали, какую-либо общественную работу вели?

— Что ж их посещать, спать только... — пожимает она плечами.

Механик, неожиданный свидетель из публики, торопливо рассказывает:

— У нее челноки и сетки как в огне горели, а они из-за границы. Машина всегда грязная, нечищенная, а как станет смазывать, так и ее маслом польет и работу, которую шьет. Из-за такого обращения, конечно, машина чаще ломается. Чинишь ее, а весь конвейер стоит, работницы ругаются... Хоть беги.

Когда председатель предоставил слово прокурору, в зале работницы заулыбались:

— Смотри-ка, Митрий-то Тихонич прокурор и есть... Что же это будет-то?

Но когда он говорил свою обвинительную речь, подчеркивая, что таких нарушительниц труддисциплины на фабрике не одна, а на всех предприятиях Союза их тысячи, и они приносят огромный вред государству, срывая намеченные планы развертывания про-

<sup>1)</sup> В этих правилах было указано, что взывание (три выговора и после них увольнение) налагается за «опоздания... больше чем на 15 мин., а равно и менее 15 мин., если последнее производится многократно и систематически и составляет по совокупности не менее 2 часов за 2 недели», т. е. допускалось 7 опозданий (1 ч. 45 м.) в две недели.—Б. А.

мышленности, зал слушал внимательно. Речь его была построена не искусно, но просто и понятно.

Старший пожарник, общественный обвинитель, как с ним и было условлено, осветил вопрос сначала в мировом, потом во всесоюзном и, наконец, в местном масштабе. Говорил он длинно и запутанно и сел весь мокрый от пота. Работницы его пожалели:

— Запарился малый. Вот бы он своим пожарникам сейчас скомандовал из кишки его окатить.

Речь защитника осталась гласом вопиющего в пустыне, и Праслова, волнуясь, поводила плечами, чувствуя, что в спину ее смотрят сотни осуждающих и горячих глаз. В последнем слове ей оставалось только признать свою очевидную вину.

Суд удалился на совещание. Грохнув отодвигаемыми стульями и скамейками, зрители полились в коридор, читальню и буфет.

### Приговор.

Все дело слажено; повещено собрание.

Крылов.

В коридоре собираются группами.

— Ну, как по-твоему?

— Да что, пропала она...

— А не гуляй! Слышала, убыток-то полторы тыщи.

— И больше насчитать можно.

— Тут лишнего не насчитаешь. Суд знает, он проверит.

— Это-то так.

Совещание суда заняло немного времени. Не успели отзвонить в буфете чайные ложечки и стаканы, не успели наговориться в коридоре и просмотреть журналы и газеты в читальной, как снова прозвучал разрешавший все ожидания звонок.

Приговор был прослушан стоя.

— Именем работниц и рабочих, — густым басом читал председатель, — общественный суд швейной фабрики, признав вину Прасловой доказанной, постановил... — тут он перевел дыхание и, поглядывая исподлобья в зал и на поникшую обвиняемую, продолжал, — гражданку Праслову уволить с

фабрики, исключить из профсоюза сроком на три месяца и сообщить бирже труда, чтобы при посылке на работу при равной квалификации Праслову посылали в последнюю очередь.

Приговор оставлял за фабрикой право на иск к Прасловой в гражданском порядке на сумму причиненного ею фабрике убытка, а кроме того, в целях предупреждения других нарушителей труддисциплины, суд отмечал необходимость опубликования этого приговора по всем отделениям фабрики и в профсоюзной печати.

Зал молчал и вдруг зашумел, как рынок. Грохот стульев, шарканье подошв и гул голосов покатились к сцене, на которой за столом, покрытым красным сукном, все еще стоял суд. Секретарь торопливо складывала бумаги, нарзаседательницы по очереди пили воду, а председатель спокойно смотрел в зал.

— Товарищи, — из-за своего прокурорского столика сказал директор и вышел на авансцену, — теперь, я думаю, вам всем ясно, какой вред приносят нарушители труддисциплины и почему нам общими усилиями необходимо с ними бороться... — Тут он остановился.

— Конечно, понятно.

— Правильно припаяли!

— Уж больно строго...

— Ничего, живет!

— Тебе бы так!

— В аккурат вышло.

— Чего там, давай дальше! — кричали из зала.

— Но, — продолжал директор, — я должен вам сказать то, о чем мы до времени не говорили. Этот суд был показательным. От начала до конца он инсценирован нами. Товарищ Праслова у нас одна из самых примерных работниц, комсомолка. Она только исполнила роль обвиняемой. Для чего же мы так сделали? А вот: необходимо было показать типичную нарушительницу труддисциплины, собрав в ней одной все характерные для большинства нарушителей проступки, разбор которых в отдельности разбил бы ваше внимание на мелочи. А теперь все ясно, как на ладони, но, если надо будет, мы и



настоящих нарушителей труддисциплины посудим. Опыт у нас есть, и мяловать их мы не станем.

В зале улыбались, окружая веселую Праслову.

— Мы думали, пропала ты совсем. Тут даже такие нашлись, что тебя за настоящую прогульщицу признали. Мы, говорят, знаем, что она всегда гуляла.

А настоящие прогульщики и прогульщицы, проталкиваясь к дверям, подмигивали друг другу:

— На этот раз проехало, но, видно, надо держаться. То-то нам повестонки не дали.

Неожиданно, растолкав публику, из сцене торопливо вышла работница. Она взволнованно обратилась к директору:

— Я вот по больничному листу гуляла и просрочила один день нечаянно. Как мне за это ничего не будет? Не уволят?

Беспокоиться об одном дне прогула после тех двадцати пяти дней, за которые судили обвиняемую, — это уже много.

— Ага, забоялась! — смеялись над ней работницы.

Когда мы с председателем суда, юрисконсультом треста, шли к трамваю, нас догнала работница.

— Я думала, настоящий суд будет, — сказала она недовольно, — дочку одну дома оставила, а тут нарочно, в роде как представление было...

— А гулять будешь? — спросил юрисконсульт.

— Ну вас и с гулянками-то... Еще попадешь на такое позорище.

— То-то, смотри, — засмеялся юрисконсульт, входя в трамвай.

— А очевидно, — сказал он усаживаясь, — психологическое воздействие суда было сильное, если вы говорите, что многие работницы во время заседания начали вспоминать то, чего даже на самом деле не было, что Праслова гуляла, опаздывала, вообще никуда не ходила...

В очередном номере стенгазеты «Голос швейника» появилась рецензия, в которой бесхитростными словами было написано следующее:

«... в переполненном клубе нашей фабрики происходил инсценировочный суд над прогульщицей. Материал судебного дела ярко обрисовал слушателям громадное зло прогулов, которое резко отражается на нашем социалистическом производстве... Масса через устроенный суд хорошо и глубоко почувствовала всю важность прогулов».

М., 9 окт. 1929 г.

### 3. СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРКИ

#### 1. Холгол—остров кумки

#### Н. Шпанов

«Острова СЛО» — одна из злободневных весенних тем Севера.

На островах Северного Ледовитого океана царит Севкрайгосторг. Собственно говоря, не все острова СЛО входят в орбиту Севкрайгосторга, а только расположенные в юго-западной его части: Колгуев, Вайгач, Южный остров Новой Земли и Северный остров Новой Земли с расположенными около них мелкими островами в роде островов Панкратьева, островов Пахтусова, острова Долгого и других.

Кроме фрахтуемых Госторгом для обслуживания островов СЛО парохо-

дов, он имеет в свой собственный «флот» — два деревянных моторно-парусных бота, водоизмещением по 300 тонн. Боты эти норвежской постройки, и корпуса их вполне приспособлены к плаванию во льдах.

Весной эти боты выходят на промысел в Белое море, а с открытием прохода к Новой Земле и к Колгуеву (в июне, июле) отправляются в обход островных становищ для приема продуктов зимнего промысла и для заброски промышленникам предметов снабжения, главным образом продовольствия.

Одна из баз Госторга — остров Холгол, или Колгуев, лежит в Баренцовом море между 68° 44' и 69° 32' с. ш. и 48° 26' и 50° 8' в. д. от Гринвича. Протяжение острова 73 км. с севера на юг и 57 км. с востока на запад.

Население Холгола состоит из 29 самодских семейств численностью в 230 человек, живущих в 42 чумах.

Единственное становище на Колгуеве Бугрино, по существу просто фактория Госторга, расположено на южном берегу.

Подход к острову с этой стороны исключителен по неудобству. Но по какой-то злой традиции делать многое рассудку вопреки, наперекор стихиям, по велению левой ноги, старорежимные пионеры—купцы, забравшиеся сюда в погоне за дешевым песком, основали становище Бугрино именно на этом неудобном берегу. А у наших советских колонизаторов нехватало смелости махнуть рукой на жилую избушку купца Попова, и они стали пристраиваться тут, пренебрегши тем, что здесь берег настолько отмелел, что даже такое судно, как наш бот, принуждено бросать якорь примерно в трех милях от берега. Ближе к берегу, против становища, сербют большие кошки. Даже на шлюпке приходится сделать большой крюк в несколько миль, чтобы подойти к становищу, и то не к самому, а не ближе чем на километр в сторону. Хотя мы и шли во время прилива, но подойти к черте прилива шлюпкой нельзя и несколько метров приходится шлепать по воде пешком.

Если располагать хорошими сапогами, то не беда. Но когда мне пришлось лезть со шлюпки в воду в сапогах, изготовленных московским магазином «Турист», я испытывал очень небольшое удовольствие. Прежде чем я сделал пять шагов, в сапогах уже чмокала вода. А вода здесь студёная. Сразу прохватывает, особенно в добавление к совершенно промокшей от брызг на шлюпке спине.

Но все неприятности были тут же испулены, стоило нам выбраться на берег. Нога утонула в тонком морском песке, на высокий откос берега невозможно было выбраться по жирной, как

масло, скользкой глине. На откосе заманчиво голубел кустик ярких незабудок.

Песок и глина!

— Кептэн, я ошибаюсь или нет, мне показалось, что у нас трюмы загружены песком и глиной, тщательно упакованными в бочки?

— Правильное впечатление.

— Куда этот груз идет?

— А сюда, на Колгуев.

— Зачем?

— По госторговским данным, здесь нет ни песку, ни глины.

Позднее, когда местный агент Госторга узнал о присланном песке, он взмолился перед капитаном.

— Сыпьте в море прямо с борта.

— Не могу, я груз принял и должен вам сдать.

— Но ведь вы же оконфузите меня на всю жизнь перед самоедами: «Какой дурак русак, песок из Архангельска возит». Я уже не говорю о том, что будет стоить его выгрузка. Очень прошу вас выбросить за борт.

— Как я могу бросать за борт груз, за который в Архангельске по 45 рублей за куб плачено, да упаковка, да фрахт. Что вы, шутите, что ли? Какой эффект получится в Архангельске, если за борт сто бочек смайнать?

— Ну, а мне-то с ними что же делать? — и агент недоуменно развел руками.

— Я выгрузу, заплачу за выгрузку, а там уже ваше дело, — невозмутимо хрипит Андрей Васильевич.

Потом я видел злополучные бочки с песком, аккуратно сложенные на берегу.

Чтобы самоеды не интересовались этими бочками, агент сказал, что в них прибыла селедка (самоеды селедки не едят).

Утопая по щиколотку в прибрежном песке и гальке, мы добрались до становища Бугрино. Это главное и в то же время единственное постоянное поселение на острове. Здесь всего четыре жилых дома, если можно присвоить это название и той конуре, в которой живет помощник агента Госторга, известный здесь под кличкой «Наркиз». (Личность примечательная, но о нем ниже.)

Размеры дома Наркиза таковы, что до середины ската крыши я свободно достаю рукой. Чтобы войти в дверь, нужно согнуться в поясе под углом в 90°.

Остальные постройки немногим лучше. Обшитый толем домик агента состоит из четырех клетушек общей площадью 15 квадратных метров. Здесь он живет с семьей из 3-х человек; здесь контора, и сюда же набиваются приезжающие по делам самоеды. Когда в «столовой» стоит самовар и сидят человек пять, то не только негде уже встать, но некуда даже выдохнуть из себя воздух.

Рядом с домом агента стоит покосившаяся избушка метеонаблюдателя Убеко<sup>1)</sup>. Потолки этой избушки оставили много шишек на моей голове.

В центре поселения стоит сооружение, замечательное исключительностью совмещаемых им функций: склад мехов Госторга и церковь. Не какая-нибудь ликвидированная, заштатная церковь, а самая настоящая, действующая.

Через никогда незакрывающиеся двери мы попадаем в просторное помещение, доверху заваленное тюками связанных постелей<sup>2)</sup>. Из-за тюков виден иконостас с расставленными перед ним аналоями. На аналоях лежат священные книги. Дверь алтаря тоже не заперта.

Вхожу.

На престоле разложены орудия производства: 2 креста, дароносица, кадило и т. п. В середине большое евангелие. Сбоку в шкафчике висят облачения.

В общем вся эта часть оставлена совершенно нетронутой, и, хотя здесь нет священника, она содержится в порядке.

Самоед, которому приходит в голову справить службу, приезжает в Бугрино. Сам открывает церковь, зажигает свечи, разводит кадило и начинает службу. Обычно это делает старший в семье, все же семейство молится в церкви. Если у приехавшего есть родные, похороненные на близлежащем

христианском кладбище, то он ходит с кадилом и вокруг могил. Трудно сказать, в чем заключаются моления этих импровизированных священнослужителей и их прихожан, — ведь большинство из них даже не имеет представления о русском языке.

Содержится церковь на добровольные пожертвования самоедов. Пожертвования, или, как их здесь называют, «жертвы», приносятся натурой и притом тайно. Когда приношениями заполняется шкаф, происходит распродажа пожертвованного. Ее широко используют живущие здесь русаки, так как это является единственным легальным способом купить себе заветных песцов и лисиц.

Комитет севера проявляет трогательную заботливость в поддержании христианства среди колгуевских самоедов. Он завозит для них свечи и ладан. Эту свою функцию он даже не решился передоверить Госторгу, как все прочие снабжения.

После покосившихся, закопченных домиков становища совершенно ошелмляющее впечатление производит стоящее от него на расстоянии километра здание больницы. Большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Помещения необычно обширные, от которых уже отвык глаз москвича. У фельдшерицы комната в 15 с чем-нибудь квадратных метров; у санитарки—метров 25; приемная такая же, если не больше; аптека, ванная и т. д.

Недоумение вызывает только одно: больница на... одного больного.

Но, как оказывается, для Колгуева это вполне достаточно. Самоеды, по словам фельдшерицы, но только не любят лечиться, но и ничем не болеют.

— Позвольте, а пресловутый сифилис, от которого вымирают туземцы, а трахома, поражающая целые семьи и роды, экзема, чесотка?

Фельдшерица только плечами пожимает.

— Ну, а знаменитая чахотка, порождаемая убийственными колгуевскими туманами?

Фельдшерица даже рассердилась.

— Я же вам говорю, что туземцы здесь совершенно здоровы. Здесь нет

<sup>1)</sup> Убеко—управление по обеспечению безопасности кораблевождения в северных морях.

<sup>2)</sup> Постель—оленья шкура.

никаких типичных болезней, свойственных самоедам. У меня за год было всего 60 больных с различными пустяками.

— В чем же дело?

— В стерильности колгуевского воздуха и всего острова.

Повидимому, колгуевский воздух действительно обладает необычайными целительными свойствами. Фельдшерца и санитарка отличаются завидным цветом лица и прекрасным аппетитом.

Не отстают от них и больничные клопы. Так как жить мне довелось в больнице, то я имел возможность ежедневно и многократно убеждаться в отменных размерах и непомерном аппетите этих клопов, выползающих из всех мельчайших щелок и трещин бревенчатых стен.

Для того, чтобы выйти на крыльцо, нужно преодолеть сопротивление ветра, дующего на выходную дверь с силой, буквально валяющей с ног. Борьба эта тем труднее, что крыльцо, ступеньки, перила — все скользко и блестит, как лакированное. Густой промозглый туман обволакивает все кругом непроглядной молочной мутью.

Пронзительные, почти никогда не прекращающиеся ветры и постоянные туманы — это свойства климата, делающие жизнь на Колгуеве и особенно в Бугрине очень тяжелой. Местоположение Бугрина выбрано весьма неудачно; становище стоит на угоре, совершенно открытом, ничем не защищенном от ветров всех румбов. Хотя в свою очередь именно эти ветры и обеззараживают Колгуев, избавляя его даже от всякого рода мух, оводов и т. п.

Именно это и заставляет Госторг смотреть на остров, как на природный оленеводческий заказник.

Олень на Колгуеве — все. Олень — это основа госторговской работы, олень — это единственное и самое ценное достояние самоедов, олень — это единственная здоровая база для советизации самоедского быта и хозяйства.

\* \* \*

Колгуевская больница давно не переживала такого оживления, как со времени нашего приезда.

Днем и ночью мы только и занимаемся приемом гостей. С примусов не сходят чайники, так как — надо отдать справедливость колгуевцам, даже русакам — пить чай они отменные мастера. О самоедах я уже не говорю. Их способность поглощать чай просто феноменальна, особенно у женщин. Полуведерный чайник приходится подогреть дважды, чтобы угостить четырех человек. Однако, не следует думать, что в качестве угощения здесь можно отделаться одним чаем. Чай — это только прелюдия в угощении, представляемом людьми, приехавшими «с парохода». Основное — это водка. Все взоры устремлены на твой багаж, все разговоры вертятся около того, сколько у тебя водки.

Приезжий, не поднесший «кумки»<sup>1)</sup> гостю, — погибший человек, если он имеет в виду не только сделать какое-нибудь дело с туземцами, но хотя бы просто извлечь от них какие-нибудь сведения.

Уже на другой день после того, как мы высадились на острове, тундра, повидимому, знала о нашем прибытии. Начали приезжать гости.

Лихо подкатили к крыльцу три перые нарты. Через минуту в комнату вошли и три первых гостя: Ека, Махся и<sup>2)</sup> Неньца. Входят робко, застенчиво, смотрят исподлобья.

Я еще не в курсе тем, которые могут заинтересовать самоедов, поэтому гости сосредоточенно молчат. Так же сосредоточенно и молча пьют чай. Пьют его неизменно горячим и очень быстро. Жадно откусывают большие куски сахара.

Пытаюсь занять гостей барометром.

— Вот аппарат, который говорит вперед, какая погода будет.

Молодой самоедин поглядел, видимо, из обязанности не обидеть хозяина и снова принялся за чай. Старик даже не стал смотреть и пренебрежительно махнул рукой.

— Твой аппарат врет. Какой погода будя, кто могу сказать? Все аппараты вани врет, и этот врет.

<sup>1)</sup> Кумка — чарка.

После такого реприманда я уже не делаю попыток занимать гостей нашими диковинками.

Молчаливое хлюпанье и чавканье длится десять, пятнадцать, двадцать минут. Наконец, Макся, заместитель председателя туземного островного совета, решается прервать молчание. Маленький, щуплый, он, застенчиво улыбаясь, выдавливает из себя еле слышное:

— Хорося цай.

Помолчав, точно подумав, так же робко замечает.

— Сахар хорося.

Двое других, соглашаясь, кивают головами.

Я решаю использовать это начало и завязать разговор.

— А разве у вас нет чая и сахара?

Макся смущенно опускает глаза и, ни на кого не глядя, цедит.

— Какой пай, не стало цай, не стала сахар.

— Почему не стало?

— Агент мала давал.

— Так ты, наверно, промысла не давал, вот агент тебе и не давал.

— Какой промысла, нет промысла. Так давать нада.

— Почему же нет промысла?

— Зверь не стала, зверь большевик стала. Хоуде ягу, ау ягу<sup>1)</sup>.

— И не будет ау, потому что вы яйца весной у них обираете, откуда же ау будут.

— Яйца как не обирать, что кушать будем.

— Так ведь лучше подождать, пока птица будет. Лучше большую птицу с'есть, чем маленькое яйцо.

— Как не люце?

— Так зачем же яйца берете?

— А как не брать?

— Так ведь ты же сам сказал, что лучше большая утка, чем маленькое яйцо.

— Как не люце. А если яйца не брать, что кушать будем? Понимаешь ли, нет ли?

Я вижу, что это сказка про белого бычка, и перевожу разговор.

— А вот куроптей у вас тут много должно быть. Госторг промысел ставить будет.

Переглянулись, смеются.

— Хоуде ягу, нет куроптя.

— А куда же он девался?

— Хоуде большевик стала, не стала на Колгуе.

— Что же, по-твоему, большевики плохие люди?

— Зачем плохо? Нет плохой. Говорю только: большевик глупой. Нам тенег нада, сахар нада, сипун<sup>1)</sup> для пой<sup>2)</sup> нада, цай нада, водка нада. Понимаешь ли, нет ли?

— Понимаю, конечно, так ведь вам все это и привозят.

— Какой привозят?.. Мала привозят.

— Ну, сколько тебе чего надо? У тебя какая семья?

— Моя какой семья, малой семья -- не<sup>3)</sup> есть, анцы<sup>4)</sup> два есть, больше нет.

— Старики есть?

— Ягу.

— Ну, так сколько же на тебя, женку и двоих детей чего нужно в год?

— На год? Сахар два сотня килограмма нада, цай два десятка килограмма нада, мука десять мешок нада. Агент не дает столько. Мала дает, сей год сахар шестьдесят сотня (160 кило) давал, цай пятнадцать кило давал. Мала... Вон большевик больница строил. Зачем больница? Больница много тенег стоил. Тенег нет, больница есть, пустой дело. Водки тозе нет, как мозна? Глупой большевик.

-- Пстой, друг, ты что-то врешь. Ведь у вас на острове свой совет?

— Свой.

— Свой председатель?

— Свой претатель, я сам, парень, заместитель претателю.

— Заместитель председателя?

— Ну, да, замеситель.

— Так ведь вы же сами должны говорить, что вам нужно, чего не нужно. И разве к вам не приезжали русаки объяснять, как совет работать должен, почему надо больницу строить, почему теперь водки нет?

<sup>1)</sup> Сипун—сушко (арго).

<sup>2)</sup> Пой—матерчатое покрытие чума.

<sup>3)</sup>

<sup>4)</sup> Анцы—сык

<sup>1)</sup> Хоуде—куропатка; ау—утка; ягу—вет.

— Как не приехал, приехал. Многа приехал. Самый большой нацальник из самый большой исполком приехал. Сидельник его прозывают.

— Синельников, что ли?

— Ну, да, Сидельник, он. Приехал, собрание делал. Многа говорил. Наса, говорит, самоецкий совет нада делать, а сам наказал секретарем Павлика выбирать. Мы выбирал, руки поднимал. Как мозна не выбирать?

Рассказчик, повидимому, стал оживать, но тут его перебил по-самоедски его сосед, седой, как лунь, старик с изборожденным глубокими морщинами лицом.

— Ну, да, как мозна не выбирать, коли Сидельник наказал? Сидельник многа говорил. Наказал водки пить не нада. Церковь ходить не нада. А только врал все парень. Я тебе говорю, Сидельник сам пьяная был. Нас не оманешь, с чего мозна пьяный быть? Только с водка. А зачем самоеду пьяный тозе не быть? Знацит, водка русэку тозе хороша. Нет, врес, парень, нас не оманешь. Сидельник наказывал самоедскому обтеству в церковь ходить не нада. Как не нада, когда сам свецку и ладан привозил, служба церкви править. Многа врал Сидельник. Он сам чум никогда не емдал. Павлик посылал. Павлик тут у нас секретарем зимовал, все на чумы емдал, водку вместе пили. Павлик хороша видал, какая наса жизнь, что самоеду нада. На другой раз, когда Сидельник приехал, опять собрания делал, Павлик тозе говорил. Павлик сильна Сидельника ругал. Сидельник осерчал, большой начальник, ему серчать мозна. Он Павлика в морду бил и велел другой секретарь выбирать. Мы руки поднимал. Как мозна не поднимать, коли большой нацальник из самый большой исполком наказал. Казал Павлик водку пивал, с водки казал помирать будем. А только, парень, нас не оманешь. Зачем сам водку пивает, а нам не дает? Сидельнику водка, а самоедам больница. Так не ладана, парень.

Двое других самоедов согласно кивнули головами.

— Да, так не ладна, парень.

Эта поддержка точно подстегнула старика.

— Ты кажи, парень, кто врал-то, агент врал ли, нацальник врал ли? Не Сидельник, другой нацальник на Колгуй езжал. Наказывал нам не нада долг Госторгу платить. Наказывал Госторг грабил долг тот, не нада платить. Да... большой хозяин самоецкий долг долой писать будя. Так нацальник наказывал. Да... а агент как делал? Наказывал: «Долг плати. Долг есть — товара нет». Какое мое дело долг? Ты товар давай, есть долг, нет долг. Мне товар все одно нузно. Давай товар, как нацальник наказал. Кто врал? Я так думаю — агент врал. Нас не оманешь, парень.

Они сумрачно допили чай и положили чашки на блюдца.

Минут десять прошло в молчании.

Меня выручил, наконец, Неньца.

— Ты, парень, дела делать приезжал на Колгуй?

— Да, вот скоро в чумы к вам едем.

Тут почти в один голос все трое гостей облили меня холодной водой.

— А водку привозил, парень?

И они весьма недвусмысленно установились на водочную бутылку, стоящую на столе. Однако, в бутылке была чистая кипяченая вода.

— Нет, у нас здесь водки нет.

— Как нет, парень? Не нада манить, нас не оманешь.

Заскорузлый палец Еки черным, широким, как лопата, ногтем ткнулся в бутылку.

— Это вода, друзья.

— Какой вода, вода нам не нада. Кумка таря<sup>1)</sup>.

— Говоруя — нет вина здесь.

В доказательство я налил в чашку воды из бутылки и дал попробовать всем троиам.

Отпили, почмокали, покачали головами.

— Десь нет, пароход есть. Какой дела делать езжал, коли кумки не подносил. Только голову дуришь. Так не ладна, парень.

<sup>1)</sup> Тара — нужно; в приставке к глаголу — повелительное наклонение.

Я попался на удочку.

— Здесь нет, на судне водка. Вот привезут, тогда приходите, угощу кумкэй.

Только этого им, повидимому, и было нужно. Они сразу поднялись.

— А не обманешь, парень?

— Зачем обманывать?

Три пары глаз еще раз подозрительно обшарили все углы прежде чем гости решились уйти.

Наши первые туземные гости.

Всего два часа знакомства, а какая оскомина.

Ощущение оскомины охватывает вместе с чувством близким к тошноте от острого запаха, оставленного по себе самоедами. Кислый пот, гарь, тухлое мясо — все это смешивается в какой-то всепроникающей крепкой струе. Волны этого самоедского духа плавают по комнате вместе с сизыми клубами табачного дыма.

А из соседней комнаты так же непреодолимо лезет в дверь резкий гул голосов собравшейся у нас русской колонии Колгуева. По тяжелому запаху спирта можно догадаться о причине. Чтобы избавиться от удушающей смеси самоедского пота с русской горькой, я сбегаю на двор.

Редкий для Колгуева вечер.

Почти тихо и нет тумана.

Далеко в море виднеется наш бот, отделенный от берега резкими желтыми полосами кошек, просвечивающих сквозь серо-зеленую муть воды.

По мере удаления к горизонту море делается все темней, пока не переходит в бурый, почти черный валик тумана. Над этим валиком снова серая муть, холодная, глухая.

А с другой стороны мокрый купол неба как-будто влип в пологие буро-зеленоватые волны тундры.

Под ногами пружинит бархатистый ковер мха. Он, точно матрац, поддается на каждом шагу и так и тянет нагнуться и погладить рукой его коричневый ворс.

Но какое разочарование; такой бархатистый на вид, мох дерет по руке, как хорошая терка. Из-под верхнего сухого слоя при легком нажиме выступает вода. И совершенно теряются

в коричневом мшистом ковре редкие, редкие кустики незабудок. Они здесь особенно яркие, чистого, чистого голубого цвета. Еще реже, отдельными глазками выглядывает иногда из-под ног ромашка.

Не успеваю я пройти и одного километра в сторону тундры, как свинцовые валы тумана, видневшиеся 15 минут назад над морем, уже набегают на берег и начинают затягивать больницу. Она тускло желтеет свежим срубом сквозь завесу мутных клочьев.

Платье сразу намокает. Волей-неволей нужно итти домой.

А дома в комнатах такой же непроглядный туман, как на улице. Сизые клубы дыма от несметного количества выкуриваемых собеседниками папирос плавают над столом.

Слышится хриплый голос Наркиза.

— Нет, я давно уже не священствую. Здесь я священствовал всего лишь два года, а то все на Новой Земле. Там-то я прожил, кажется, лет двенадцать.

Наркиз приостановился, медленно выцедил рюмку и, чавкая огурцом, продолжал:

— Религия? Какая там религия? Я так полагаю, что самоедину решительно все равно кому молиться, лишь бы молиться. Вот я вам скажу про свою просветительскую, так сказать, миссионерскую деятельность.

Приедешь бывало в стаповице. Ну, конечно, вина привезешь. Без этого уж мы не езжали. Захватишь ведра три, а то и четыре. А вино нарочно так привезешь, чтобы самоеды видели.

Бывало спросишь: «Ребята, к обедне придете?» Ну, желающих мало, все на работу ссылаются: кому в море нужно, у кого рыба не засолена, другому турпана<sup>1)</sup> бить надо. Тогда себя и объявляешь: «Кто придет к службе, получит по чарке водки».

Ну, конечно, придут. Служишь, стараешься. А они молчат, точно воды в рот набрали. И не перекрестится ни один. Такое зло бывало возьмет. Скажешь им душевное слово: «Вы что же,

<sup>1)</sup> Местное название гаги.

такие-сякие, где вы, на сходке, ай в церкви? Молитесь я за вас буду, что ли?» Молитесь, мол, и чтобы с крестами.

Ну, начнут здесь кланяться. И лбы крестят, нужно не нужно. А только все молчат.

— Пойте,—скажешь,—братья, «спаси, господи, люди твоя».

Молчат.

— Вы что, онемели?

Молчат; начнешь по словам им выпевать, а они хоть бы что, как оглохли. Ии зло возьмет и крикнешь им:

— Вы молитву знаете?

— Не знаем, мол.

— А русский язык знаете?

— Тоже, мол, не знаем.

— А если я вам чарку за молитву поднесу, тогда знаете?

— Тогда,—говорят,—знаем.

И начнут тут на все голоса выводить. Такое запоют, что хоть святых вон выноси. Стараются. На «спаси, господи» не очень похоже, но ведь не в том и дело.

А только службу кончу, сейчас всем обществом ко мне. Давай чарку: за поклон — одну, за молитвы — одну, за пенье — одну. Ну, выпоишь им ведро и айда в другое становище.

Пока Наркин опрокидывал очередную рюмку, разговором овладел агент Госторга Жданов.

— ...Жизнь мою в рассуждение возьмите. Госторг требует: товар дайте, а Комитет севера — тпру... Шалишь... Ты самоеда не тронь. Ты ему за товар-то в ножки поклонись, а он тебя еще ногой в рыло пхнет... Ведь если бы самоед знал, что для своего пропитания он так же, как наш российский пролетариат, труд положить должен. А то ведь разговор какой: милые самоедики, вы можете и работать, конечно, если захотите, но поймите, между прочим, в виду, что этот самый Госторг вас и так и этак, все едино кормить обязан. Долги есть? спитет Госторг, он богатый... Ставка мала? повысят Госторг, — его мощна, мол, выдержит.

Укажите между прочим, товарищи, который метод в таких обстоятельствах я, как агент, иметь могу? При-

вели, скажем, товар. Команда его к черте прилива выбросила, а я хоть своими двумя руками грузы в амбар поднимай. Потому хотя поденная плата и определена кучеру на наших оленях в 2 р. 80 к. поденно, а на выгрузке по 5 рублей человеку поденно, но, впрочем, еще и за эти деньги напротсишься, так как в направлении работы физического свойства самоедин первый лодырь. Муку на угор поднимать, так он тебе за день пять кулей сносит, и то скажи спасибо. А между прочим пятерку ему гони. Какой процент накидки выходит, сами судите. Но накидки не полагается, дана Госторгу твердая цена — по ней и отпусти. То есть значит, себе в убыток.

Или тоже возьмем к примеру детскую площадку. Придумали это детей самоедов, прибывающих в Бугрино на время убоя, воедино собирать и с ними заниматься. Ну, хорошо, привезти-то детей самоеды привезли и на площадку сдали. А потом и говорят: за такое одолжение пушай Госторг наших детей и кормит. А что у меня, Нарпит, что ли?

Вот опять насчет вина, у кого найдется омельость в отрицании его злокачественной вредности? Ну, а разве можно помыслить про сношения с самоедином без угощения? Да с ним не то что дела, пустого разговора не скленишь.

Жданов крякнул, рывком опрокинул чашку и, не закусывая, грустно как-то закончил:

— А рассудите, товарищи, что есть триста литров вина на этот остров? Рази это норма? Тьфу, раз...

В это время прибыли с судна люди, доставившие кое-какое имущество.

Почти одновременно с прибытием этих людей я увидел в окне несущиеся по тундре ханы<sup>1)</sup>. Один, другой, третий. За ними еще середы в тумане упряжки.

Было уже 2 часа ночи, и я никак не мог предположить, что все эти упряжки направляются к нам. Но это было именно так. Не дальше как через десять минут самая большая комната

<sup>1)</sup> Хан—оленья нарта.



больницы была уже до отказа набита самоедами.

Причину столь позднего визита тут же пояснил тот самый старик-самоедин, что был уже у нас днем.

— Ты видал с парохода люди с мотор приходил, ящики носил. Ты казал пароход водка есть. Я так думал этот люди водка возил. Ты кумка подноси, парень.

\* \* \*

Сквозь тройные рамы еще слышно пощивывание ветра.

Нудно вое в трубе.

Это остатки крепкого зюйд-веста, два дня не дававшего производить разгрузку продовольствия, привезенного нашей шхуной для колгуевской фактории Госторга.

Люди бродят от дома к дому. Редко прокричит над берегом чайка. Она отчаянно машет крыльями в сторону моря, но ветер несет ее хвостом к тундре.

Зато нет и в помине несносного тумана. Уляжется зюйд-вест, и будет совсем хорошо.

Сегодня к полудню должны приехать самоеды, чтобы взять экспедицию в тундру. Но с'езжаются что-то очень вяло. С большими промежутками показываются одна за другой упряжки.

Пока с'едутся наши ямщики, надо использовать время хотя бы для того, чтобы хорошенько познакомиться с самоедской одеждой. Ведь мне самому через несколько часов предстоит облачиться в малицу.

Малица — это широкая, длинная рубашка, сделанная из оленьих постелей. Носится мехом внутрь, прямо на голое тело. Зимой поверх малицы одевается вторая такая же рубашка, но мехом наружу — совик. Кроме того, совик обязательно делается с капюшоном, а на малице делается иногда только высокий воротник без капюшона.

Ни на малице, ни на совике нет никаких застежек и надеваются они прямо через голову.

Из широких рукавов малицы можно совершенно свободно, не снимая самой малицы, втянуть внутрь руки. Само-

еды так все время и ходят. А кроме того, это позволяет им все время заниматься борьбой с одолевающими их вшами.

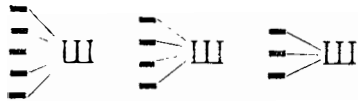
Один «опытный путешественник по тундре» пытался в Архангельске уверить меня, что замечательным качеством оленьей одежды является именно то, что в ней не заводятся вши. Ну так должен заявить, что мой скромный опыт совершенно не согласуется с этими уверениями опытного путешественника. Достаточно один раз видеть, как самоедин берет в зубы подол своей малицы и проходит по нему зубами, делая мелкие и быстрые укусы. Насекомые трещат на его зубах достаточно убедительно, чтобы разочаровать в антипаразитных свойствах оленьего меха.

Если учесть, что самоеды в подавляющем большинстве никогда не моют даже лица и рук, не говоря уже о теле, то становится совершенно непонятным, каким образом их тело сохраняет совершенно белый цвет и кажется вполне чистым. Вот здесь я согласен поверить в спасительное действие оленьего меха, очищающего тело от грязи и пота.

Так же, как малица, носятся на голое тело и меховые штаны, а вместо сапог — пимы с меховыми чулками — лигитами.

Госторг, говорят, делал попытку завести на Колгуев белье, но, в силу нежелания стирать его, самоеды носили рубашки под малицами просто до тех пор, пока эти рубашки не истлели. А это не только не приносило пользы с точки зрения гигиенической, но скорее наоборот — оказывалось вредным.

Наконец, прибыли нужные нам олени. Каждая запряжка состоит из трех парт, запряженных таким порядком:



В передней нарте — пять оленей, на ней сидит ямщик. Во второй четвере оленя — для пассажира. В третьей три оленя — под багаж.

Размер санок: 270 × 90 × 60 сантиметров.

Доски для сидения настланы лишь в половину длины санок и притом с промежутками шириной в ладонь так, что сидение особенным удобством не отличается и не сразу приспособишься сесть так, чтобы с одной стороны было удобно, а с другой быть уверенным в том, что не вылетит при езде по кочкам. Аборигены очень страшатся трудностью езды по летней тундре именно из-за кочек.

Я устроился поудобнее на своих вторых санках, на задних прикручен багаж.

Рослый красавец Иоцо, держа в одной руке мотыню<sup>1)</sup>, в другой—тюр<sup>2)</sup>, бежит рядом со своим ханом, пока не разогнались олени; затем с размаху кидается на сидение. С этого момента ни на минуту не остается неподвижным его тюр, сердито подталкивая зады одних оленей и ласково оглаживая других.

У Иоцо щегольская головная упряжка—пять белых рослых быков.

Мои олени привязаны веревкой за шею к задку хана Иоцо, а в свою очередь к задку моего хана привязаны за шею олени багажного хана. Поэтому обе «прицепных» упряжки вынуждены равняться по головной—самой сильной—упряжке, если они не хотят быть задушенными.

Мы быстро выносимся вперед. За нами длинной вереницей растягивается караван.

Хан мягко бежит по мшистому ковру тундры.

Благодаря широкому разбосу полозьев хан кренится только на очень высоких кочках, а через небольшие проскакивает почти незаметно. Чтобы не испытывать неудобств езды, нужно только приспособиться полусидеть, полулежать, свесив ногу с хана. Но так, чтобы она не задевала за встречные кочки.

Как шпалы на железной дороге, мелькают под хапом кочки. Впереди с легким треском, похожим на треск,

какой издает мех кошки, если проводить по нему гребенкой, мелькают копыта четырех оленей и мотаются из стороны в сторону их мохнатые крупы. Они то расходятся в стороны, то прижимаются друг к другу совсем вплотную. Временами просто оторопь берет, как ловко бегут животные через расставленные по их пути бесчисленные препятствия.

Нечего говорить, что никакие лошади не смогли бы здесь пробежать и ста метров, не поломав себе ног. А олени временами только разносят ноги широко в стороны, как циркуль, и пропускают между ними кочки.

Километр за километром передо мной мотаются крупы оленей, и высоко торчащие из-за них рога раскачиваются из стороны в сторону, точно широкие ветви фантастического дерева, колеблемые порывами ветра. Бока животных начинают ходить все сильней и сильней от быстрого бега. А над головой у меня нависают морды задней упряжки. Широко открытые, до бессмысленности грустные глаза, разинутые рты и свесившиеся из них на четверть аршина языки. Морда оленя глупо-прекрасива на бегу.

Тяжелое, точно из кузнечных мехов вырывающееся дыхание дает понять, насколько тяжела дорога.

Под санками бежит шероховатый серый ковер мхов. Временами его сменяет короткая, плотно приглаживаемая полозьями зеленая травка болота или жидкая коричневая, как загустевшая кофейная гуща, грязь. Тогда полозья идут легче, и олени прибавляют ходу, а па спину мне и за воротник малицы летят брызги мутной желтой воды и комья коричневой грязи.

Олени бегут, и ветром песет мне в лицо вместе с брызгами из-под их копыт целый дождь шерсти, летящей с линяющих быков. Шерсть летит с них целыми клочьями, пучками, и скоро мое мокрое лицо напоминает ковер из оленьей шерсти. Шерсть неприятно пахнет и щекочет лицо, но стирать ее нет смысла, так как немедленно налипает новая, и только загоняешь в рот шерстинки, от которых потом немислимо отплеваться.

<sup>1)</sup> Мотынья—вожжа от оленя-вожака.

<sup>2)</sup> Тюр—хорей, длинный как пика, шест, заменяющий бич.

Мы мчимся по девственным мхам без всяких признаков дороги или следа, но время от времени Иоцо трогает единственную вожжу, идущую к быку-вожаку. Упряжка послушно сворачивает то вправо, то влево.

Так же, как я не могу понять, какими признаками руководится Иоцо, выбирая нужное направление в однообразной тундре, я не знаю и того, как он определяет пройденное расстояние. В тундре нет верстовых столбов, и у Иоцо нет часов. Но время от времени Иоцо резко дергает вожжу, вся упряжка бросается влево, Иоцо перегораживает ей путь своим тюром, и олени встают как вкопанные.

Иоцо соскакивает с хана и безапелляционно заявляет:

— Верста проходил.

Самоеды называют здесь «оленьей верстой» расстояние в пять километров. Это та дистанция, которую олень пробегает без отдыха летом.

Фраза Иоцо «верста проходил» означает, что мы будем стоять, пока не подтянутся остальные ханы.

На одном из них сидит Черепанов; у него в рюкзаке упакованы бутылки с разведенным спиртом.

Было бы совершенно бесполезно пытаться уговорить Иоцо ехать дальше, не ожидая остальных. Его олени не отдохнут до тех пор, пока ему не будет поднесена чудодейственная кумка.

Ради получашки водки самоеды не лезут на каждой версте распаковывать рюкзак Черепанова, опутанный целой паутиной веревок, хотя мне так и не удалось уговорить Иоцо перепаковать едва держащийся на заднем хане ящик с продовольствием.

Зато, как только получена кумка и крепко увязан на хане заветный черепановский рюкзак, ящики немедленно принимаются распутывать перемешавшихся в кучу оленей, и мы движемся дальше.

По мере удаления вглубь острова, характер местности меняется. На встречу идут холмы, а затем и настоящие ущелья и горы.

Мы стрелой спускаемся с крутого откоса прямо в русло потока, и по-

лобья хана скребут по его каменистому ложу.

Дальше едем вдоль реки прямо по руслу. Речка то растекается в плоскую лужу, едва захватывающую копыта оленей, то доходит им до брюха. Животные часто и напряженно дышат, с трудом протаскивая ханы по острым камням.

Вокруг в складках лежит пожелтевший летний снег.

Вот мы с гинком выбираемся на высокий берег реки, и под полозьями слышится шуршание мелкого желтого песка.

С холма на холм, из ущелья в ущелье. Через речки, болота и озера бегут олени.

Тусклое солнце уже коснулось горизонта и снова пошло наверх, когда с высокого холма я увидел в котловине темный конус чума.

Через четверть часа, встреченные злобным лаем своры грязных, лохматых собак, мы подкатили к чуму.

Около чума, спрятав руки внутри малицы, стоят высокий угрюмый самедин. Хозяин этого чумовья—Зосима, пастух госторговского стада (как, впрочем, и все привезшие пас ящики).

С непривычки мы изрядно устали от целого дня езды на оленях. Поэтому нашим первым стремлением было устроить себе ночлег.

Прежде всего нужно найти клочок чистого места, не загаженного людьми и собаками. Видя наши поиски, один из самоедов, сомнительно покачав головой, философски заявил:

— Зря искать станешь, куругом говна. Ты на говна постель клади. Ничего.

Может быть, оно и ничего, но все же мы на первый раз решили отыскать место почище.

С трудом, но нашли.

Мы с Черепановым быстро расставили свою палатку, так как еще накануне в Бугрине прорепетиروвали ее постановку.

Кстати сказать, эта репетиция оказалась очень кстати, так как палатка была до смешного плохо и небрежно сделана, хотя и изготовлялась в Мо-

скве в мастерской магазина «Турист».

Я не особенно завидовал кинооператору Блувштейну, делавшему неловкие попытки поставить рядом с нами свою палатку, в которой он любезно предложил кров увязавшейся за экспедицией бугринской фельдшернице. Думаю, что Блувштейн так и не смог бы осуществить своего гостеприимства, если бы на помощь ему не пришел Черепанов.

Через полчаса наш маленький лагерь был установлен, и все забрались в свои палатки.

Так как в добавление ко всем блестящим качествам палатки «Турист» у нее еще не сходятся с нужным запахом полотнища входа, то промозглый ночной туман загоняется холодным ветерком до самого дальнего угла палатки.

Я пытаюсь спать в малице, но это совершенно невозможно. Узкий воротник душит. Ветер дует под широкий подол, стынут открытые ноги. Приходится перевернуть малицу воротом вниз и натянуть ее на себя, засунув ноги в рукава. Так много лучше, только переворачиваться с боку на бок неудобно и очень уж холодно верхней части туловища.

Прослав немного больше часа, я вылез из палатки.

Всю долину заполняет сизая муть тумана. Промозглый холод пробирает до костей.

Рядом на бугорке возвышается темный силуэт чума. Из вершины его конуса выбивается блеклое облачко дыма. Значит не спят.

Вокруг чума в неопишемом беспорядке разбросаны ханы привезших нас самоедов. Около ханов брошена неприбранной сбруя.

Используя ханы как крышу, набились под них тесными клубками собаки.

Царит мертвая тишина. Серая, глухая. Такой тишины не бывает больше нигде; ни в городе, ни в лесу, ни в поле, ни в море. Только в тундре.

Абсолютное молчание.

Ухо не улавливает ни одного звука, кроме ударов собственного сердца.

Оттого, что царит унылая мгла, в которой неуверенные силуэты чума и ханов расплываются серыми призраками; делается еще холодней.

Подхожу к чуму. Из-за полога едва слышны голоса. Поднимаю засаленный край черной от копоти и грязи шкуры. Глаз упирается в тень, окружающую яркое пятно костра. В нос шибануло дымом. Через минуту дым начинает немилосердно есть глаза.

Я торопливо озираюсь. По стенке, едва освещенные отблеском костра, сидят самоеды. Здесь все наши ямщики. Сидящие у входа подвигаются и очищают мне место. Сажусь по-турецки на постель, мысленно подсчитывая то количество вшей, которое мне придется вылавливать по возвращении домой.

В чуме дымно и смрадно. Из-за спящих сидящих самоедов выглядывают рожицы детей. Нет-нет из-под локтя кого-нибудь из сидящих высунется собачья морда. Безжалостным пипком ее возвращают назад.

В дальнем конце, в темноте, которую с непривычки едва преодолевает глаз, видны две хабин<sup>1)</sup>. Они вынимают из котла, только-что снятого с тагана, вареное мясо. Руками, редко пуская в ход нож, они делят мясо на небольшие куски и раскладывают в несколько плошек.

Самоеды едят мясо после чая. Пока они пьют чай, звучно вытягивая его губами из чашек.

Хабинэ вышла на свет и берет первую свободную чашку. Пальцем она выбрасывает приставшие чайники, вытирая их о полу малицы. Проворно действующий палец хабинэ ярко освещен. Он до такой степени грязен и покрыт салом, что у меня появляется во рту ощущение, как перед морской болезнью.

Чтобы придать чашке окончательный блеск, хабинэ сочно плюет в нее и вытирает ее засаленным рукавом малицы.

Вдруг меня осеняет мысль: да ведь эта чашка очищается для меня!

Я не ошибся. Хозяин наливает в эту

<sup>1)</sup> Хабинэ—женщина.

чашку горячего чая и с куском сахара протягивает ее мне.

— Наса самоетки чай кусай.

Мурашки бегут по спине, но приходится брать.

Чтобы отвлечь внимание хозяев от злополучной чашки, я стараюсь затеять разговор. Дело идет плохо, так как вся компания успела уже заняться мясом. Они наперебой тащат из плошек серые куски оленины. Чавканье и сочный хруст хрящиков слышится со всех сторон.

Едят молча, сосредоточенно, изредка перебрасываясь фразами. Едят жадно и помногу.

Отдуваются, икают и снова едят.

Наевшись, откидываются от миски и, обсосав пальцы, вытирают руки об малицы или об пимы.

Тщательно, до блеска обскобленные, обсосанные и вылизанные кости, оставленные гостями, хозяйка тщательно собирает и опускает в тот же котел. Это будет суп на завтра.

У гостей из-за пазухи появляются мисеты и трубки, папиросы.

Ко мне повернулся хозяин чума:

— Ты, парень, гость моя. Желаетьш ли, нет ли самоеткая сказка слышать?  
— Очень желая.

— Винукан будет сказывать. Он знает старая сказка.

При этих словах хозяйина в середину круга выдвинулась массивная фигура черного как смоль самоеда с суровым, точно вырубленным из камня, лицом. Большой горбатый нос и узкое лицо делали его так мало похожим на самоеда; передо мной невольно воскресли образы куперовских индейцев. Это был Винукан.

Я не сразу узнал в нем шамана, который приезжал к нам в Бугрино за кумкой.

Ко мне подсел маленький пожилой самоед с торчащими, как у моржа, рысьими усами—Николай Летков. Он сравнительно чисто говорил по-русски. С конфиденциальным видом он мне шепнул:

— Я тебе по-русски сказывать стану, что Винукан будет напевать.

Я вынул блокнот и карандаш.

Винукан уставился в костер широко открытыми глазами и, набрав полную грудь воздуха, загнусил нараспев непонятные мне слова.

Летков шепотком на ухо переводил мне их.

Вот что пел Винукан<sup>1)</sup>:

«За длинным хребтом высоких холмов, где голубой волк со сверкающей черными искрами спиной, в долгую зимнюю ночь, уставившись на полный диск луны, поет свою жуткую песнь, есть долина. В этой долине растет ягель, он высок и мягок, как шерсть полярного медведя, царя всех медведей и господина белых пустынь.

Среди этого ягеля, точно на ковре, шитом из постелей зимних хоров, стоят чумы.

Это чумы самоедских богатырей. Их род никогда не знал счету своим стадам и богатствам.

Легкие санки, покрытые андером, незапятнанным, как зимняя льдишка, с белой как снег четверкой в упряжке, точно куропатка с гнезда, сорвались от одного из чумов и понеслись в снежную даль. Скорее чем веко успевают подняться и опуститься над глазом, санки были уже так далеко, что был виден только столб снежной пыли, поднятый их неустойчивым бегом.

Это богатырь Кырыкытэа поехал к своему стаду.

Уже третье солнце кончало свой путь через небо, когда Кырыкытэа въехал в лес рогов своих оленей, такой густой, как чаща тайги самой южной, какую когда-либо видели люди. Это была только середина его стада.

Шум дыханья оленей был громче рева морских волн, когда их гонит северный ветер на кромку берегового припая. Пар из ноздрей оленей, заво-

<sup>1)</sup> Записав сказку, спетую Винуканом, я обратил внимание на то, что содержание ее мне почему-то знакомо. Позже, вернувшись из экспедиции, я проверил себя. Действительно, сказка Винукана была почти точным пересказом той записи, которую дал мне прочесть Л. Н. Гейденрейх, сделавший ее много раньше в Канитской тундре на материке. По записи Гейденрейха я и внес много исправлений в свой текст самоедской былинки, так как многое из слетого Винуканом в переводе Леткова мне не удалось уловить.

лакивал густым туманом все стадо, простирался так далеко вширь и ввысь, что нельзя было видеть его края.

С тынзеем<sup>1)</sup>, сплетенным из тонких ремней длинными ножами белого лета, Кырыкытэа выехал поимать себе упряжку для дальнего пути. Кырыкытэа собрался в большое становище к большому русскому начальнику. Много лет не плачена ему подать. Может осердиться начальник.

И стал себе Кырыкытэа выбирать упряжку для дальней дороги.

Есть у него пять наличных выведенных хапторок, добрые в держке, да на дальнюю-то дорогу не держанные, не выстоят. Есть черные, как жуки, что весной по тундре летают, пять быков, в езде сильно ретивых, да к дальней дороге тоже непривычны. Загорят с горячкой-то своей, живо утомятся. Есть еще пять белых, их шерсть белее, чем бывает шерсть песца в ту пору, когда снег покроется настом и глаза болят от одного взгляда на тундру, сверкающую при солнце белизной своей. Те на дальнюю дорогу много лет держаны. Отец еще в большое становище с податью ездил. После того в упряжке не бывали. Эти, хоть и стары, да выстоят.

Пронзительно свистнул тынзей, брошенный быстрее, чем летит из лука стрела. Раз, другой, третий, четвертый и пятый взвизывал тынзей. И ни разу не было так, чтобы его петля не падала на высокий рог быка. В упряжке было пять белях, да не чисто белях, а каждый с отметиной; у передового под ухом черное пятнышко; с передовым рядом—на шее пятнышко; у среднего—на лопатке пятнышко; что рядом с крайним—у того на холке пятнышко; у крайнего—на задней ноге пятнышко.

Осмотрел Кырыкытэа упряжь, держнул всей своей богатырской силой, крепко все. Взял хорей и ветром к чуму понесся. Точно снежный ураган по тундре пролетел. А у чума его уже батюшка ожидает, закрывшись от света рукой, тундру оглядывает. Ласково спросил:

— Дитятко мое, куда собрался?

<sup>1)</sup> Тынзей—аркан.

— К русскому начальнику ехать надо. Десять лет не бывали, подать не возили. Сердиться станет. Достань-ка песцов да лисиц что ни есть лучших, но полному мешку. Начальнику свезу.

А отец был мудрый, старинный был человек. Запечалился отец. Ночь всю просидел с пензером, но что ему табачки открыли, того никому не сказал.

Только ласково сыну обмолвился.

— Не езд, дитятко, уедешь в становище, да там начальник станет тебе кумки подносить, запьешь ты и месяц и другой будешь пить, а враги тасына да тунгус набегут на наши чумы и всех нас зарежут.

Приадузался Кырыкытэа. Долго думал, да и говорит:

— Нет, батюшка, я поеду. Если бы враги хотели притти, то пришли бы раньше, а захотят, так и позже придут и при мне придут.

Только заплакал старик. Мудрый был и много знал, но ничего не сказал.

Взял Кырыкытэа два полных мешка песцов и лисиц. Ударил вожжей по крутому боку передового, качнулся в богатырской руке хорей, и понеслась лихая упряжка.

Как пять белых чаек, как пять снежинок, подхваченных ветром, несутся олени. Олени добрые, сами бегут, хореом шевелить не надо.

Три солнца прошло по небу, как ехал Кырыкытэа, и только тогда до целого невыбитого оленями снега доехал. Велико было стадо богатырей самоедских.

Половину луны неудержимым вихрем неслась упряжка. Много холмов пересек санный след, много озер обехал, выкружил Кырыкытэа, только тогда показалось становище русского начальника.

Знал он до этого за солнце, что становище близко,—следа росомахи уже целое солнце не видал.

Как избы увидел, словно опьянел. Лицо раскраснелось, в жар бросило, шапку с головы сбросил и под себя сунул.

Ветер ласково расчесал холодной пятерней черные, как вороново кры-

ло, пряди прямых волос. В становище в'ехал. Олени боятся, шарахаются. Десять лет здесь не бывали, русского жилья не видали давно, духу-то не могут терпеть чужого. Передового все на тугой вожже держать надо, а то свернут куда-нибудь в сторону.

К большому дому в самой середине становища под'ехал Кырыкытэа. Упряжку вожжей привязал, хорей к ногам оленей бросил. Потянулся, размял затекшие от долгой езды руки и ноги Развел богатырскими плечами. Глядит, начальник-то уже с крыльца спускается.

— Здравствуй, — говорит, — друг. Не знаю я твоего лица, а по оленям признать могу. Старика Кырыкэ ты сын будешь?

— Правильно, друг, — Кырыкытэа ответил и пошел за хозяином на высокое крыльцо.

Привел его начальник в просторную горницу. Обедать посадил за стол с собой. Никогда еще Кырыкытэа так не едал. После обеда хозяин кумку вынес.

— Ну, — говорит, — для первого знакомства давай чокнемся, чтобы у нас с тобой все так же ладно шло, как раньше с отцом твоим ладилось.

Не помнит Кырыкытэа — много, мало ли пил он у начальника. День ли пил, два ли пил, а может и целую неделю. Только проснулся, а голова-то как отморозенная. Ничего не чувствует.

Не может Кырыкытэа вспомнить, где он и что с ним. А начальник снова ласково так:

— Что, поправиться хочешь?

Опять обожгло вино глотку и пошло по путру веселыми огоньками, как будто уголек из чумового костра в нутро спустили. Опять все на свете позабыл Кырыкытэа. Долго ли он пил, долго ли он спал, — ничего не знает Кырыкытэа.

Только он проснулся, а хозяин опять над ним стоит, как добрый Нум<sup>1)</sup>, с широкой улыбкой говорит хозяин:

— Кумка тара?

— Тара, — ответил Кырыкытэа.

Опять выпил он, еще прибавил, да снова попросил.

И много раз повторял Кырыкытэа «кумка тара». Как пил, долго ли спал, — не помнит. А только видит во сне, что голова его в озеро опущена в прорубь. схватился руками за край проруби, чтобы не упасть, а за руку волк зубами хватился и дергает. Проснулся тут Кырыкытэа. Хозяин его за плечо трясет шибко. А на голову ему холодную воду из ковшика льет. Стоит русак над ним, сурово так глядит.

— Кумка тара, — снова просит Кырыкытэа.

А хозяин только головой покачал, потянул за руку и говорит:

— А ну, потряси головой, добрый молодец, встань-ка на ноги свои богатырские.

А у Кырыкытэа точно ноги кто из пимов вынул; одни пимы мягкие остались и не держится на них могучее тело. Хозяин усмехнулся, чашку налил в четверть ведра.

— На тебе самую последнюю на опохмелку.

Одним духом хлебнул ее Кырыкытэа, еще просит. Хозяин-то и говорит:

— Не дам больше. Луна целая пропала и еще четверть луны прошло, как ты все пьешь, сын друга моего Кырыкэ. Старый приятель мой нивесть что о нас с тобой подумает. Знает порядок отец-то твой. Крепкая голова у твоего мудрого старика, а у тебя вот не такая. Поезжай в чум, больше не дам.

— Ну, коли так, хозяин, с собой-то мне ведра три в сани положи, без вина дорогой невесело ехать. Дорога-то ведь дальняя.

— Поезжай, все сделано, положено тебе вило в сани.

Вышел Кырыкытэа во двор. Ветер свистит, как богатырский тынзей. Снег в глаза так и хлещет. Даже в голове загудело, точно в колокол там русский шаман зазвонил. Олени понуро стоят и совсем отошали. Да ничего, на то крепкие и выбраны — на кости дотянут.

Отвязал Кырыкытэа вожжу, хорей взял и упал в сани с криком...

Осталось становище далеко, за слезной пургой и не видно.

В голове у Кырыкытэа русские колокола гудят, а среди этого гула ред-

1) Бог добра.

кие мысли, как заблудившиеся путники в густом тумане бродят.

Вспомнил тут Кырыкытэа про песцов и лисиц два полных мешка. Ведь хозяин-то про них даже не помянул и ювтанции на них не выписал. Верно, будет снова подать на их роде числиться, будто вовсе она и не плоченая.

Только подумал это Кырыкытэа, хотел оленей воротить назад к становищу, а в голове опять колокола загудели и забыл про все Кырыкытэа.

Едет он солнце, едет второе, едет третье. Видит — олени совсем притомились. Остановиться надо.

И думает тут Кырыкытэа: «Ведь у меня хорошее что-то с собой есть? Ах, да, водка есть в саях-то».

Боченок отвязал, припал к нему губами. Оторвался, дух захватило. Сколько выпил — не видно, а с четверть ведра выпил. Опять завязал все и поехал дальше.

Долго ехал, быстро бегут олени, повердовать надо.

Опять отвязал боченок, припал, столько же выпил.

Дальше поехал, олени не сдают, все скоком идут, на хорей не оглядываются. С третьей поверды чум бы видеть должно. Но не видно чума, а в голове мысль опять.

— Эк ведь у меня голова болит, поправить надо.

Вязки развязал, боченок достал, опять с четверть выпил. Дальше поехал не останавливаясь. До высокой сопки доехал. Стал с сопки во все стороны глядеть. Глаз у него как у орла тугокрылого, что живет на самых высоких сопках большого хребта.

— Отсель чум бы видать должно, а чума нет.

С'емдали, думает, наверно, копище стало велико, мох олени видно весь об'ели. На другое место отец ушел. Не видать чума.

Тряхнул вожжей, дальше поехал. К месту стал под'езжать. Вот и бугры, а чума-то и нет нигде. Глядит, а чумовище-то все разворочено по-худому. Чисто все вымято, а дальше-то на снегу кровавые пятна.

— Наверное, убой делали, — думает. — яловых на праздник добывали.

Под'ехал ближе, видит, отец лежит весь изрезан. Сестры да братья тоже все убиты, глазами в снег, затылками в небо лежат. Сердце как сорвалось, в голове помутилось и снег весь кровавым в глазах сделался. В голове дума пробегала черная, как волчья осенняя ноябрь.

— Тасынэ были, все разорили.

Опомнился немного, глядит, а среди убитых самого старшего после него брата-то и не видно. Оленей погнал, чумовище семь раз окружил, только на восьмой след нашел. По следу видит — брат от' тасынэ убежал, да и убежал-то босиком. Врасплох застали.

По следу поехал Кырыкытэа. Едет день, два едет, а как на снег взглянет — все кровь ему мерещится, и дума одна у него в голове про то, что кроме брата, он женки своей не видел да двух сынишек маленьких, за один раз женка которых принесла. Пропадут теперь во вражеской неволе.

Слезы сквозь снег до ягеля доходят. Жаркие они, как уголья из костра.

Четыре дня след чередил, то пропал, то снова появлялся. На пятый день, глядит Кырыкытэа, а на бугре ворон не ворон, а что-то чернеет.

Под'ехал ближе.

Человек как-будто... Брат... А тот как увидел, что кто-то на оленях едет, вскочил да бежать что есть силы. Думает, тасынэ опять гонятся.

Видит Кырыкытэа, что брат со страха так бежит, что не догнать его на утомленных, голодных оленях.

С бугров в лощину он тут с'ехал и лощиной оленей что есть духу погнал прямо на торчащие впереди кусты. К кустам прежде брата под'ехал и караулит. Когда брат прямо на него выбежал, выскочил Кырыкытэа из своей засады и схватил брата за руку. А тот словно ума лишился, ничего не видит, не понимает. Весь потемнел. Шопотом еле слышно взмолился:

— Если убивать будешь, так прямо сюда, — а сам на грудь показывает, на левую, повыше живота.

— Опомнись, — говорит Кырыкытэа, — я ведь брат твой, посмотри на меня. Или не узнаешь?

Только тогда младший опомнился



Обнял его и заплакал. И в слезах поведал свое горе. Рассказывает дрожащими губами, а самого от холода сводит. Раздегый он. Вынул Кырыкытэа из саней запасную малицу, пимы достал. Брат оделся и говорит:

— Ну, теперь нас двое, надо тасынэ догонять, твою женку с ребятами, добро да оленей обратно отнимать.

Вынул тут Кырыкытэа из саней богатырский свой меч и подал брату.

Тот мечом себе грудь накрест неглубоко разрезал и кровью весь меч вымазал.

Что было у Кырыкытэа с собой поесть с братом—все с'ели, водки по четверти выпили и в путь...

Олени, как двужилые, все идут по старому, богатырские олени, не нынешние.

Кырыкытэа хореем помахивает, а сам крепкую думу думает: как им вдвоем с братом тасынэ одолеть и женку его с сынами от них отнять.

Сколько ехали богатыри, все думал думу Кырыкытэа. И говорит он брату:

— Ты с саней сойдешь и сзади останешься. Я вперед заеду и навстречу тасынэ выеду. Будто ненароком встретился. А потом, как ты на задние чумы нападешь, я к тебе на помощь приду.

Так и порешили.

Погнал Кырыкытэа оленей из последних сил, пошибче. Через три солнца увидели братья тасынэ. Догнал их Кырыкытэа, кругом об'ехал, большого крюка в обход дал.

Как ни в чем не бывало едет навстречу тасынэ, песню под нос себе напевает.

Впереди едут семь тасынэ и среди них старший в роде. Увидели тасынэ Кырыкытэа. А тот едет будто и не видит их. Окликнули они его.

— Здравствуй, друг, куда путь держишь? — спрашивают.

— Здравствуйте, друзья, я издалика, из Малой Земли правлю, за богатырской добычей.

— За какой такой добычей? — спрашивают.

— Да сказывают у нас в тундре старики, что где-то есть богач Кырыкытэа, богач и богатырь, так еду его

убить, оленей, добро да женку его себе забрать.

Рассмеялся старший тасынэ и говорит:

— Поздно взялся ты, друг, за это дело, видишь вон там на санях, что идут длинной вереницей, это и есть Кырыкытэа добро.

— Вижу, — говорит Кырыкытэа.

— А видишь темной тучей лес рогов поднимается, — это богатырские олени Кырыкытэа.

— Вижу, — говорит Кырыкытэа.

— А видишь последний хан в том конце, где чумы сложены и собаки бегут? На нем женка Кырыкытэа сидит. Она лицу у меня в чуме моей женке готовить теперь помогать будет.

Вскипело сердце у Кырыкытэа, вот-вот выскочит. Но схватился Кырыкытэа рукой за грудь и сдержался.

— Ну, — говорит, — видно не судьба была мне поживиться его добром. Но уж если вы становить чумы будете, я хоть у вас погошу да про ваши подвиги послушаю.

Велел тут старший тасынэ остановиться и чумы ставить.

Чумы поставили, старший тасынэ Кырыкытэа к себе в чум позвал. Зашел Кырыкытэа в чум, а женка-то его мясо подает да прислуживает. Увидела его и обмерла, но моргнула ей глазом Кырыкытэа, чтобы виду она не показала. Хитра была женка, сразу поняла: Сама скорей к ребятам, а те не на шкурах сидят, а на снегу у самого входа. Дома-то так не сиживали, только глаза у обоих чернеют. Ребяткам женка что-то шепнула, а сама опять к столу.

Старший тасынэ своими подвигами похваляется, добром награбленным хвастает. Пока айбардали, да похлебку ели, да чай пили, в других-то чумах спать легли.

Только вдруг рев какой-то поднялся и шум, точно ветер прошел над чумовицем. Вскочил на ноги Кырыкытэа.

— Навечное, — думает, — брат задние чумы режет. Надо и мне начинать.

Да тот же нож, которым мясо ел, в живот старшему тасынэ и воткнул. У того только голова на грудь склонил-

лась, да так па пол и оплыл, как сидел.

— Женка, — крикнул Кырыкытэа, — бери ребят да к оленям на мои сани в сторону поди.

А сам меч выхватил да к другим чумам, а там брат почти всех переколот. А тасынэ во все стороны разбегаются, к оленям своим ладят добежать. Меч тогда бросил Кырыкытэа и стал из лука в бегущих стрелять, а брат мечом докалывает.

Сколько было врагов, всех перебили. У живых уши и языки отрезали, а брату старшего тасынэ «хоте» (детородный член) отрезали и заставили его самого свой хоте и с'есть.

Так отцы за свою кровь мстить учили, так и сыновья делают. Со всеми покончили.

На свои сани с женкой да с ребятами сели и над кровавым следом под лунным светом о своем горе, о покойниках дорогих и подвиге своем песни спели.

Печальная, как зимняя вьюга, эта песня о покойнике и крепка, как морской ураган, песня о подвигах богатырей самоедских.

Гнусавый голос Винукана затих.

Несколько минут длилось молчание. Затем хозяин достал из-под шкуры бутылку и налил водки во все чашки.

Один из гостей, вчерашний ямщик Йоцо, поднялся и тихонько вышел из чума. Я решил воспользоваться тем, что общее внимание сосредоточено теперь на водке, и вышел за ним.

Тумана как не бывало.

На вершине холма, освещенный пылающей полоской восхода, стоит рослый красавец Йоцо. Шапка в руках, ветер треплет черные, как смоль, прямые пряди блестящих волос.

— Йоцо, а как ты думаешь, правда то, что пел Винукан? Были самоедские богатыри?

Йоцо посмотрел на меня со своего холма.

— Бывали, парень... И снова будут.— Йоцо резко повернулся и издал резкий гортанный крик. Целая свора собак бросилась на этот крик.

Широкими шагами Йоцо пошел по гребню холма от чума. Его могучая фигура пламенела в лучах багрового востока. На левом бедре на толстой медной цепочке повязывал широкий хар.

# За рубежом

С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету. — 2. Г. ГАУЗNER. Наше чувство путешествия.  
3. Вал. ДЫННИК. Письмо из Берлина.

## 1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Очерки международной политики

С. Гальперин

Испытания «организованного капитализма». — Акционерное общество «Германия». — Победа во семью голосами. — Гамлет с булавой. — Ангора — Хабаровск. — Крах гоминдановской политики.

### Испытания «организованного капитализма»

«Просперити под вопросом» — так озаглавили мы ту часть нашего обзора в декабрьской книге «Нового Мира», которая была посвящена биржевому краху на нью-йоркской бирже. Имеющиеся в настоящее время данные позволяют уже с гораздо большей степенью уверенности говорить о самом доподлинном кризисе народного хозяйства Соединенных Штатов.

Оптимистические уверения Гувера не оправдались. В своем декабрьском послании конгрессу Гувер говорил: «Внезапная угроза безработицы и воспоминания об экономических последствиях прежних крахов, происходивших при менее устойчивой финансовой системе, создали необоснованные страхи и пессимизм. Указывалось, что прошлые бури аналогичного характера приводили к сокращению строительства, к снижению заработной платы и увольнениям рабочих. Отсюда тенденция деловых кругов к приостановке планов расширения их экономической деятельности, а эти колебания в силу своей интенсивности могут привести к

депрессии и росту безработицы и связанных с нею страданий».

Сославшись на принятые им меры, Гувер выразил твердую уверенность, что дружное сотрудничество деловых кругов и представителей власти восстановит доверие и приведет к тому, что хозяйственная жизнь страны будет продолжаться нормально и «что заработная плата — а значит и покупательная сила населения — не будет снижена и что те усилия, которые делаются к дальнейшему расширению строительного дела, позволят покрыть уменьшение количества рабочей силы в других отраслях промышленности» («Times» 4 декабря).

Эта проявленная Гувером забота о сохранении на прежнем уровне заработной платы и количества занятой рабочей силы менее всего, конечно, объясняется рабочелюбием президента Соединенных Штатов. Она диктуется, во-первых, заботами о поддержании устойчивых цен на предметы широкого потребления; она связана, во-вторых, с той политической программой, на основе которой Гувер одержал победу на выборах. Не следует забывать,

что его противник демократ Смит вел против него борьбу именно на почве безработицы, некоторый рост которой наблюдался во втором и третьем квартале 1928 года. Незыблемость американского «просперити» была краеугольным камнем избирательной платформы республиканской партии, кандидатом которой был Гувер. Провал просперити означал бы и политический крах республиканской партии.

Меры, которые принял Гувер для борьбы с экономическим кризисом, известны. Они сводятся к понижению учетного процента с 6 до 4½ для облегчения кредитования промышленности и торговли, к предоставлению сельскому хозяйству кредита в 100 млн. долларов, к досрочным заказам стальной и строительной промышленности со стороны правительства, муниципалитетов и крупнейших трестов, к снижению подоходного налога на 1 проц. и к организации общественных работ на сумму в 200 миллионов долларов.

Сопоставляя эти мероприятия Гувера с теми планами борьбы с безработицей, которые разрабатываются в Англии Томасом, английский еженедельник «Nation» в статье «Гувер и Томас» отдает пальму первенства Гуверу. «Сейчас еще трудно сказать, — пишет «Nation», — в какой степени начинания Гувера увенчаются успехом. Но во всяком случае к его стараниям надлежит отнестись серьезно, — его призывы и обращения к руководителям всей хозяйственной жизни страны не могут не оказать влияния на развитие американской экономики. А у нас мы почти потеряли надежды, что Томас, который имеет перед собою аналогичную задачу и имеет больше возможностей непосредственно влиять на ход экономической жизни, сможет внести в нее значительные изменения... Отчеты о совещании в Белом Доме показывают, что преимущества Америки лежат не только в больших технических возможностях, но и в различии психологии. Гувер призывает руководителей экономической жизни Америки сотрудничать в большой кампании по поддержанию производительных

сил страны в общих интересах всего общества. И тем же настроением одушевлены и ответы на его обращение» («Nation» 7 декабря).

Английский еженедельник отражает широко распространенное в либеральных и социал-демократических кругах Европы убеждение, что в Соединенных Штатах мы имеем особый вид «организованного капитализма», который может якобы преодолеть свойственную капиталистическому строю анархию производства и чуть ли не уничтожить противоречия классовых интересов. Капиталисты и рабочие совместно заботятся о поддержании высокого уровня заработной платы и расширении производства, а значит и уничтожении безработицы, этого главного бича пролетариев в капиталистических странах Европы.

Прозерка того, в какой степени «организованный капитализм» САСШ выдержит испытания настоящего кризиса, представляет поэтому огромный теоретический и политический интерес. Само собою разумеется, что мы находимся сейчас лишь в начале этого кризиса, и делать какие-либо окончательные выводы было бы преждевременно. Но имеющиеся уже в настоящее время данные говорят далеко не в пользу американской «кидилли».

Уже в декабрьском нашем обзоре мы привели данные о значительном сужении размаха деятельности сталелитейной, автомобильной и строительной промышленности и падении грузооборота в октябре и ноябре 1929 г. В настоящее время мы располагаем уже общими данными министерства торговли по всей промышленности в целом. Из этих данных видно, что за октябрь и ноябрь общее число рабочих сократилось на 3 проц., а общая сумма зарплаты — на 7 проц. В частности в обрабатывающей промышленности число рабочих уменьшилось на 4 проц. Экспорт за ноябрь упал до 448 миллионов долларов против 545 миллионов долларов за ноябрь 1928 г.

Для оценки этих цифр необходимо иметь в виду, что биржевой крах развился лишь в самом конце октября, и значит сжатие промышленности в но-

ябре явилось лишь первой ласточкой разрастающегося кризиса. Такой влиятельный орган, как «Journal of Commerce» пишет по этому поводу: «Экономические затруднения и неурядицы оказались такими, как это предполагалось до биржевой паники. Никакие меры, принимаемые Вашингтоном, не могут изменить этого... Те, кто хотят успокоить страну, совершают тактическую ошибку, когда советуют ей не поддаваться страхам».

Против оптимизма Гувера высказался и орган нью-йоркских биржевиков «Wall-Street Journal». «Положение здоровое, — читаем мы в этом органе, — но оно все же идет вниз. Товарные цены с трудом сохраняют устойчивость, обнаруживая тенденцию к падению. Замечается сокращение потребительского спроса. Железнодорожный грузооборот не так велик, как он должен был бы быть при огромном населении страны, а в это время он должен был бы дойти до максимума. Денежный рынок стал меньше, но ведь и денег, совершенно ясно, требуется меньше».

Мы имеем таким образом налицо все элементы экономического кризиса, которого не удалось избежать «организованному капитализму» янки. Сокращение производства, снижение заработной платы, уменьшение занятой рабочей силы, падение товарных цен и, наконец, наблюдающийся сейчас отлив капиталов за границу (в ноябре вывезено золота на 25 млн. долларов, в декабре вывоз золота усилился) — все это — признаки, характерные для кризиса и в странах вульгарного неорганизованного капитализма.

Следует остановиться специально на вопросе о заработной плате. Мы уже констатировали на основании данных министерства торговли за октябрь и ноябрь более сильное сокращение суммы выплаченной заработной платы, чем сокращение занятой рабочей силы, что свидетельствует о проявляющейся уже тенденции к снижению заработной платы. Но мы можем более того утверждать, что, вопреки уверениям Гувера, снижение зарплаты входит в общие планы «капитанов индустрии» САСШ. Такой авторитетный в этом отноше-

нии орган как журнал предпринимателей стальной промышленности «Iron Age» пишет, что «масса промышленных рабочих проникнута представлением, будто они живут в эпоху, когда деньги добываются очень легко, и если рабочие даже сами и не пытаются играть на бирже, то они во всяком случае считают момент подходящим для того, чтобы требовать повышения заработной платы». Орган стальных королей Америки призывает «выбить эту иллюзию из голов руководителей профессиональных союзов», что на деле, конечно, означает призыв к борьбе не только против повышения заработной платы, но и против сохранения ее на прежнем уровне.

С полным основанием поэтому орган американской компартии «Daily Worker» заявляет, что «из этой резкой промышленной депрессии вырастут гигантские классовые бои. Уже сейчас рабочий класс оказывает сопротивление наступлению на его жизненный уровень. Гувер и его эксперты, снабженные особыми правительственными полномочиями, не могут задержать жестокого кризиса так быстро, как они надеются, с помощью решительных мер против трудящихся масс Америки. Кризис американской промышленности является частью мирового кризиса капитализма («Daily Worker» 15 декабря).

#### Акционерное общество «Германия»

Совершенно ясно, что экономический кризис в САСШ не может не иметь международных последствий. Английские финансовые круги встретили известие о крахе на нью-йоркской бирже с чувством облегчения. Английский «Economist» пишет: «Произведенное Английским банком 19 ноября понижение учетного процента еще на полпроцента является самым очевидным показателем того, что драматическое и стремительное падение курсов на нью-йоркской бирже в течение последних трех недель окончательно освободило денежные рынки всего мира от того давления, которое оказывал на них Нью-Йорк последние два года («Economist» 29 ноября).

На этом факте следует остановиться. Высокий учетный процент, существовавший в САСШ до биржевого краха, сам по себе имел притягательное значение для свободных денежных капиталов на мировом денежном рынке. Еще большее значение имела биржевая горячка, сулившая невиданные прибыли всем ее участникам. Американские капиталы в 1929 г. все слабее и слабее инвестировались в иностранные предприятия и займы иностранным государствам. Так котирующиеся на нью-йоркском денежном рынке иностранные инвестиции американских капиталов составляли: в I квартале 1929 г. — 264 млн. долларов, во II квартале — 212 миллионов и в III квартале — только 82 миллиона долларов.

Основная причина этого явления состояла в том, что внешнее инвестирование производилось преимущественно путем подписки на облигации, дающие определенный размер дохода. В период биржевой горячки, когда дивиденды искусственно вздувались, чтобы оправдать повышательную тенденцию биржи, облигации не привлекали к себе держателей займов, интересовавшихся только акциями промышленных и финансовых предприятий. Эта тенденция сказалась и на движении облигаций внутренних займов САСШ, общая сумма которых уменьшилась в 1929 г. на 600 миллионов долларов, тогда как общая сумма выпусков акций финансовыми предприятиями увеличилась на 1.600 миллионов долларов.

Однако, и в первый момент после биржевого краха условия для иностранных инвестиций американских капиталов не улучшились. С денежного рынка ушли лишь привлеченные в Америку капиталы других стран. Как пишет: «Wall Street Journal» от 13 ноября, после краха облигации иностранных займов сильно пострадали вследствие крупной сброски их держателями, нуждавшимися в средствах по спекулятивным соображениям, а также для высвобождения средств на приобретение в момент паники по пониженным ценам некоторых ценных бумаг.

Уже в самом начале кризиса председатель совета «Нэшенэл Сити Банк»

Чарльз Митчель указал, что «в настоящее время очень мало шансов, что облигации иностранных займов будут выпускаться в большом количестве на американском денежном рынке» («Journal of Commerce» 23 октября).

Это обстоятельство имеет огромное значение прежде всего для Германии, которая больше других европейских стран привлекала к себе американские капиталы. (По сведениям министерства торговли САСШ с 1914 г. по 1 июля 1929 г. в САСШ продано по публичной подписке германских ценных бумаг — правительственных и частных — на сумму 1.179 миллионов долларов.)

Мнение председателя «Нэшенэл Сити Банк», который был одним из главных вдохновителей биржевой горячки (и более всего от нее пострадал), вряд ли может быть признано в данном случае авторитетным. При длительности депрессии на американском денежном рынке американские капиталы должны будут искать помещения на европейском рынке. И уже один отлив европейских капиталов из Америки после биржевого краха облегчит денежное положение европейских государств и особенно Германии, которая в последнее время не имела возможности получать долгосрочные займы и должна была довольствоваться обременительным краткосрочным кредитом.

Однако, приток американских капиталов в Германию наталкивается на некоторые препятствия, устранение которых может идти лишь политическими средствами. Как пишет «Журнал Американской Ассоциации Банкиров» («Amerikan Bankers Association's Journal») от 6 ноября, «бывшие союзники, получающие от Германии репарации, держат в своих руках все привилегированные облигации. Кредиторы же, снабжавшие Германию после войны, — это держатели обыкновенных облигаций и акций. В настоящее время держатели этих обыкновенных акций не имеют права голоса. Америка имеет в своих руках большинство обыкновенных германских облигаций и ни одной привилегированной».

Такого рода положение не удовлетворяет американских банкиров. «Аме-

rikан Bankers Association's Journal» требует поэтому, чтобы Соединенные Штаты были представлены официально, а не через посредство частных лиц в Банке Международных Расчетов, который, по мнению журнала, есть не что иное, как акционерное общество «Германия».

Это звучит цинично, но вполне соответствует истинному положению вещей. Германские социал-демократы могут сколько угодно ликовать по поводу тех послаблений, которые дает Германия план Юнга по сравнению с планом Дауэса, но не подлежит сомнению, что и план Юнга представляет собою план закабаления целого народа для уплаты военных возмещений версальским победителям и американским кредиторам. Вся страна превращается в своего рода огромное предприятие, во главе которого стоит Банк Международных Расчетов, направляющий все доходы этого предприятия и дивиденды стран-кредиторов, являющихся главными акционерами этого предприятия.

Вмешательство американских капиталистов, претендующих, как мы видели, на руководящую роль в этом акционерном предприятии, еще более затруднит положение Германии, ибо ей придется столкнуться с конкуренцией американской промышленности, которая при сжатии внутреннего рынка не может не обратить внимания на форсирование своего экспорта. А между тем лишь при помощи экспорта может Германия уплачивать свои обязательства по плану Юнга.

Финансовая реформа, с которой выступил 9 декабря в рейхстаге с.д. министр финансов Германии Гильфердинг, и является попыткой превращения страны в предприятие, принадлежащее Банку Международных Расчетов или, что то же самое,—акционерному обществу «Германия».

В чем смысл этой реформы? Уплачивать свои обязательства в валюте Германия может лишь в форме экспорта, обеспечивающего достаточное поступление этой валюты. Этот экспорт должен быть настолько прибыльным, чтобы германские капиталисты могли

после выплаты огромных репарационных платежей иметь нормальный размер прибыли на вложенный ими капитал. Комбинация эта возможна лишь при условии исключительного снижения жизненного уровня германских рабочих и роста изъятий из их доходов либо непосредственно в доход государства, либо в доход капиталистов, которые должны часть получаемой ими прибавочной стоимости отчислять на уплату обязательств по репарациям.

Именно это и делает Гильфердинг. Его финансовая реформа направлена прежде всего на увеличение косвенных налогов, падающих своей тяжестью на трудящиеся массы, и на снижение прямых налогов, особенно подоходного налога, более трудно перекладываемого с плеч капиталистов на рабочий класс и основную массу потребителей. На 180 миллионов марок будет увеличен налог на пиво и на 200 миллионов марок—налог на табак. Подоходный же налог должен быть постепенно — в три приема — снижен на 25 проц. Огромная «экономия» наводится по линии всех расходов социального характера.

Коммунистический депутат Торглер так охарактеризовал в рейхстаге эту финансовую декларацию правительства: «Под лозунгом накопления капиталов путем максимального повышения прибылей правительства хочет сделать подарок капиталистам в виде снижения налогов в размере 2 миллиардов марок, покрывая этот недобор усилением налогового обложения трудящихся масс (подушный налог, налог на пиво и табак, спирочная монополия), повышением взносов по страхованию от безработицы и т. д.»

«За ухудшением закона о страховании от безработицы и продолжающимся сокращением помощи безработным со стороны государства теперь следовало сокращение обслуживания трудящихся большими кассами и сокращение ассигнований по государственному бюджету на нужды страхования на случай инвалидности».

«Растущие налоговые тяготы, повышение пошлин, повышение квартирной

платы, рост цен, ограничение мероприятий в области социальной политики и сокращение заработной платы — все это означает дальнейшее неимоверное обнищание пролетарских масс и трудящихся средних слоев населения, которые будут разорены и пролетаризированы трестовским капиталом».

Коммунистическая критика финансовой политики Гильфердинга не могла не произвести огромного впечатления на самые широкие слои трудящихся. Слишком очевидно было, что интересы не только рабочих, но и мелкобуржуазных низов населения приносятся в жертву крупному трестовскому капиталу, который как бы взял на себя роль откупщика по сбору податей с населения Германии для выплаты дани союзникам.

Необходимо также иметь в виду, что правительственный законопроект являлся своего рода компромиссом между позицией социал-демократии, боящейся окончательно растерять свою избирательную клиентуру, и требованиями правых партий, настаивавших на еще более решительном нажиме на трудящиеся массы. Не подлежат сомнению, что эти дальнейшие шаги последуют в скором будущем.

Финансовая реформа была принята рейхстагом 222 голосами против 156 при 22 воздержавшихся. Правительственное большинство было очень незначительно, но и эта слабая победа правительства была достигнута лишь благодаря тому, что правительственная коалиция нуждается пока в социал-демократах для закрепления плана Юнга на второй гаагской конференции. По миновании этого этапа дни существующей сейчас коалиции сочтены.

Идеологом этой будущей правительственной коалиции явился директор Государственного банка Шахт. Опубликованный им меморандум правительству по поводу поправок, внесенных в план Юнга на первой гаагской конференции, по существу был требованием установления трестовской диктатуры в Германии. И свои требования Шахт проводит твердой рукой. Он от-

казался содействовать берлинскому муниципалитету в получении им займа, и берлинский муниципалитет постановил повысить тарифы на все коммунальные услуги и стоимость пользования городскими железными дорогами.

Но и финансовая реформа и повышение муниципальных сборов — это лишь предвестники будущего как политического, так и экономического наступления буржуазии на пролетариат. Буржуазия говорит об этом открыто, компартия организует пролетариат для сопротивления, а социал-демократия пытается засыпать классовую пропасть вязкой глиной «демократических» фраз и каучуковой политики.

Отставка Гильфердинга после его «победы» в рейхстаге показала всю тщетность этой политики.

### Победа восемью голосами

В трудном положении оказываются и английские коллеги германских с.д. министров. Как мы уже не раз указывали в своих прежних обзорах, сравнительно легкие триумфы, которые одерживало правительство Макдональда в области внешней политики, должны были смениться трудными часами, когда Макдональду придется приступить к осуществлению намеченных им мероприятий в области экономической политики.

Эти трудности дали себя уже почувствовать при обсуждении законопроекта, внесенного министром труда Маргаритой Бонфильд о социальном страховании. Один из пунктов этого законопроекта прошел большинством всего 13 голосов, при чем против правительства голосовало и несколько мэкстонцев, разыгрывавших из себя «левую» оппозицию. Опасность, которую эта игра в оппозицию представила в данном случае для правительства, вызвала довольно резкий обмен мнений между правительством и сторонниками Мэкстона. И хотя независимая рабочая партия и одобрила позицию Мэкстона, но это одобрение носило лишь формальный характер и мэксто-



новцы ушли значение сделанного им предостережения.

Когда дело дошло до обсуждения угольного законопроекта, мажоритарцы бросили уже всякую игру в оппозицию, ибо каждый голос рабочей фракции палаты общин был на учете. Министерство Макдональда стояло перед непосредственной угрозой падения.

В декабрьской книге «Нового Мира» мы изложили сущность правительственного законопроекта, сводившегося к сокращению рабочего дня в шахтах на полчаса и регулированию торговли углем, регулированию, последствием которого должно было быть повышение цен на уголь. Законопроект этот явился плодом длительных переговоров между правительством, шахтовладельцами и федерацией горняков. В результате этих переговоров правительство преподнесло парламенту законопроект, обладавший всеми недостатками самого гнилого компромисса. Чтобы компенсировать шахтовладельцев за сокращение рабочего дня (по вычислениям буржуазных английских экономистов, это должно повысить стоимость угля на 1 шиллинг на тонну угля), правительство решило повысить цены на уголь, т. е. переложить всю тяжесть этого компромисса на широкие массы потребителей.

Против этого законопроекта решительно выступили либералы. Защищая либеральную точку зрения, журнал «Nation» пишет, что «тяжесть, которую правительственная схема регулирования угольной торговли накладывает на рядового потребителя, поистине чудовищная, ибо повышение цен на уголь должно покрыть: 1) дополнительный расход от сокращения рабочего дня в шахтах; 2) субсидию экспортерам угля и тем слабым отраслям промышленности, для которых повышение цен на уголь было бы тяжелым бременем; 3) восстановление нормального уровня прибыли угольных компаний». Правительственный законопроект, — пишет либеральный еженедельник, — представляет собой «проведение обычного картелирования угольной промышленности, направленного к обеспечению выгодных цен на уголь, без ка-

ких бы то ни было мер, направленных к снижению себестоимости угля путем реорганизации угольной промышленности» («Nation» 14 декабря).

Эти указания либералов совершенно обоснованы. Как известно, угольная промышленность Англии по своему техническому оборудованию значительно уступает и Америке и Германии. К тому же английская промышленность необычайно раздроблена — имеется свыше 3.000 отдельных предприятий. Часть этих мелких шахт совершенно переплатабельна и существует лишь при помощи исключительной эксплуатации рабочей силы.

Учитывая это обстоятельство, другой либеральный еженедельник, «New Statesman», пишет по поводу правительственной схемы регулирования: «создание организации, могущей по своему произволу повышать цены на уголь, может привести к сохранению в действии наихудших шахт и к установлению цен на уголь в соответствии с себестоимостью угля этих худших шахт. Если эти шахты будут существовать, то это лишь задержит развитие лучших предприятий, могущих производить более дешево, и пострадает лишь потребитель» («New Statesman» 14 декабря).

Чувствуя слабость своей позиции, Макдональд при обсуждении законопроекта в палате общин обещал либералам, что, когда законопроект будет обсуждаться в комитетном порядке, он внесет в него некоторые изменения. Но эта примирительная позиция не обезоружила либералов, и Ллойд-Джордж заявил, что либералы будут голосовать вместе с консерваторами за отклонение законопроекта.

Несмотря на отрицательное отношение к законопроекту обеих оппозиционных партий, которые вместе имеют больше голосов, чем рабочая партия, законопроект был принят большинством 281 голоса против 273. Такой результат голосования объясняется воздержанием части либералов.

Результат этот не может казаться удивительным. В вышецитированном номере «Nation», вышедшем за 5 дней до голосования, предвидится, что «пра-

вительству удастся получить большинство против комбинированной консервативно-либеральной<sup>1</sup> оппозиции». Воздержанные части либералов было, повидимому, предусмотрено либеральной фракцией парламента, ибо, как пишет «New Statesman», «либералы не намерены свергать существующего правительства ни сейчас, ни в течение ближайших одного—двух лет».

Такое благосклонное отношение либералов к рабочему правительству объясняется тем, что они фактически могут диктовать свою волю правительству Макдональда. При получении же вотума недоверия Макдональд несомненно распустит бы парламента с некоторыми шансами на получение в новом парламенте абсолютного большинства голосов. Либералы предпочитают поэтому дать Макдональду возможность продержаться до тех пор, пока он не скомпрометирует себя окончательно в глазах либо буржуазных, либо рабочих избирателей, а всего скорее и тех, и других.

### Гамлет с булавой

«Решится ли маршал Пилсудский, который столько сделал для создания свободной и независимой Польши, рискнет ли он под гибельным влиянием своих приближенных растоптать ногами свое прошлое и осуществить на деле свои несвязные угрозы против конституции и сейма?»

Такой вопрос поставил перед собой председатель Второго Интернационала Эмиль Вандервельде в статье, помещенной в бельгийской социал-демократической газете «Le Peuple» от 19 ноября. И так велика была трагическая коллизия между благородными побуждениями польского маршала и гибельным влиянием на него придворной его челяди, толкающей его на антидемократические выступления против сейма и конституции, что вопрос, поставленный Вандервельде полтора месяца тому назад, до конца декабря не нашел своего ответа. И вместе с Вандервельде все подведомственные ему социалистические партии, и польские социалисты в частности, ждут

еще до сих пор нехода гамлетовских терзаний попавшего в фашистский плен экс-социалистического диктатора Польши.

Впрочем, объяснимся. Почему попал в Гамлеты обычно столь решительный польский маршал, и почему заняло его психологической драмой председатель Второго Интернационала.

Дело идет о том, будет ли произведен Пилсудским насильственный государственный переворот фашистского характера или же, памятуя свои прежние связи с ППС (польская социалистическая партия), маршал осуществит окончательную фашизацию Польши «конституционным путем» на основе соглашения с пене-совцами.

Второй Интернационал решительно стоит за этот второй «конституционный» путь, ибо у него это именно именуется «борьбой с фашизмом». И, конечно, не разрешенной психологической драмы занимался по существу Вандервельде в своей статье, а на свой лад «боролся» с фашизмом. Вся эта статья (а также последовавшее за ней заседание исполкома Второго Интернационала 23—24 ноября) была по существу предостережением со стороны лидеров Второго Интернационала Шюберу и Пилсудскому в связи с подготавливаемыми ими, фашистскими переворотами в Австрии и Польше. При чем любопытно то, что меньшевистские герои, конечно, не грозили фашистским папильникам революционными выступлениями масс, а предпочитали указывать на свои правительственные связи.

Бывший — а быть может, и будущий — министр иностранных дел Бельгии не мог, конечно, в роли председателя Второго Интернационала позволить себе даже намек на угрозу революцией по адресу союзной Польши, но он считал своим долгом дипломата указать Пилсудскому, что фашистский переворот в Польше был бы встречен недружелюбно в правительственных «социалистических» кругах Германии и Англии. «Криспин, Лобе, председатель германского рейхстага, и Крамп, секретарь английского союза железнодорожников, человек очень близкий к правительству Макдональда, сумели,—

пишет Вандервальде,—во время своего пребывания в Польше найти подходящие слова, чтобы дать понять правительствам Польши, что политика государственного переворота, направленного против парламентских установлений, не является только внутренним делом Польши, но затрагивает интересы всей Европы».

Каковы же были последствия этого бравадного выступления Второго Интернационала в защиту социалистов Австрии и Польши и против фашистских переворотов в этих странах? Финал «борьбы» австрийских социал-демократов за конституцию уже известен: они согласились голосовать за проект изменения конституции Австрии в смысле урезки парламентаризма и прав венского муниципалитета и расширения прав президента, сделав таким образом ненужным применение со стороны Шобера каких-либо насильственных мер. Социалистическая печать всех стран торжествует победу по поводу небольших уступок, которые сделал при этом Шобер, но руководители хеймвера с полным основанием утверждают, что это был лишь первый шаг, за которым последует в дальнейшем полная фашизация Австрии.

Такого же финала социалистической «борьбы против фашизма» надо ожидать и в Польше. Но положение в Польше более запутанное, и маршал Пилсудский до конца декабря колебался, следует ли ему попросту тряхнуть своей булавой (польским маршалам в отличие от французских присвоена булава, а не жезл) и выкинуть за борт весь польский парламентаризм или продолжать комедию разговоров с сеймом. Нерешительность Пилсудского имеет под собой достаточно оснований, при этом основанная более серьезнее, чем «предупреждения» Второго Интернационала или опасения сопротивления со стороны пепесовцев. Необходимо прежде всего иметь в виду, что в отличие от Австрии, где фашисты имеют за собой поддержку значительной части городского мещанства и кулацкой части крестьянства, польские пилсудчики имеют против себя не

только пепесовскую оппозицию, но ряд буржуазных партий, объединяющих значительные слои крестьянства и средней и мелкой городской буржуазии, а также почти все национальные меньшинства.

Оппозиционный блок в Польше значительно более влиятелен, чем австрийская социал-демократия. Это обстоятельство не могут не учитывать пилсудчики. Но есть еще одно — и очень серьезное — основание, почему Пилсудскому приходится с осторожностью пускаться на всякого рода перевороты. Если в Австрии компартия сравнительно слаба, то польская компартия и родственные ей коммунистические организации национальных меньшинств представляют собой огромную политическую силу, способную к революционной борьбе. Именно на силу и влияние польской компартии обосновывают пепесовцы свои притязания на участие в правительственной работе — они ведь социалисты по борьбе с коммунистическими настроениями рабочего класса.

При таких условиях вполне понятна нерешительность Пилсудского в деле использования своей булавы. В связи с его колебаниями разрешение министерского кризиса сильно затянулось. После офицерской манифестации в сейме и последовавшей затем отсрочки заседания сейма на 1 месяц маршал Пилсудский разрешил сейму выразить недоверие правительству, даже не обрушив на головы депутатов сейма обычной порции площадных ругательств.

Кризис разрешился в конце концов образовавшем кабинетом Бартеля, считающегося представителем умеренной, или лучше сказать, «штатской» части пилсудчиков в отличие от «полковничьей группы», признающей лишь насильственные формы фашистского переворота. В новом правительстве имеется одним полковником меньше, но эта «победа» штатской группы вполне компенсируется введением в кабинет бывшего волынского воеводы Юзефского, известного своими открытыми выступлениями в пользу борьбы за отторжение Украины от Советского Союза.

Что касается пенезосовцев и лидеров Второго Интернационала, то они пока не решаются занять по отношению к кабинету Бартеля определенную позицию. Вандервельдовский «Peuple» считает положение невыясненным.

### Ангора—Хабаровск

Конец 1929 года ознаменовался двумя крупными успехами советского правительства на международном фронте: подписанием 17 декабря ангорского протокола и заключением 21 декабря в Хабаровске соглашения, ликвидирующего конфликт, возникший в связи с захватом китайской военщиной Восточно-Китайской железной дороги. И хотя между Ангорой и Хабаровском лежит пространство в много тысяч километров, между дипломатическими актами, заключенными в этих городах, имеется глубокая внутренняя связь. Оба они являются звеньями в развитии мирной внешней политики советского правительства и его ориентации на независимость народов Востока, оба они показывают, что твердость, проявляемая правительством Союза в проведении этой мирной и антиимпериалистической политики, обеспечивает ему победу его политической линии.

Торжественная встреча, устроенная тов. Карахану во время его пребывания в Турции, свидетельствовала о том, что общественное мнение Турции оценило значение той поддержки, которую Советский Союз неизменно оказывал делу независимости Турции и борьбе всех народов Востока против империализма. В речах ряда турецких политических деятелей подчеркивалось также, что при всем различии экономического строя в СССР и Турции внешняя политика правительства обеих стран сходитя между собой в твердом стремлении дать отпор попыткам иностранного капитала наложить свою лапу на народное хозяйство обеих стран.

Ангорский протокол выгодно отличается поэтому от многих других дипломатических актов искренним стремлением подписавших его государств

к обоюдной поддержке в деле борьбы с империализмом. Его характерной чертой является то, что он не только продлил действие прежнего советско-турецкого договора о дружбе и нейтралитете, но и значительно расширил его содержание.

Прежний договор предусматривал только отказ правительств СССР и Турции от участия в каких бы то ни было группировках и действиях, посвящающих враждебный характер по отношению к одной из договаривающихся сторон. Новый договор обязывает обе стороны не начинать без взаимного уведомления никаких переговоров с третьими, граничащими с одной из договаривающихся сторон, и не заключать этих договоров без согласия другой стороны. Узлы между обеими странами таким образом становятся теснее.

Но в то же время договор является по существу именно договором о дружбе и нейтралитете. В нем нет и тени агрессивных намерений против какого-либо другого государства. Это коренным образом отличает его от всякого рода договоров о дружбе, заключаемых между империалистическими государствами, которые стремятся такого рода договорами обеспечить себе поддержку союзника для борьбы с третьим государством.

Уже за несколько дней до подписания ангорского протокола турецкое правительство дало доказательство как своей дружбы к Советскому Союзу, так и своего понимания мирной политики советского правительства. Турецкое правительство категорически отказалось присоединиться к ноте Стимсона по поводу мифического нарушения нами пакта Келлога, подчеркнув в своем ответе, что оно уверено в том, что СССР разрешит конфликт мирными средствами<sup>1)</sup>.

Эта уверенность наша блестяще подтверждена в хабаровском догово-

<sup>1)</sup> Такой же приблизительно ответ дало на приглашение присоединиться к ноте Стимсона и персидское правительство. Таким образом все 3 наиболее крупные государства Востока—Япония, Турция и Персия—отказались участвовать в вылазке Америки, Франции и Англии против СССР.

ре. Мы не станем пзлагать содержания этого договора, ибо он хорошо известен советскому читателю из ежедневной прессы. Мы укажем лишь, что договор этот является полной победой Советского Союза. Китайское правительство полностью восстановило положение, существовавшее на КВЖД до июльского захвата, признало действительность всех распоряжений китайской администрации после этого захвата (если только эти распоряжения не будут утверждены советским управляющим дорогой), обязалось освободить всех без исключения советских граждан, арестованных в связи с конфликтом, разоружить белогвардейские отряды и выслать их организаторов из пределов Манчжурии.

Можно, однако, утверждать, что в результате этой ликвидации конфликта мы не только восстановим свое прежнее положение на дороге, но и значительно укрепим свое положение на ее территории и в Китае вообще. Да возникновения конфликта китайские власти были склонны рассматривать наше миролюбие и проявленное нами уважение к суверенным правам Китая как проявление нашей слабости. Полученный Нанкином и Мукденом урок в течение всего конфликта, надо полагать, раскроет им глаза на истинный характер нашей мирной политики и заставит их впредь учитывать, что, отказавшись от неравноправных договоров, правительство Советского Союза обладает достаточным могуществом, чтобы отстаивать свои законные права. И вряд ли китайская военщина решится в скором будущем по подговору империалистов на какую-либо авантюру против Советского Союза, в роде той, которую оно затеяло в июле 1929 года.

### Крах гоминдановской политики

Надо, впрочем, сказать, что не только достаточно выявленная твердость советского правительства и мощь Советского Союза, но и сознание собственной слабости устраняет — по крайней мере для ближайшего будущего — возможность агрессивных шагов китай-

ских милитаристов против СССР. Если весной 1929 года во время восстания гуансийцев можно было уже говорить о трещине в здании гоминдановской стабилизации Китая, если осенью во время борьбы Чан Кай-ши с Фын Юй-сяном уже выяснилась вся шаткость фундамента этого здания, то в декабре можно с полной уверенностью говорить о полном развале нанкинского правительства, на которое европейскими империалистами возлагались такие надежды.

Мы не станем делать стратегического анализа создавшегося для Нанкипа в результате многочисленных восстаний положения, тем более, что быстрая смена событий неизбежно делает этот анализ ко времени выхода настоящей книги «Нового Мира» уже устаревшим, и остановимся лишь на политическом значении той генеральской склоки, которая характеризует второй год диктатуры Чан Кай-ши.

Как бы ни сложились военные события, удалось ли бы Чжан Фа-гуэю взять Кантон или нет, удалось ли бы Чан Кай-ши справиться с восстанием Тан Шен-чи в Хэнани и Ши Юй-сяна в самом центре чанкайнистского царства, одно можно сказать с уверенностью: единого Китая под властью нанкинского правительства уже не существует. Если весной Чан Кай-ши еще мог организовать именем центрального правительства карательные экспедиции против гуансийцев, то в настоящее время его амбиция не идет дальше того, чтобы при помощи некоторого числа преданных войск и искусного лавирования между отдельными провинциальными сатрапами удержаться в своей столице.

Единство Китая стало совершенно призрачным. Для того, чтобы спасти видимость единого центрального правительства при переговорах с СССР, Нанкин должен был полностью принять требования Мукдена в этом вопросе. Не манчжурское правительство Чжан Сюэ-ляна должно считаться с волей центрального нанкинского правительства, а наоборот, Чан Кай-ши должен следовать за Мукденом во внешней политике последнего. Еп Ци-

шап, «образцовый» дубань (губернатор) провинции Шаньси, величественно играет роль арбитра в столкновениях нанкинском правительстве с его противниками. Фын Юй-сян, надевая на себя личину защитника трех принципов Сун-Ят-сена, предлагает Чан Кай-ши отказаться от власти. Ши Юй-сян объявляет себя независимым правителем провинции Анхуэй, а Тан Шеп-чи занимает провинцию Хеналь, устанавливая как бы мост между войсками Фын Юй-сяна и Ши Юй-сяна.

Если при таких условиях Чан Кай-ши и удалось удержаться во главе нанкинского правительства, то последнее во всяком случае было бы лишь одним из провинциальных правительств, которое могло бы пользоваться поддержкой других провинциальных правительств лишь постольку, поскольку это выгодно этим последним.

Распавшийся на несколько фактически самостоятельных государств Китай меньше всего, конечно, может рассчитывать на уничтожение неравноправных договоров, что являлось центральным пунктом программы гоминдана. Нанкинское правительство для спасения своего престижа в глазах населения еще пытается вымолить у империалистических правительств согласие на отмену неравноправных договоров, но никаких шансов на успех оно не имеет. Даже вашингтонские «друзья» нанкинского правительства не желают дать ему другой подачки, как согласия на отмену экстерриториальности лишь в некоторых местностях, где число проживающих иностранцев вообще незначительно. Об отмене же экстерриториальности для таких центров, как Шанхай, Хайкоу, Тяньцзинь не может быть и речи. Вашингтону вторит в данном вопросе и Лондон.

Интересно отметить следующий любопытный факт, свидетельствующий о том, что американские банкиры разочаровались в способности нанкинского правительства создать устойчивый порядок, обеспечивающий возможность широкого вложения американских капиталов. Еще в октябре месяце ассоциация американских инвестиционных

банков представила официальный доклад, в котором признавала положение в Китае для развития кредита вполне благоприятным, ибо «нанкинское правительство оказалось в состоянии укрепить свое положение, благополучно выдержав несколько восстаний и такое испытание, как конфликт с СССР».

Это благополучие нанкинского правительства через два месяца оказалось совершенно призрачным, и американские капиталисты, повидимому, решили выждать более благоприятного момента для развития своих кредитных операций в Китае. Комиссия американского финансового советника при нанкинском правительстве Кеммерера прекращает свою работу с начала 1930 г. На прощальном банкете министр финансов нанкинского правительства Сун Цзе-вень вынужден был признать, что Нанкин не смог осуществить той программы реорганизации финансового хозяйства страны, которой требовали американцы для инвестиции в Китае своих капиталов. Прекратила свою деятельность и американская компания воздушных сообщений, организовавшая воздушную линию Шанхай—Хайкоу. Причина — политические осложнения и невозможность совместной работы с китайскими властями.

Так печально закончилась попытка буржуазной стабилизации Китая на основе сотрудничества с империалистическими державами. Совершенно очевидно, что долго продолжаться создавшееся сейчас в Китае положение не может. Но выйти из этого положения трудящейся массы Китая могут лишь путем новой революции, которая в основу объединения и возрождения страны положит не соглашение между генеральскими группировками и стоящими за ними верхушками помещичье-буржуазных классов, а решительную борьбу против всех этих группировок за создание рабоче-крестьянского правительства Китая.

#### «Младшие сыновья» индийской буржуазии

В высшей степени напряженное положение сложилось и в Индии. Открывшийся 25 декабря Всендийский на-

циональный конгресс принял резолюцию с требованием независимости Индии и постановил призвать (не указывая срока) население Индии к «гражданскому неповиновению», т. е. к отказу от уплаты налогов и бойкоту всех правительственных учреждений в Индии.

В нашем обзоре в декабрьской книге «Нового Мира» мы отметили уже так называемый «промах лорда Ирвина», вице-короля Индии, который в поисках соглашения с индийской буржуазией сделал туманное заявление о предоставлении Индии в неопределенном будущем прав доминиона. Это заявление, которое с энтузиазмом было принято буржуазными националистическими кругами Индии, в Англии подверглось жестокой критике как со стороны либералов, так и консерваторов. В результате парламентских дебатов Макдональд фактически дезавуировал лорда Ирвина и принял лишь решение о созыве англо-индийской конференции, которая должна обсудить вопрос о постепенном расширении индийской конституции.

Проявленная буржуазными кругами Англии непримиримость предопределила позицию созданного в Лагоре Всендийского конгресса. За два дня до этого конгресса лидеры индийского национализма сделали последнюю попытку договориться с британским империализмом, посетив с этой целью вице-короля.

«Три обстоятельства надо отметить в связи с этим свиданием, — писал «Times» накануне этого свидания. — Во-первых, инициатива свидания исходила от лидеров индийского национализма. Второе — не приходится ждать слишком многого от этого свидания, которое не носит характера конференции, а имеет значение лишь простого обмена мнений и уточнения уже высказанных точек зрения. Третье — всякий намек на «одиннадцатый час» (т. е. на то, что статус доминиона должен быть проведен немедленно. С. Г.) представляется нежелательным, поскольку точка зрения вице-короля не изменилась со времени последнего заявления. Но во всяком случае самое желание лидеров повидаться с вице-королем

надо рассматривать как благожелательный акт, как первый шаг на пути сотрудничества и как показатель того, что в Лагоре дает себя чувствовать голос благоразумия» («Times» 21 декабря).

Консервативный «Times» менее всего склонен потакать какому бы то ни было проявлению индийского — даже буржуазного — национализма, и потому его указание, что Ганди, Мотилал Неру и другие лидеры, посетившие вице-короля в Дели, ищут компромисса с британским империализмом, представляется особенно ценным.

Тот факт, что и Ганди, и Мотилал Неру на конгрессе в Лагоре присоединились к резолюции, требовавшей независимости Индии и призывавшей к гражданскому неповиновению, не может изменить этой оценки соглашательского направления их политики. В Англии прекрасно отдают себе в этом отчет. «Никто не может сомневаться, — писала газета «Manchester Guardian» уже после получения первых сведений о резолюциях конгресса, — что старшее поколение политических деятелей Индии, включая сюда и таких известных лидеров, как Ганди и Мотилал Неру, всей душой хотело бы удержать конгресс от принятия вызывающего требования независимости, от отказа принять участие в англо-индийской конференции и — в особенности — от угрожающего призыва к кампании гражданского неповиновения» («Manchester Guardian» 27 декабря).

Не приходится таким образом странно доказывать, что это «старшее поколение» индийских националистов выдвинуло лозунги независимости и гражданского неповиновения лишь в виду непримиримости британского империализма и под давлением революционных масс Индии. Ганди и Мотилал Неру приложили все усилия к тому, чтобы обезвредить эту резолюцию умолчанием о начале кампании гражданского неповиновения, и не без труда провалили радикальную поправку Боза, поддерживавшуюся и Джавахерлал Неру (сын Мотилал Неру), о более активных мерах борьбы вплоть до объявления всеобщей забастовки.

Гораздо более интересным представляется выяснение позиции левых националистов, лидерами которых явились Боз и Джавахерлал Неру. Оба они являются лидерами индийского профессионального движения и потому непосредственно испытывают на себе давление революционного пролетариата Индии. Джавахерлал Неру был избран председателем Всеиндийского конгресса профсоюзов на профсоюзном съезде в 1928 г., а Боз был избран на этот пост на съезде 1929 г., который состоялся за несколько недель до национального конгресса.

Оба они, как и все течение «левого национализма», рядятся в революционные одежды и пользуются репутацией непримиримых врагов британского империализма. Революционность эта, однако, «служебного» характера. «Старшее поколение» буржуазного национализма уже потеряло какой-либо кредит в рабочем движении, превращающемся в самостоятельную классовую силу, направленную к уничтожению не только национального, но и классового ига. Джавахерлал Неру и Боз, эти «младшие сыновья» индийской буржуазии, пытаются еще бороться с этим классовым направлением индийского рабочего движения, пытаясь направить революционную энергию индийского пролетариата в русло только антианглийского движения. Они поддерживают забастовки на английских предприятиях, но противодействуют стачкам, когда рабочие борются против индийских капиталистов. Боз сорвал забастовку на заводах крупнейшей индийской компании Тата, заявив, что «дело идет о спасении нарождающейся национальной промышленности».

Революционизирование индийского пролетариата вынуждает Боза и Джавахерлал Неру щеголять своей «левизной» в деле борьбы с британским империализмом, но не подлежит сомнению, что дальнейшее обострение классовой борьбы в Индии заставит их

в целях «спасения национальной промышленности» искать вместе с Ганди путей к соглашению с Англией.

Разоблачение псевдо-революционности левых националистов является поэтому для индийского пролетариата вопросом самосохранения. В эту именно сторону направлены усилия Коминтерна и руководителей красных союзов Индии. И надо констатировать, что красные союзы добились в этом отношении значительных успехов. Уход из Всеиндийского конгресса профсоюзов правого крыла профсоюзных лидеров, заявивших о засилье Москвы на последнем профсоюзном конгрессе, служит тому ярким доказательством.

Однако, размежевание между коммунистическим и лево-националистическим течениями в индийском профдвижении еще не доведено до конца. Левым националистам еще удалось провести Боза в председатели Всеиндийского конгресса профсоюзов, но пост секретаря конгресса уже достался представителю красного союза текстильщиков «Гирни Камгар», того самого союза, первые руководители которого занимают сейчас скамью подсудимых на муротском процессе. Нельзя обойти молчанием и тот факт, что профсоюзный конгресс отложил на один год окончательное разрешение вопроса о присоединении индийских профсоюзов к организованному Профинтерном Тихоокеанскому секретариату профсоюзов.

Коммунистическое крыло индийского рабочего профдвижения еще не одержало окончательной победы. Но за два года оно выросло в грозную силу, которая несомненно добьется преобладания на следующем конгрессе профсоюзов. И эта победа будет знаменовать окончательное освобождение индийского профдвижения от остатков влияния «младших сынов» индийской буржуазии. А когда это влияние будет преодолено, гегемония в освободительном движении Индии от буржуазии полностью перейдет к пролетариату.



## 2. НАШЕ ЧУВСТВО ПУТЕШЕСТВИЯ

Г. Гаузнер

Я ехал в Японию.

Вот чувство путешествия в поезде.

Выезжая, покидаешь вставленное в неподвижную стену окно своей комнаты. В быстром окне вагона каждую секунду меняется вид местности. Являющиеся в окне вагона местности хотя и видишь глазами, но они недоступны для других чувств и потому не веришь по-настоящему, что они правда есть. Только покинув движущийся вагон, наступив на землю, вдруг появляешься в новой местности. Наше чувство путешествия составлено из этих внезапных появлений.

Мы мчались по Сибири.

Я схожу по трем ступенькам погулять на берег озера. Неожиданно я вижу себя на берегу озера. Теперь я стою на одном уровне с ним и не мчусь бурей мимо него. Я появился в его местности всеми пятью чувствами. Через два дня я выхожу по тем же ступенькам и наступаю на зимний лед. Скользкий, твердый холод льда вдруг дает мне чувство зимы. Через неделю я схожу по тем же ступенькам на летнюю траву, повсюду выброшенную с огромной силой из земли. Я вышел погулять в лето. Только путешествуя в быстрой деревянной коробке вагона, можно испытать это чувство, когда появляешься в новой местности, насколько не подготовленный к ней.

Во Владивостоке я пробыл два дня.

Потому я могу описать его китайский квартал.

Посреди улицы бреет парикмахер. Помочив два пальца в воде, остерегаясь, чтобы не израсходовать ее много, он смачивает клиенту лицо, бреет щеки, нос, лоб, уши и вытирает бритву о клочок бумаги, положенный к нему на плечо. Носильщики тащат поклажу, сидящую на стульях, привязанных к их спинам. Саложники, лежа на плетеных рогожах, шьют башмаки заказчикам, которые дожидаются очереди за игрой в покер. Игроки меняются краплеными тузами и десятками и бьют друг друга по лицу. Исхуда-

лый врач торгует лекарствами с деревянного лотка.

Я отплываю в Цуругу.

Носильщик посадил мои вещи на стул за спиной. На пристани я отдал билет. Мы поднялись по сквозной лестнице. Я наступаю на движущуюся палубу, испытывая вместе восторг и испуг. Через два дня мы приехали в Японию.

Вот как я сошел на берег.

Я наступил на твердые деревянные доски. Эти доски были Япония. На пристани гулял чиновник. Его костюм из непривычного мне сукна тоже был Япония. Чиновник протянул мне руку. Я ее пожал. Моя рука почувствовала теплую пожимающую Японию и я вслед за ней.

Одетые по американской моде репортеры, став вокруг нас, сфотографировали нас всех сразу.

Один из них предложил показать мне Цуругу.

Улица: открытые настежь дома без передних стен; закрытые плоские дома без окон и дверей.

Человек в кимоно и соломенных сандалиях стоял посредине улицы. Он держал за рога руль велосипеда.

Я остановился, прежде чем войти в глубину улицы и стать прохожим в японском городе.

Я не мог поверить, что правда пройду между этих домов.

Японец наступил на педаль, оседлал велосипед и покатился вперед. Он окликнул репортера. Репортер позвал меня. Я пошел за ним и вошел в улицу. Мы пошли между домов.

Потом я стал иностранцем. Вот как это вышло.

Велосипедист катился рядом с нами, опустив одну педаль вниз и подняв другую вверх, чтобы замедлить движение. Репортер назвал меня. Он поклонился мне с велосипеда. Я увидел, что он смотрит на меня с удивлением и почтительностью. Мы встретили еще несколько знакомых репортера. Они смотрели на меня с непри-

вчными мне почтительностью и удивлением. Вдруг я заметил, что принял наивный и важный вид иностранца, который выделен в чужой толпе и потому поневоле чувствует себя избранным. Мои руки приняли другое положение. Мышцы моего лица передвинулись. Моя спина выпрямилась. Я подчинился им. Так я вдруг стал иностранцем, которому смотрят вслед.

Репортер остановил меня перед закрытым домом со сплошной стеной. Мы вошли сквозь калитку в заборе.

Вдруг я вижу на высоте метра над землей комнату без передней стены. Три другие стены прозрачны: перекрещены планки и в пустые квадраты вклеена бумага. Эти легкие стены клетчатые, как арифметическая тетрадь. Прямо на полу, выплетенном из волокон бамбука и чистом, как скатерть, положена раскрытая книга. Автоматический телефон повешен на стене очень низко: надо сесть на пол, чтобы взять трубку. Посредине комнаты спускается с потолка почти до полу электрическая лампочка. Человек должен стоять на полу этой комнаты, как на столе: у его ног книга, телефон, лампа.

На этом полу-столе стоит японская женщина. Она в одеждах лубочных гравюр. Ее прическа похожа на черную лакированную улитку, проколотую насквозь булавкой, и сверкает, как вырубленная из угля. Прическа надета на белое меловое лицо<sup>1)</sup>. Со страшным удивлением я понял, что Япония, напечатанная на книгах, правда есть.

Лежа на полу, репортер сообщил по телефону в Токио, где помещается редакция газеты «Ничи-Ничи», новости с парохода.

Через десять минут он вышел со мной из дому. Мы пробежали по Цуруге. Я не слушал объяснений журналиста. Новая страна появлялась иностранцу в непривычном наклоне уличной тумбы не меньше, чем в историческом здании. Мы поспешили на вок-

зал. Электрический поезд пошел с места, как трамвай. Я высунулся в окно. Сначала поезд катился между дощатых стен.

Обширная плоская долина открылась вдруг. Она обведена вулканической линией гор с вырезанными верхушками. Невероятные деревья видны повсюду. Посредине одной поляны воздвигнуто квадратное дерево, многоярусное, как буддийский храм. Это здание из ветвей проплыло мимо и вслед за ним появилась целая роща каких-то гигантских лиственниц. Я вижу, с какой силой их исполицидные стволы пробивают поросшую травой землю и поднимаются в воздух наверх. Из длинных ветвей вырезаются листья, переполненные соком. Вся непомерная громада листьев переливается, освещая зеленым пламенем сам воздух на два метра вокруг.

Низко над землей летит аэроплан. На выпуклости его полого кузова выгнута надпись «J—TUUB» и строка синих иероглифов.

Пейзаж с красным деревянным мостом, окованным старинной медью, с растительные моллипы изогнутых японских сосен. На синей реке желтая лодка перевозчика.

Крестьяне возделывают рисовое поле. Мужчина одет в кимоно из грубого ситца и соломенную накидку-дикобраз, пристегнутую крючком у шеи. Его голова повязана платком, скрученным в узел на лбу. У женщины высокая твердая прическа квадратно обернута узким полотенцем с напечатанными на нем синими цветами. Она держит в руке мотыгу.

Вдруг воздух стал темнеть. День остался позади, мы везжали на территорию ночи. Скоро вместо долины, видимой в окно, я увидел только свое отражение в стекле. Мне захотелось спать. Я закрыл глаза. Меня привлек в чувство толчок ногой в затылок.

Я обернулся и увидел японца в носках, который расставлял свои ноги на спинке моего кресла. Под его креслом стояли его ботинки. Все пассажиры сидели на креслах с ногами. Все они были разуты. Пол в этом вагоне окружал сидящих на креслах, как вода окру-

<sup>1)</sup> Я позволяю себе один раз такую путаницу образных сравнений, чтобы показать, как я был сбит с толку.

жают острова. Все они сидели на высоте четверти метра над полом и, чтобы пройти по вагону, должны были сперва обуться.

Я заметил это сразу, хотя в России я не обращал внимания на то, что мы всегда носим на ногах обувь, сшитую из кожи животных, и кладем во время еды пищу на деревянные «столы».

Я пробовал заснуть, усевшись в кресле. Это мне не удавалось. Сначала я полудел в кресле наискось и положил голову виском на ручку. Потом я протянул ноги под кресло японца, вытянулся прямо и сложил крестом руки на груди. Через минуту я сел на кресло с ногами, опер руки на ручку и положил лицо в ладони. Проснувшись, я просунул ноги под ручку кресла, поставил их на пол и положил затылок на другую ручку, улегшись поперек кресла. Это было неудобно, и тогда я стал в кресле на колени и прислонился щекой к его спинке. Каждый раз я засыпал на несколько минут и, просыпаясь, начинал снова свою гимнастику.

Под утро я очнулся. Я спал, сидя на полу и положив голову на сиденье кресла. Японца сзади на кресле не было. На его кресле сидела молодая японка в кимоно и круглых роговых очках. Она вышивала полотенце, вырезанное из редкой ткани. Я не мог понять, почему мы так долго едем в Токио. Я обратился к девушке на английском языке: «Простите, барышня, когда мы приедем в Токио?» Она бросила свое вязанье. — «В Токио? Этот поезд идет в Симоносеки. Почему вы не переменили поезд в Майоора?»

Я вскочил и собрал вещи. Я вышел на станции Акаши и пересел там в обратный поезд. Мы ехали обратно целый день. Я смотрел в окно.

Крестьяне возделывают рисовое поле. Мужчина едет в кимоно из грубого сита и соломенную накидку-дику-браз, пристегнутую крючком у шеи.

Его голова повязана платком, скрученным в узел на лбу. У женщины высокая твердая прическа квадратно обернута узким полотенцем с напечатанными на нем синими цветами. Она держит в руке мотыгу.

Пейзаж с красным деревянным мостом, окованным старинной медью, и растительные молнии изогнутых японских сосен. На синей реке желтая лодка перевозчика.

Низко над землей летит аэроплан. На выпуклости его полого кузова выгнута надпись «В—0723» и строка белых иероглифов.

В наступившей темноте выступили вдруг дома, три стены которых освещены, как окна. Ночью решетчатые стены японских домов, заклеенные промасленной бумагой, пропускают свет, как стекло. Эти светящиеся насквозь дома появились толпами. Поезд ночью вошел в город, полный белого дневного света.

Мне надо было сойти в Токио-Эки. Поезд остановился. Бросившись к выходу, я на бегу спросил японца, без ботинок сидевшего на кресле: «Is it Tokio-Éki?» — «No, it is Tokio-Siba». Поезд пошел дальше. Я видел в окне движущиеся колонны автомобилей, вертящиеся буквы, глубокие магазины, освещенные голубым светом. Поезд опять остановился. Я опять бросился к выходу. «Is it Tokio-Éki?» — «No, it is Tokio-Kyobasy». Поезд пошел дальше. За окном передвигались толпы в электрическом городе. Мы проезжали мимо исполинских мостов, выкованных из стали. Снова остановка. «Is it Tokio-Éki?» — «No, it is Tokio-Nihonbasy». Мы мчались по Токио в поезде больше получаса. Наконец мы поехали мимо квартала бетонных небоскребов. Японец надел ботинки и сказал: «It is Tokio-Éki». Поезд остановился. Мы вышли на перрон. Поезд ушел дальше.

Вдруг я почувствовал, что я правда стою в Япсии.

### 3. ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

Вал. Дынник

Проехали Мюнхен — «Менск», проехали мимо баб с ведрами, жилистых старичков в белой холстине. Веселый поезд бежит к границе, замыкая вагонную тишину перелезгом колес. Ветерок из окна прохладен как раз настолько, чтобы дать почувствовать уют обжитого купе. Путешественники молчат: каждый пригрелся на своем месте.

Хмурый проводник с неожиданной ловкостью и с заботливостью старой няни заправляет постели конвертиком.

— О, да и у нас, оказывается, не так уж плохо.

— Дорога ответственная. Как никак, — граница. Надо, чтобы все было в порядке.

— Ну, да с теми, должно быть, все равно не сравниться.

— Это с заграничными? А вот посмотрите...

Через несколько часов мы посмотрели: третий класс в заграничных вагонах (и как потом выяснилось, почти повсюду) — это теснота восьмиместных купе, поджатые ноги и поджатые локти, как в хорошо укомплектованном трамвае. Соседей так много, что они кажутся все одинаковыми: негнущийся крахмал воротничков, прямые углы сухопарых ног и раскрывшаяся в мгновенном взмахе век из-за высоко поднятой книги читая, почти наивная, всегда неожиданная на угловатом лице синева англосаксонского взгляда. (Впрочем, двое потом оказались поляками.) Освободилось одно место. Две пары ног легко и быстро вскинулись на скамейку, — значит американцы. И действительно, натянутая тишина прорезалась довольными репликами на скверном английском языке.

Чопорное молчание вагонного соседства, рассеянное безразличие пассажиров сменилось сразу же оживленной беседой, откровенным любопытством: кто, куда, откуда?

Эти двое американцев — преподаватели китайского университета, поляки — студент и конторщик. И все едут в Берлин. Поляки говорят по-немецки и немного по-французски, мы

чуть-чуть понимаем по-польски, американцы, как полагается англосаксам, кроме английского, не знают ни одного языка, — и вот завязалась оживленнейшая из бесед в сплетении английской, немецкой, французской и польской речи. Даже жалко было чуть-чуть, когда поезд подошел к варшавскому вокзалу.

Варшаву проехали вечером. И хотя нам сказали, что поезд стоит долго, мы, с неистребимым русским недоверием ко всему, что касается железной дороги (а вдруг уедут раньше времени?), разрешили себе лишь на полчаса пробраться по привокзальным варшавским улицам — первый раз по «заграничной» земле. Веселое, плавкое золото фонарей на светлом еще небе, нестрота витрин, навязчивое мелькание шелковых чулок по гладкому асфальту Маршалковской улицы ворвались в серое однообразие вагонных видов, слились в одно радужное пятно, и долго еще потом пятно наливало на вагонные стекла, на чернеющую муть скучного деревенского неба, затем потускнело и стерлось со стекла. Окна заволокло прохладным сумраком пустынных полей. Оживленный щебет польского говора стоял еще в ушах, но вот и его уже вытеснил железный вагонный ляг. Поезд вынес нас на дорожное безлюдье деревенской Польши.

Ближе к немецкой границе уже покраснели прятные домики, игрушечные деревеньки защеголяли чистотой чешуйчатых черепичных крыш, закудрявились деревья, аккуратно причесанные, как на наглядной картинке, а колеса надоедливо задолбили пушкинский четырехстоновый ямб:

И хлебник, немец аккуратный...

Поезд миновал предместья и подвезит нас к самому центру Берлина.

Странно путешественнику, попавшему впервые за границу, выйти из вагонного купе прямо в воскресный Берлин. Ошеломляет неожиданность бесшумных, как бы подкрадывающихся автомобилей, тяжелый дребезг двухэтаж-

ных автобусов, вулканический гул подземной железной дороги.

Среди простеньких такси с клетчатым пояском вокруг зеленого угловатого кузова и породистых частных машин с округлыми боками незабываемой скалкой нерукотворным памятником стоит широкоплечий полицейский. Усатые лица шоферов и сухие профили английских спортсменов тянутся из-за рулевых колес к мелькающей белой перчатке, послушно не спуская с нее глаз. Но и этот единственный щуцман среди потока машин, оказывается, уже устарел. К вечеру заметнее и веселее перемигиваются огоньки угловых регуляторов — красный, зеленый, желтый (кто-то один, представляется, сидит в какой-нибудь будке и нажимом кнопки зажигает огни по всему Берлину. А может быть, обошлись даже и без него, единственного на весь город?). И профили так же послушно тянутся уже вверх, к перемигам цветных огоньков.

Так же озабоченно смотрят вверх и пешеходы, ожидая момента, когда им позволено будет перейти на ту сторону по темному зеркалу мостовой, в которое берлинский вечер уже опрокинул и белые шары фонарей и елочные огоньки регуляторов.

Но и, пройдя мимо нетерпеливо урчавшей автомобильной своры, вот-вот готовой сорваться, кинуться, смять, подчиняющиеся попрежнему общему движению улицы... Толпа светлых пальто и шелковых платьев мягко подхватывает тебя, и ты уже поплыл с нею мимо улыбающихся витринных кукол в шелковом белье желто-розового и салатного цвета, мимо хрустальных флакончиков, портретов киноактрис с лирическими автографами по адресу парикмахеров, мимо тяжелых отельных дверей, почтительно открывающихся в ожидании, пока такой же тяжелый швейцар, кактронив оплывший свой стан, высидит из автомобиля некрасивую англичанку. Плынешь мимо кафе, где на целые вечера оседают берлинцы, посапывая над пивом или посапывая оранжад через золотистую соломинку. Как на улице, так и здесь, среди простоватых немецких лиц равнодушно, не обра-

щая ни на кого внимания, уверенными господами проходят англичаги и американцы. Так же уверенно заказывают меню на каком-то невообразимом, ни на что не похожем языке, который они и не очень стараются приблизить к немецкому. И действительно, кельнеры как-то ухитряются их понимать и сами даже с угодливой готовностью подсюсюкивают в ответ, думая, что так понятней. Впрочем, не только англичане, всякий, кто говорит хотя бы с небольшим иностранным акцентом, может рассчитывать на особую любезность продавца, кельнера, самого хозяина. Иностранцев здесь любят как щедрых гостей и хороших покупателей.

Хищные пемочки, глядя куда-то вверх мечтательными глазами, выделяют угодливые движения фокстрота. Музыкант из оркестра каждые четверть часа подымается над взмахами смычков и старательно выпевает какой-то английский куплет.

А на улице уже не таклюдно. Многие благоразумно расходятся по домам.

Только сейчас замечаешь верхние этажи, уже задернутые шторами. Густо темнеют цветы на маленьких балконах. Сквозь тонкую ткань пробивается теплый, желтоватый свет.

За дубовой дверью сразу охватывает мягким теплом, ноги с удовольствием перебирают некрутые ступеньки, устланные ковриками. Над лестницей стоит вкусный пар хорошо сваренного кофе. Так пахнет, кажется, во всех берлинских домах.

Квартиранты с ключами пробираются к себе, в свои комнаты, обставленные на один манер: на самом почетном месте кровать с громадной периной, пухлой и высокой, как хорошо подошедшее в опаре тесто, умывальник с фаянсовым тазом и кувшином, зеркальный шкаф и непременно круглый столик, за которым никак не примоститься писать: он на это и не рассчитан.

Уличный шум сразу обрывается на высоком, надсадном крике автомобильного рожка. Прозрачный плеск фонта-

на отсчитывает секунды тишины. Серый двор — каменный резервуар прохлады — почти пуст. Только несколько студентов разминают ноги в высоких клетчатых чулках и широких брюках до колен, да время от времени дробными шажками просеменит к дверям государственной библиотеки какой-нибудь старый профессор. Студенты почтительно замолкают, спешно доглатывая непрожеванные бутерброды, и провожают глазами маленькую черную фигурку, такую заметную на пустом асфальте двора.

Но в большом зале библиотеки фигурка сейчас же теряется среди множества таких же фигурок. В закоулках круглой рабочей залы уже собирается темнота. Бледно-зелеными поникшими колокольчиками зажглись электрические лампы. Среди колокольчиков черными козявками передвигаются люди, заботливо перетаскивая свою книжную ношу. Здесь можно встретить ученых с мировым именем.

— Здравствуйте, многоуважаемый профессор, узнал вас по портрету. Так кой-то.

— Как же, как же, я давно слежу за вами по научным журналам. Очень рад познакомиться.

Из кучи заметок, записочек, выписок, старых трамвайных билетов вытягиваются визитные карточки, назначается свидание, и козявки опять расползаются в разные стороны, опять перетаскивают книжную добычу.

В такой муравьиной ежедневной работе строится немецкая наука. Где-нибудь в маленьком городке Мекленбургской области старый профессор, который давно уже выслужил пенсию, вот уже в течение сорока лет непрерывно, изо дня в день, обходит деревню за деревней, записывает пословицы, поговорки, загадки, прозвища, местные предания — и каждый вечер, возвращаясь домой, сортирует записи, раскладывает их по ящичкам. Ящичками, в которых уже хранится полтора миллиона карточек, сплошь уставлены стены двух больших комнат. И не знаешь, чему поражаться: этой ли ежедневной настойчивости и вдохновенно-

му трудолюбию или чисто пемецкому умению ограничить свою научную задачу, сосредоточиться на одном, не перейти за пределы поставленной цели, — занимаюсь поговорками, не соблазняться записью какой-нибудь сказки или песни. Такого работника отпустит только смерть. В ожидании последнего отпуска он так же обдуманно, как и все, что делает, неподвольт готовит себе заместителя, издатели своих материалов. Через несколько лет полтора миллиона карточек будут сдааны в научный архив, а Ростоцкий университет выпустит словарь Мекленбургской области. В круглом зале Государственной библиотеки на полке справочников прибавится еще один номер.

Их много, этих номеров, в Государственной библиотеке. Доктор Ш., филолог и драматург, водит нас по книжным хранилищам. Отсюда, из стальных магазинов, книги подаются в читальный зал, рассылаются по запросам провинциальных библиотек во все города Германии, переправляются и за границу. Но книг так много, что они теряют всякую конкретность. Это не то, что в маленькой домашней библиотеке, где видишь всякий корешок, можешь подержать в руках, перелистать новинку. И только русский отдел зовет к себе знакомой весенней обложкой сейфуллиновской «Виринеи» и родченковскими черно-красными мотгажами. Доктор Ш., оказывается, прекрасно ориентирован в новой русской литературе, переводит наших поэтов. Странно и трогательно звучит по-немецки в устах немецкого литератора ранняя есенинская «Березка», пока внизу служителя гремят тележками и в окно доносятся приглушенный стеклом, настойчивый крик автомобилей.

Как всегда бывает, когда немец заговорит о русской литературе, разговор переходит на Достоевского. Для большинства образованных немцев Достоевский не только художник, но главным образом путь к пониманию «русской природы». И немцы прилежно читают Достоевского, как хорошее руководство по этнической психологии.

— Сейчас уже увлечение Достоевским несколько поумерилось, но еще недавно это была одна из самых острых литературных тем.

Обилие русских книг в Государственной библиотеке нас не удивляет: мы с первых же дней, еще в период «витринного» изучения Берлина, отметили, как много здесь издается русских авторов и книг об СССР. В каждом почти книжном окне какой-нибудь кусочек «Russland». Правда, нередко это — кроваво-черная обложка, с которой демонически глядит Распутин в русской рубашке с расстегнутым воротом, завлекающая любителей сильных ощущений. Но даже и в этом сказывается, пускай по бульварному преломленный, а все-таки явный интерес к нашей стране.

Здесь среди русских книг, обступивших со всех сторон, в тишине библиотечных складов на мигуту забываешь, что ты за границей. Но стекла звонко дрожат, за окном свирепо зарыкали автомобильные рожки, взгудели моторы — в памяти взметнулась примелькавшая за день белая перчатка шупмана. Пора прощаться, еще так много дела.

Проходим опять мимо рабочей залы. Черным бисером рассыпаются по широкой лестнице сухонькие фигурки ученых читателей. Торопливые ноги мелко простукивают по асфальту двора, и опять почтительные студенты провожают взглядом черную фигуру, называя шопотом почтенное имя. Но и спокойный плеск фонтана, и почтенное университетское имя захлестнуло уже волною уличного шума.

Как углый челн, черная профессорская шляпа то исчезает, то снова появляется в толпе, правая свой путь наискосок. Неподалеку от библиотеки таким же островом науки стоит серый корпус университета. Во дворе, в деревянных стойлах, студенческие велосипеды терпеливо ждут хозяев. Стальные спицы веселым блеском откликаются солнцу. Подкатывают все новые колеса, торопливо звякают замки, торопливо взбегают по лестнице молодые ноги. А велосипеды будут стоять без хозяина, без надзора, как

стоят они шеренгой у ночтапта, магазина, как стоят их знатные сородичи автомобили,—и никто их не тронет, не сдвинет с места.

Двор опустел. Примолкли и коридоры. В аудиториях гулко перекачиваются закругленные фразы профессорской речи.

С высоких хор так хорошо видно всю аудиторию. Мальчишеские, бобринком подстриженные головы; несколько девичьих проборов, косы узлом на затылке. Парадокс женской прически: университет, былой питомник «стриженых» женщин, стал сейчас последним убежищем длинноволосых, может быть, опять потому — опять парадокс, — что длинные волосы требуют меньше времени, забот и денег: нигде нет такого обилия парикмахеров, промышляющих «вечными волнами», помадой, брильянтином и какими-то сетками для волос, как в Германии, стране бубикопфов. А надо сознаться, приятно смотреть на эти гладко причесанные головы после нагофрированных модных голов и бритых, отдающих синевой, женских затылков, на которых черными точками уже пробиваются волосы, как на плохо выбраном мужском подбородке.

Старательно, с настойчивым скрипом бегут по строчкам самопишущие «монбланы», догоняя профессорскую речь. Никто не перешепчется и даже не переглянется, и лишь какое-нибудь невнятное имя, скромное название прерывает скрип самопишущих перьев. Сотня ног начинает вдруг шаркать по полу, и бобринки подымаются от юпитра. Профессор послушно повторяет неразборчивое слово, и монбланы опять мелькают белыми шапочками своих наконецников. Таким же шарканьем ног, уже не подымая головы над бумагой, отвечают студенты, в знак одобрения, на профессорские остроты. Тем же шарканьем напоминают о перерыве. И шарканье растет, заглушая последнюю фразу профессора. Нам становится как-то неловко за студентов. Наши студенты далеко не так благодетельны, они порою шепчутся, но редко когда без крайней необходимости напоми-

пают, что пора кончить. И профессора не раз завладевают перерывами, отхватывают друг у друга время, волнуясь и спеша. Но берлинцы принимают студенческое напоминание за нечто совершенно должное и послушно защелкивают свои портфели. Дисциплина.

Ни вопросов профессору, ни студенческих споров в перерыве. Монбланы засунуты в жилетный карман, захлопнуты записные книжки. Студенты уже справляются по расписанию о следующей лекции.

У дверей поджидает уже профессора молодой докторант. Летучая десятиминутная беседа между двумя лекциями, впрочем, как полагается, заблаговременно условленная по телефону. И такая же, как у студентов, летучая сампишущая ручка поспешно и благодарно клонит записную книжку. Так и этот молодой человек тоже еще только учится?

В коридоре немного поутихло. Обеденные часы. Маленький «академический» ресторан-пивная, в стороне от пафосных отелей «Унтер ден Линден», от английских магазинов, наполненных тетрадь для арифметики, — так много в них клетчатых пледов, клетчатых домашних туфель, клетчатых ватерпуфов. Взгляд отдыхает в полумраке маленькой ресторанной залы, в оживленный человеческий говор, все растущий с каждой новой кружкой пива, мягко ласкает слух после крикливой улицы.

Сюда, в этот маленький ресторан, затерявшийся в одной из боковых улиц университетского квартала, любят ходить русские: советский гражданин, ошарашенный с первых же дней бесноватой заграницей, как-то инстинктивно пробрается в этот мирный угол, где столы не смущают чопорной белизною накрахмаленных скатертей, где не так низко сгибаются оберы. И советский гражданин чувствует себя здесь уютней. Когда же среди пиведомых блюд растерянный взгляд наткнется невзначай на «шницель по-венски», он встречает знакомое название, словно дорогого друга в толпе чужестранцев. И равновесие

восстановлено. Вечером же смоленский профессор пишет жене своей, что он совершенно освоился с заграницей, жизнь его «вошла в колею» и работа «наладилась». И действительно, с этого дня уже ничто не отвлекает его от дела. Он роется в библиотеках, в архивах, ведет переговоры с немецкими учеными уверенно и твердо, как всякий специалист в своей области, а за обедом ежедневно, с изумительным постоянством вкуса, заказывает шницель по-венски.

Сегодня, как всегда почти, в зало слышится русская речь. Знакомое лицо — начинающий научный работник, командированный за границу. Только что вернулся из поездки по Рейну.

— Что видели на Рейне? Интересно?

— Ничего особенного. Скучновато. У нас на Волге лучше. И пароходы просторнее.

— Ну, а здесь в Берлине? Посмотрели музей, выставки?

— Да как сказать. Заглянул кой-куда — интересного мало. Наша Третьяковка лучше. Экспозиция интересней.

— Насчет экспозиции, конечно, верно. Музейное дело, действительно, кой в чем здесь поотстало. Но ведь материалы-то сами по себе интересны? Ренуара и других французских импрессионистов, конечно, видали?

— Ренуар у нас лучше представлен. В памяти всплыл берлинский холст Ренуара. Как доказать, что эта живопись прелесть красок каждый раз по-новому радует в каждой новой картине, сколько бы Ренуаров ни висело бы у нас в Музее Западной Живописи?

— Вы бы все-таки пошли, посмотрели. Побывайте и в Национальной Галлерее. Там выставка после-экспрессионистов.

— А где это? Туть занутаешься. столько всего смотреть надо. Вот хорошо, что сказали.

— Так вы бы хоть по Бедекеру справлялись.

— Ну, Бедекер, — у него там звездочки стоят, где восторгаться надо.

И вот, боясь этих звездочек, как некоей мистической пентаграммы, забывая о том, что говорить о банальности



Бедекера тоже давно уже стало базисным, не один наш экскурсант пробыл по Берлину несколько дней, бессистемно, часто бесплодно, разумевая у случайных встречных, у квартирных хозяек, что бы еще посмотреть, как-будто бы хозяйкины посетительницы надежней бедкеревских звездочек. И, отдаваясь воле случая, не мог даже утешиться разнообразием неожиданностей: случай почему-то настойчиво приводил его либо на Курфюрстендамм, либо на Унтер ден Линден.

Нет, и у берлинских студентов есть чему поучиться. Нашей молодежи не угрожает опасность уподобиться при мерным мальчикам из берлинского университета, по перенять у них привычку к расчисленной и ладной работе, к обдуманному и ладному развлечению, право же, стоило бы и нам.

Полусумрак ресторанный залы кажется каким-то насупленным Берет досада, что мы свое дело не делаем так же настойчиво, планомерно, так же «стопроцентно», как немцы делают свое. Подымается зависть к этому вот седенькому профессору, который, отчитав свои лекции, вернется домой, просидит без помехи весь вечер за письменным столом, над аккуратной стопочкой рукописных страниц, над свежей книжкой научного журнала. И вспоминаются наши русские столы, где едва можно примоститься среди груды книг, все растущей и растущей. Нет времени читать, и не хочется сдаваться, ставить на полку.

Горечь весь вечер стоит в сознании. С горечью засыпаю.

«Дневные раны сном лечи» — мудрый совет. На утро опять хочется ходить и смотреть. У входа в «Цоо» толпа. Кассир быстро и равномерно протягивает каждому билет и проспект, отсчитывает пфенниги. Уже здесь пахнет зверьем, доносится острый и пряный запах звериной шерсти, пригретой солнцем. «Звери как звери» — невольно говорю себе в стиле вчерашнего нашего собеседника. И верно, московский Зоопарк интересней. Но вот эти звери у нас не показывают: недалеко от волка, с механической непрерыв

ностью бегающего по узкой клетке, недалеко от меланхолической лампы, от понурого верблюда, от озорных обезьян, в узкой загородке мелькают черные, мелко заплетенные в косицы головы. что-то лопочут выпяченные красные рты. «Самалийцы Карла Гагенбека», — читаю в проспекте, — шестьдесят туземцев (мужчин, женщин и детей) с лошадьми, верблюдами и т. д. под предводительством вождя Альв Эгге». Далее повествуется о подвигах самалийцев в Восточной Африке, их участие в гагенбековской зоологической экспедиции. Бедные герои! сами попали в Зоосад. В волосы воинственно воткнул белый панаги, плащ с дикарской грацией перекинут через плечо, блестит наконечник копья, в широкой улыбке раскрывается свежая белизна зубов, но лениво и праздно шаркают ноги по маленькой площадке, а руки навязчиво протягивают какой-то палебный корень для зубов, — гордый вождь уже научился кланяться.

Какой-то шжольник, вопросительно посмотрев на свою мамашу, осторожно, словно в клетку, протягивает руку в дикарский шалап, где сидят четыре черномазых девчонки, хочет дотронуться до шерстистого колтуна, так непохожего на светлые, чуть рыжеватые волосы. Трое девчонок затравленными зверьками отодвигаются к задней стене. Четвертая, самая маленькая, вскакивает, с размаха ударяет мальчика по пухлой детской руке, злобно плюет на него раз за разом и долго кричит ему вслед что-то непонятное и дикое на диком своем языке. Мама уводит мальчика в другое отделение, к веселым мартышкам.

Направо от Цоо — одноэтажный, крытый сферическим куполом планетарий. Внутри закругленными рядами удобные стулья. Публика тихо переговаривается в ожидании сеанса. Здесь студенты, несколько празднично настроенных семейств, желающих получить полезное развлечение, и неизменные многочисленные иностранцы.

Неожиданно громко зазвенели под куполом слова объяснителя-лектора. В маленьком зале тесновато и душно. Публика еще перешептывается, огля-

дывая друг друга. Остро поблескивают стекла пейссовского аппарата.

Щелкнул выключатель, и высоко над головою раздвинулась темная глубина небес, задвигались, поплыли светила—красный Марс, кольчатый Сатурн, лучезарная Венера. Звезды возникали и гасли. Жемчужной россыпью лег млечный путь, излучая слабый и грустный свет. Человеческий голос зазвучал торжественно и мерно. От этих звезд, уловленных в своем движении, постигнутого человеком и правящих путь по его воле, в сознание спускалось спокойствие и одиночество.

Опять сухо щелкнул выключатель. В глаза ударил отрезвляющий свет электрической лампы.

— Чудно, прелестно! Если бы не лектор, можно было бы совсем забыть, что мы в планетарии. Совсем как на Ванзее, помнишь, Курт?

Курт поправляет усы и улыбается.

Молодой лектор с близорукой тщательностью перетирает свой аппарат. Два шара, усеянные линзами, поблескивают в опустевшей зале. Сцепление рычагов, стальные переплеты, холодная прозрачность выпуклых стекол и склонившийся над ними человек, забывший о публике, как публика забыла о нем.

Глаза еще плохо видят в дневном свете, особенно белом после освещен-

ной электричеством залы. Серыми кубами надвигаются дворцы прусской тяжелой и прочной стройки, нерасчетливо рассчитанной на века. Со Шпрее потянуло чуть слышным запахом воды и уже вспомнилась Волга, скрипы ванатов, Днепр и байдарки, розовая Сухона, Двина... Вдруг, вспугивая ленивый полусон, белым призраком заметался по мосту нелепый арлекин. Повар в белом фартуке и высоком расфурфуренном колпаке раздает объявления о «вновь открытом и заново отделанном ресторане». Он завербовал уже двух англичан—мужа и жену—и ведет их, показывая дорогу. Англичане, несмущаясь общим вниманием, идут за белым своим поводырем. У дверей их приветливо встречает хозяин. Ловец человеков получает в кассе премию и возвращается к мосту.

— Что же, многих так за день приводите?

— Немало. Место хорошее, музеи, дворцы. Иностранца здесь много.

И на мосту, над барками, в свежем воздухе, пахнущем рекою, выжидательно и терпеливо застыла белая фигура. Поварской парадный колпак нелепо раздут. Хочется хлопнуть по нему руками, как хлопали все мы в детстве по бумажному мешку, надутому воздухом.

# Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Заметки журналиста. — 2. А. ЛЕЖНЕВ. Разговор. — 3. Н. ЗАМОШКИН. Важный шаг к мастерству. — 4. РАШКОВСКАЯ. Восстание против разума.

## 1. ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА

1. О «Новом Мире», об его критиках, о молодяке, о пролетарских и крестьянских писателях, а также о многом другом. — 2. О «консолидации коммунистических сил пролетарской литературы», о журнале «На Лит. Посту», о напостовской дубинке, о шуйде и деснице налитпостовства. — 3. Осип Бескин и его учитель Булгарин. — 4. О «поисках Галатен», о Д. Горбове и его «самокритике».

### Вяч. Полонский

1. О «Новом Мире», об его критиках, о молодяке, о пролетарских и крестьянских писателях, а также о многом другом.

#### I

«Новый Мир» вступил в шестой год существования. Пять лет — срок для журнала немалый, особенно в нашу эпоху. Приобретены друзья, но нажиты и противники. Достаточно проглядеть библиографические отделы таких изданий как «На Лит. Посту» или «Вечерняя Москва», чтобы увидеть, как много нареканий вызвал наш журнал. Справедливы они или нет?

О, разумеется, мы были не без греха! Конечно, мы делали ошибки, иногда крупные, порою помельче — не станем отрицать их. Но разве, кроме ошибок, «Новый Мир» ничего положительного не дал нашему литературному движению? А в этом все дело.

#### II

Чаще других в последнее время раздавался упрек в нашем будто бы пренебрежительном отношении к пролетарской литературе. Упрек — трижды несправедливый. Прежде всего:

«Новому Миру», так же, как и «Красной Нови», была поставлена задача быть органом, показывающим рост советской литературы. Что это

означает? Литературы попутнической? Нет. Попутничество — один из отрядов советской литературы. Пролетарская литература — другой отряд ее. Крестьянская литература — третий отряд. Попутническая литература, кроме того, не однородное целое. В ней есть левые группы и есть группы правые. Отряды эти в художественной форме отражают классовую борьбу, проникающую в наше общество. Поэтому нельзя говорить о советской литературе, как об едином потоке, в котором слились все литературные ручьи. Но сталкивающиеся, отрицающие друг друга литературные направления, группы и школы, вместе взятые, представляют собой то, что мы суммарно обозначаем словами «советская литература». Мы исключаем из нее те течения, которые явно или замаскированно выступают против коммунизма, против пролетарской революции, против социалистического строительства. Эту литературу мы обозначаем как антисоветскую.

Органом какого же отряда или течения, или группировки был «Новый Мир»? Трудность его позиции заключалась в том, что он призван был показать на своих страницах рост главнейших отрядов советской литературы, с преимущественной установкой

на отряде попутчиков. Такова была задача, поставленная журналу. Потому-то упрек, что мы одновременно печатали А. Толстого и Гладкова, Бабеля, Караваева и Маяковского — бьет мимо цели. Так оно и должно было быть.

### III

«Новый Мир» печатал преимущественно «левых» попутчиков. Но, случалось, на страницах его появлялись и «правые» вещи. Каемся. Было бы лучше, если бы они не попадали. Но опять-таки — кто без греха? Быть может, безгрешна «Красная Новь»? Или «Октябрь»? Или «Молодая Гвардия»? «Звезда»? Или другой какой-нибудь советский журнал? А ведь если заняться подсчетом «грехов», неизвестно, у кого их окажется больше. Не говорят ли эти «ошибки», которых не смог избежать ни один наш журнал, что в появлении иногда произведений с креном «направо» лежат какие-то общие причины?

Это относится, разумеется, только к произведениям, не переходившим границ советской легальности. Бывали, однако, случаи, когда появлялись произведения, эти границы переступавшие. Но такие происшествия, во-первых, крайне редки, они в буквальном смысле — случайны и, во-вторых, нисколько не характерны именно для «Нового Мира». Во всяком случае — их было не больше, чем в любом другом журнале.

### IV

Упрекали нас в игнорировании «пролетарской литературы» не заглядывая в наш журнал. Иногда, конечно, спорным являлся вопрос, какой именно писатель является пролетарским. Но есть имена, в принадлежности которых к течению пролетарской литературы мало кто сомневается, Ф. Гладков, например. Г. Никифоров, например. А. Караваева, например. Д. Фурманов, В. Бахметьев, Артем Веселый, А. Безыменский, М. Волков, И. Садофьев, М. Светлов. Мы могли бы прибавить еще имена Н. Ляшко, И. Уткина, А. Ясного, В. Казина, В. Саянова, В. Гусева, Д. Алтаузева, А. Жарова, М. Дамилова,

М. Юрина, Я. Шведова. Все это — пролетарские поэты и прозаики. Все они печатались, а многие из них продолжают печататься в «Н. Мире».

Правда, наши обвинители могут сказать: а почему вы не печатали Фадеева? А почему не печатали Шолохова? Брошен же был нам однажды упрек в том, что мы не напечатали романа Г. Никифорова «У фонаря». Но если статья на путь «Вечерней Москвы», можно в обвинениях дойти до столбов, которые называются геркулесовыми.

Касательно Фадеева, мы не станем скрывать, что с большой охотой печатали бы его произведения. Оценка, какую дал наш журнал этому писателю, является тому достаточным свидетельством.

Но Фадеев — писатель очень скупой. За восемь лет литературной работы он написал три небольших повести и небольшой по размерам роман «Разгром». А новую вещь свою — «Последний из Удеге» — он с полным основанием печатает в органе той писательской организации, в которой состоит.

Упреки эти, разумеется, легкомысленны, несерьезны, даже недоброжелательны. Они обнаруживают в наших обвинителях настроения, хорошо выраженные фразой одной из крыловских басен:

Ты виноват уж тем, что хочется  
мне кушать...

Счастье «Нового Мира» в том, что он не ягненок, да и «волки» не всегда «зубасты». Сплошь же да рядом под волчьей страшной шкурой много из наших обвинителей скрывается добрейшее, хотя и крикливое четвероногое.

### V

Чаще всего нас обвиняли в эклектизме. Вы-де печатаете и попутчиков, и пролетариев, и лефов, и конструктивистов. Смирненно отвечаем: да, мы печатаем их. Но это — не эклектизм. Я назвал бы «синкретическим» такое состояние художественной литературы, когда еще не дифференцированы школы, когда не выделился господствующий стиль, когда не закончилась борьба форм, когда каждая в отдельности лит-

школа еще слишком слаба, чтобы питать существование отдельного журнала, а вся литература находится в состоянии стремительного движения.

Повторяем: наш журнал призван отражать широкое движение советской литературы со включением наиболее мощных течений. И позицию его следует поэтому называть не эклектической, но синкретической. Позиция эта диктуется не желанием журнала во что бы ни стало отражать всех и вся, не отсутствием у руководителей журнала своего собственного вкуса, своих собственных взглядов и пристрастий, но объективной невозможностью в нынешних условиях сделать толстый журнал достоянием какой-нибудь одной из групп. Такая позиция журнала — не вина, а беда его. Скажем больше: беды этой до сих пор не сумел избежать ни один «толстый» советский журнал.

Достаточно обратиться к истории «Красной Нови», «Молодой Гвардии», «Звезды», даже «Октября», — чтобы увидеть это. Провозглашая на словах гордые декларации, они на деле идут по тому же пути, нередко заходя гораздо дальше, чем заходил наш журнал. В этом смысле примечательны судьбы «Звезды» и «Красной Нови». Одно время, когда «Звездой» руководил т. Майский, — критический отдел журнала провозглашал лозунги борьбы за пролетарскую литературу: Майский был напостовец. Но когда читатель от критического отдела обращался к отделу беллетристическому, он получал «Рукопись, найденную под кроватью» Ал. Толстого. Расхождение между словом и делом было разительное. Не то же ли самое мы видим в «Красной Нови»? Когда журнал перешел в руки редакции во главе с Раскольниковым, одновременно состоявшим членом редакции «На Лит. Посту» и членом правления ВАППа, — все думали: вот, наконец-то, напостовцы покажут, как надо делать не эклектический, а принципиальный, современный журнал, с установкой на на-

скую прозу. Годы шли. Журнал катился по накатанной дорожке, все больше загибая вправо. Что же произошло? Раскольников перестал быть напостовцем? Сделался апологетом буржуазной, правопопутнической литературы и ненавистником пролетарской? Нет. Он попрежнему повторял тезисы, что надо быть принципиальным, левым и т. д. и т. д. Но практически, когда столкнулся с делом толстого, не кружкового журнала, когда ему пришлось отбирать для него художественные произведения, — он стал делать то же самое, что делали другие редакторы других толстых журналов. Материал, имевшийся в наличии, корректировал его замыслы. Не его вина в том, что он не сумел превратить «Красную Новь» в журнал пролетарской литературы. Но его вина, конечно, в том, что, попрежнему сохраняя журнал как орган литературы советской, он, во-первых, печатал в нем произведения, характеризовавшие не левое крыло этой литературы, но крыло правое и, во-вторых, сильно снизил качество литературы. Он делал обратное тому, что говорил. Судьба его, как редактора, была подобна судьбе редактора Майского: шел в комнату, попал в другую.

Наконец, «Октябрь». Журнал этот в последний год сильно вырос. «Октябрь» — один из самых интересных журналов. Успехи его знаменуют успехи пролетарской прозы. «Октябрь» — единственный журнал, являющийся органом определенного литературного отряда. Правда, аналогичным органом оказывается «Журнал для всех». Но для этого последнего журнала характерна полная беспринципность. Он, кроме того, так сер, что литературное значение его равно почти нулю, хотя в «Кузнице» есть настоящие писательские силы. Другое дело «Октябрь». У этого журнала есть линия. В нем, кроме того, есть молодость, живость, яркость. Его преимуществом является именно то, что больше чем какой-нибудь другой журнал он имеет возможность быть монолитным, принципиально однородным, стилистически определенным. «Октябрь» — издание,

монополизировавшее право на первую публикацию пролетарских произведений. Эта «монополия» естественна. Нельзя себе представить, что Фадеев или Либединский, или Панферов, или другой какой-нибудь пролетарский беллетрист, будучи дисциплинированным членом организации пролетарских писателей, отдавал бы свои лучшие произведения чужому журналу, да еще в такое время, когда ощущается литературный голод. Потому-то «Октябрь» может быть спокоен: лучшие произведения пролетарской литературы будут напечатаны на его страницах. Но значит ли это, что «монополия», создающая такие благоприятные условия для стилового единства, избавила журнал от того самого упрека в эклектизме, который бросается «Н. Миру», «Красной Нови», «Звезде»? Нет, не избавила. Орган ВАПП'а и РАПП'а рядом с произведениями пролетарской литературы печатает на своих страницах прозу и стихи непролетарских писателей — попутчиков, конструктивистов, лефов, т. е. делает то самое, что делают и другие журналы. Почему это происходит? Быть может, редакция «Октября», имея в портфеле достойные произведения пролетарских писателей, отказывается их публиковать, предпочитая печатать произведения попутчиков? Нет, конечно. Такое положение не могло бы быть терпимо в органе пролетарской литературы. В чем же дело? Очевидно, в том, что редакция «Октября» принуждена передавать свободный листаж журнала произведениями писателей, хотя и не принадлежащим к РАПП'у и ВАПП'у, но достаточно близким идеологически, чтобы появиться рядом с пролетарскими писателями. И тут мы видим, что «сликретизм» навязывается редакции пролетарского журнала обстоятельствами нашего литературного развития.

Здесь, конечно, могут еще преследоваться цели сближения литературных отрядов — пролетариев и левых попутчиков. Но это дела не меняет. Если «Октябрь» содействует сближению пролетарских писателей с попутчиками,

печатая попутчиков рядом с пролетарскими писателями, и это не считается «эклектизмом» дурного тона, — почему обзывается «эклектической» позиция «Н. Мира», который делает то же самое, печатая пролетариев рядом с попутчиками?

## VI

В качестве образца «группового» или «кружкового» журнала можно было бы привести книжки «Лефа». Но печальная судьба этого умершего от злокачественного малокровия журнала, покинутого читателями, отвергнутого издательствами, говорит за себя с достаточной яркостью. По той же причине, напр., «конструктивисты», если бы захотели, не смогли бы поддерживать издание своего собственного «направленного» органа: не бедная талантами группа эта еще недостаточно крепка, чтобы одними собственными силами поддерживать — не говорим «толстое», — но даже «тонкое» издание. Самое большее, на что могут рискнуть наши «школы», — это «альманахи». Но даже история «альманаха» наших дней не дает ни одного примера, когда мы могли бы сказать: вот издание, принципиально однородное, монолитное во всех своих частях. Такой похвалы не заслужили в свое время ни «Ковш», ни «Круг», ни «Недра», ни «Перевал», ни альманахи «Зифа». В самые последние дни мы имеем новую попытку, принадлежащую группе так называемых «левых напостовцев». Я говорю о сборниках «Удар за ударом». Только что вышла вторая книга. Посмотрим. Это тем более любопытно, что редакция этого альманаха сама ставит себя в положение испытываемого.

В альманахе этом помещена, между прочим, эпиграмма, принадлежащая перу Безыменского. Вот она:

Что? Из любых квартир  
Мы барахлишко взяли?  
Мы строим «Новый Мир»  
На старом материале.

В чем соль этой малосолевой эпиграммы? В том ли, что мы печатаем «барахлишко», или в том, что «барахлишко» взято из разных квартир?

Мы склонны понять ее именно в последнем смысле.

Выше было сказано, что в «Новом Мире» печатался — не один и не два раза — А. Безыменский. Квалифицируя материал, как «барахлишко», он, очевидно, не делает для себя исключения. Возможно, что дома, в семейном кругу, за самоваром, наш поэт литературу иначе как «барахлишко» и не называет. У каждого свой вкус. Будем и мы, следом за ним, ласково называть «барахлишком» его поэму «Парки», миниатюры из цикла «Люди» и другие его стихотворения, помещенные в «Н. Мире». Соль эпиграммы заключается, следовательно, в том, что кроме его, Безыменского, «барахлишка», мы печатаем «барахлишко» Багрицкого, Асеева и др. Принципиальная точка зрения Безыменского такова: бери «барахлишко», но, так сказать, из одной квартиры. Перефразируя известный афоризм, он как бы провозглашает: «пусть барахлишко, да свое». Здесь перед нами в иносказательной форме та же декларация, отрицающая так называемый «эклектизм». Безыменский за «однородность» журнала, за единство стиля! Но если мы обратимся к содержанию альманаха «Удар за ударом», редактором которого является принципиальный А. Безыменский, то увидим, что он более «беспринципен», чем «Н. Мир». Подобно другим деклараторам, Безыменский принципиален на словах, беспринципен на деле.

В альманахе «Удар за ударом», кроме Сергея Семечова, напечатаны Н. Асеев — «Реф», Кудрейко и Сельвинский — «конструктивисты», Леонид Грабарь, бывший, насколько мне известно, лапповец, и другие — ни раппы, ни лаппы. Как видим: «барахлишко» взято «из разных квартир».

Что может оказать в свое оправдание А. Безыменский? Разве лишь то, что

На себя он сам строчит  
Злейшие народии.

Или, иначе говоря, наносит себе «Удар за ударом».

Борьба с действительным эклектизмом — задача дня в литературе.

Эклектизм отрицается нашим методом, методом марксизма. Необходимо изгнать эклектизм из критических суждений и методологических исканий, из литературных опытов. Надо изгонять эклектизм из нашей журналистики. Надо перестраивать наши журналы. Спор у нас нет. Но если мы не поймем, что в условиях нынешнего литературного этапа «должное», т. е. устранение «эклектизма» из журналов (в смысле печатания под одной обложкой авторов, принадлежащих к разным школам), не совпадает с «сущим», — мы не сумеем организовать и правильного т. е. успешного преодоления «эклектизма».

Наша литература еще не достигла такой высоты литературной (стилевой) дифференциации, чтобы могли существовать журналы и альманахи, составленные из участников, принадлежащих одному литературному отряду. Потому-то у Безыменского соседствуют рефы и конструктивисты, пролетарские и непролетарские писатели и поэты. В альманахах «Кузницы», издаваемых «Зифом», рядом с Никифоровым и Гладковым — Багрицкий, Пастернак и даже Е. Замятин. В «Красной Нови» рядом с Гладковым — Эренбург, Андрей Белый, Иван Новиков, в «Октябре» рядом с Фадеевым и Панферовым — Н. Огнев, Ю. Олеша, М. Шагинян, Н. Асеев, Е. Габрилович, в «Звезде» рядом с Ю. Либединским — Вяч. Шишков, О. Мандельштам и даже Константин Вагинов — и так далее и так далее.

Все это — повторяем — не вина, а беда. То-есть: в условиях нашего литературного движения надо на «эклектизм» смотреть как на зло, которое необходимо преодолеть. Фарисеи, т. е. более других повинные в грехах, первые бросают камень и громче всех кричат об «эклектизме». Именно про фарисеев говорили в старину: они замечают сучок в глазу ближнего своего, не замечая в собственном бревна.

## VII

Какие еще обвинения бросали нам? Нас упрекали иногда в пристрастии к

«правым» писателям. Это — один из самых недобросовестных упреков. Опровергнуть его не стоит большого труда.

Мы не станем отрицать того, что иной раз реакционные нотки звучали на страницах нашего журнала. Так, напр., помещение очерка Пильняка и Платонова «ЦЧО» было нашей ошибкой. Очерк следовало печатать, лишь основательно вытравив из него весь тот «избыточный сарказм», который, в конце концов, б. м. против желания авторов, заострялся против социалистического строительства.

Но когда упрекают «Новый Мир» в особом пристрастии к вещам с реакционным духом, мы требуем справедливости.

Какие произведения за последние два года больше других вызвали обвинения в реакционности?

Это были «Обреченные на гибель», «Павлин», «Блистательная жизнь», «Прах Хаджи Османа» Сергеева-Ценского, рассказы «Особняк», «Фокусник Матцуками» Всеволода Иванова, «Сомневающийся Макар» Андр. Платонова, «Нижегородский откос» Б. Пильняка, «Дикольче» Вяч. Шишкова.

Ни одно из них не было напечатано на страницах «Н. Мира». Говорим это не для того, чтобы показать: вот-де какие мы «выдержанные», а наши соседи нехорошие. Свои ошибки мы знаем и помним. Не забываем «Повесть о непогащенной луне» (1926 год) Пильняка, не отрицаем и других, менее крупных промахов. Мы говорим это, имея в виду подчеркнуть то исключительное пристрастное отношение недоброжелательной и потому недобросовестной критики, которая раздувала самомаallestшие, а подчас неизбежные промахи «Н. Мира», затушевывая, замазывая то важное обстоятельство, что в сложнейших обстоятельствах нынешнего литературного момента, при переходе к реконструктивному периоду, в условиях обострения классовой борьбы, руководство толстым журналом вообще представляет большие трудности. В таких трудных условиях «Н. Мир» не больше, а меньше других заслужил те упреки, которые по его адресу с разных сторон посылались.

Мы не оправдываемся ни в чем. Мы не забываем своих ошибок — вольных и невольных. Мы никого не обвиняем. Мы хотим лишь сказать, что плохо ли, хорошо ли, но дело свое мы делали, имея в виду интересы литературы, революции, рабочего класса, нашей партии, как вождя и организатора социалистического строительства.

Мы сделали немного. Можно было сделать больше и лучше, талантливей, последовательней, выдержанней. Мы согласны с этим. Но что ж делать — мы работали в меру наших сил и в меру наших средств.

## VIII

Нередко нас упрекали в «барски-высокомерном» отношении к молодяку.

В чем проявлялись эти «барство» и «высокомерие»? В том, что мы отказывались печатать бездарные, безграмотные, никчемные вещи. Это не значит, что «Н. Мир» публиковал вещи сплошь блестящие, высокопробные и т. д. Мы не хотим сказать этого: и на наших страницах попадались недоработанные, иногда просто слабые произведения. Но кто скажет, что таких вещей у нас было большинство? «Н. Мир» — журнал квалифицированной, высококачественной прозы. Во что превратился бы он, если бы мы снизили требования, предъявляемые молодым авторам, и стали бы печатать все то ученическое, неумелое, подражательное, что волной с разных концов нашей громадной страны плывет в редакции всех журналов? Плохие вещи, как и исключение попадающие на наши страницы, сделались бы правилом. Другими словами — мы перестали бы выполнять ту роль, какая принадлежит всякому советскому журналу художественной прозы: подымать качество нашего литературного искусства, поощрять талантливых и искусных, толкать к мастерству неумелых и неопытных, устанавливать высокий уровень литературы, по которому должна равняться молодежь, повышать этот уровень, чтобы рост литературы не остановился или, что еще



хуже, не пошел вспять. Ведь вопрос о «качестве», стоящий перед нами в хозяйстве, — стоит и в литературной работе. Никто не станет обвинять, скажем, Госторг, если он откажется принимать явно недоброкачественные продукты, брак, годный лишь на переработку. Литература «экспортирует» не сырье, а фабрикаты, т. е. обработанные вещи. И чем качество их выше, тем вещи лучше.

Упреки в «барстве», в «эстетизме» — рождаются именно в среде озлобленных и отвергнутых. Их подхватывают демагоги и болтуны. Число хулителей любого журнала прямо пропорционально числу непринятых рукописей. Таково эмпирическое наблюдение. Другое наблюдение: долговечность журнала обратно пропорциональна количеству принятых плохих рукописей.

«Невниманье к начинающим» — это обвинение основано на традиционном, ложном представлении, будто редакция журнала знает «начинающих» не хочет, а все свои помыслы направляет к тому, как бы заполучить «прославленное имя». Нет заблуждения, более несоответствующего действительности! Редакция, которая повернется спиной к «начинающим» и забудет, что «прославленные» не выскакивают в литературу в готовом виде, а зарабатывают свою славу на тех же журнальных страницах, — такая редакция вступит на самоубийственный путь. Нет ведь ни одного «прославленного», который не был бы когда-нибудь «безвестным», «начинающим». Следовательно... Следовательно — первой задачей всякого журнала является именно нахождение «безвестных», но талантливых. Игнорировать «молодых», «начинающих» — это значит закрыть себе доступ в завтрашний день, это значит обречь журнал на окостенение.

Во время писания этой статьи я получил письмо из далекого Хабаровска от одного «начинающего». Вот что, между прочим, писал он:

«..Говорят, трудно, ох как трудно, провинциальному литератору попасть

в московские журналы, да еще в такой как «Новый Мир». Говорят, Москва гонится за именами, а не материалом. «Дескать, известное дело, провинция! Куда, мол, ей до Москвы! Что вообще может дать провинция?» и т. д., и т. п. А это, между прочим, здорово обидно».

Это еще, между прочим, здорово ошибочно, дорогой товарищ. Вы ошибаетесь вдвойне: во-первых, полагая, что все «имена» советской литературы столичного происхождения. И, во-вторых, что редакция равнодушна к «провинции», т. е., очевидно, к «молодым», «безвестным», «начинающим».

Напротив. Редакция «Н. Мира» глубочайше убеждена, что в литературе сейчас правильная ставка — именно она молодежь. Кадры «прославленных» определелись, сформировались. Они еще будут давать хорошие, иногда блестящие, иной раз средние произведения. Они останутся крупными движущими силами нашей литературы. Но подлинное, пролетарское «новое слово», какого ждет наша литература, но дальнейшие шаги в поступательном развитии нашего революционного искусства — сделает именно молодежь. Именно из провинции, с какого-нибудь уральского завода, с сибирского какого-нибудь колхоза, из Донецких шахт, из какого-нибудь промышленного центра — не обязательно столичного — придет талантливый, сильный и смелый молодежь со вкусом к тому новому, что каждый день входит в нашу жизнь, и с теми чертами нового общественного сознания, которые вырастают на почве нашего невиданного, непрерывно обновляющегося бытия. Мы ждем этих молодых, мы «ищем» их в тех горах иногда трудно разборчивых, написанных на обрывках и клочках бумаги, иногда каракулями, рукописях, которые исчисляются тысячами! И если мы их еще не находим или находим в недостаточном количестве — вина не наша! Таланты не рождаются каждый день, но когда они рождаются, — они попадают на страницы журналов.

Когда нам удастся напечатать первое произведение начинающего автора, — говорю без преувеличения, — это радостный день для редакции. Мы радуемся так же точно, как радуется астроном, открывший новую звезду, как радуется золотоискатель, забредший на золотоносную жилу, как радуется химик, открывший новое химическое соединение. Новый писатель, выдвинутый в литературу, — да поймите же, — это гордость журнала, это лучшая журналу похвала, — а вы говорите: мы пренебрегаем молодежью! Поэтому в редакциях — не только нашей, но, я убежден, во всякой другой, — с особенным вниманием относятся именно к молодежи. И если тем не менее молодежь получает множество отказов, — это не потому, что ее «затирают», но потому, что молодежь приступает к писательству, к искусству, не усвоив предварительно того минимума культуры, общих знаний и навыков литературного ремесла, без которых в литературу, так же, как и в любую другую специальную работу, войти нельзя.

Если к молодежи, рвущейся в искусство (она исчисляется десятками тысяч), не предъявлять никаких требований, — выиграет ли от этого сама молодежь? Проведите аналогию с другой какой-нибудь областью работы. Сколько желающих, например, сделаться инженерами, чтобы двигать социалистическую промышленность. Однако, именно в интересах социалистической промышленности, в интересах правильно понятого будущего устанавливается ряд высоких требований для молодежи, желающей сделаться советскими специалистами. Она должна учиться много лет. Кроме теоретической учебы, молодой человек должен пройти практический стаж. И лишь тогда, когда он подымет-ся на известную высоту, хорошо усвоит необходимый минимум знаний и навыков, — ему предоставляется возможность войти полноправным и ответственным работником в наше строительство.

Но ведь «строительство литературы» требует такой же точно культуры!

Много раз было говорено и не лишне повторить еще раз, — что искусство, литература, — «легкие» виды труда только на первый взгляд. Кроме таланта, т. е. некоторой специфической способности человека к своеобразным особенностям этого именно вида труда, — литература требует еще больших общих знаний. Кроме идеологии, кроме революционного пафоса, кроме желания делать вещи искусства, надо овладеть еще «технологией» этого дела, т. е. большой суммой специальных, ремесленных навыков. Нельзя сделаться музыкантом, не изучив музыкальной техники, нельзя сделаться живописцем, скульптором, — не изучив специального искусства, т. е. высокого умения писать картину или высекать мрамор. Даже фотографом нельзя стать, не усвоив предварительно специальных знаний о природе световых явлений, о способах обращения с фотоинструментами, о действиях химических веществ и т. д., и т. п. Всякое специальное ремесло требует общих знаний и специальной выучки — это все превосходно понимают.

И только касательно одной литературы, да еще критики, продолжает существовать заблуждение, будто никаких знаний, никакой выучки, никакого большого длительного труда не нужно, чтобы стать писателем! Стоит лишь захотеть!

Но это — ошибка. Она губила, губит и будет губить тех молодых, которые не осознают огромных трудностей, предъявляемых литературой всякому желающему принимать участие, в ее движении.

Вот по этой причине, по причине недостаточной культуры, т. е. умения и знаний, и приходится возвращать множество рукописей, иногда даже обличающих в начинающих авторах несомненные дарования.

## IX

Но будто мы не печатаем «молодых»? Просмотрите книги «Нового Мира». Разве не встречаются в них имена ма-

известных, а иногда безвестных прозаиков и поэтов? Разве так уж «прославлен» Иван Макаров, рассказ которого напечатан в настоящей книге? Или тов. Горев, впервые появляющийся в печати вообще? Или целый ряд других поэтов и прозаиков, имена которых сделались известными лишь после того, как они появились в «Новом Мире»?

Мы могли бы привести порядочный список «молодых», прошедших в «большую» литературу именно через «Новый мир». Было бы, конечно, лучше, если бы их было больше. Но можно ли утверждать, что их не было совсем?

Итак: мы за молодежь, которая может похвастать не только революционной зарядкой, но также умением работать! Мы за литературный молодняк, пролетарский, крестьянский, попутнический, который смотрит на литературу как на революционно-общественную работу большого труда и большой ответственности. Такой молоджи мы широко раскрываем двери нашего журнала. Но пусть каждый товарищ, прежде чем нести рукопись в редакцию, даст себе ответ на такие вопросы:

Достигают ли достоинства его произведения хотя среднего уровня существующей литературы? Дает ли оно что-нибудь новое сравнительно с тем, что мы имеем? Не перепевает ли оно зады, давно перепетые? Считает ли сам автор свое произведение достойным напечатания? Сумел ли он в нем выразить художественно, т. е. ясно и красочно, живо, заразительно, правдиво, сильно,—все то, что хотел? Доволен ли он сам своим произведением?

## Х

За молодежь! Это, разумеется, недостаточно ясно. За молодежь «вообще»? Мы знаем ехидство наших противников. Они нас считают «врагами» пролетарской литературы. Остановимся несколько на этом упреке. Речь идет о нашем отношении к пролетарской литературе. Нам приписывают пренебрежительное к ней отношение. Мы выше соснулись этого обвинения. Но поскольку

ку литературные взгляды автора этих строк связаны с литературной позицией нашего журнала, восстановим некоторые наши прошлые высказывания.

Приведем следующую цитату:

«Вот в этой борьбе, в атмосфере литературной войны, где побеждает сильнейший, и будут разрешены наши литературные споры о попутчиках и о том, какому отряду писателей принадлежит будущее. Я лично не сомневаюсь в том, что завтрашний день искусства принадлежит пролетариату. Но для одержания этой победы пролетариату необходимо увеличить, усилить, отточить свое литературное вооружение. В чем сила литературных отрядов, противостоящих отрядам пролетарских писателей? В их более высокой выучке; в том, что они превосходно владеют мастерством, обладают большими знаниями. Свобода от тяжелого черного труда, культурные привычки, привитые с детства, средства папаш и мамаш, перепешшие по наследству, дали им своевременно возможность «предаваться искусствам, наукам». Пролетарские писатели в подавляющем своем числе такой возможности не имели. Надо им помочь наверстать потерянное. Надо предоставить им все возможности в кратчайший срок овладеть культурой, выучкой, мастерством. Если для этого надо создать стипендии в вузах — это надо сделать. Если надо создать специальные вузы, классы, курсы — сделать это необходимо. Если надо облегчить пролетарским писателям возможность печататься — и здесь следует притти им на помощь. Пролетарский писатель-молодняк, лишенный состоятельных родственников, не имеющих часто ни кола, ни двора, живет в ужаснейших условиях — и об этом следует подумать. Короче: партия и государство должны помочь пролетарскому писателю-молоднику преодолеть все те затруднения, препятствия, которые мешают ему подняться на высокую ступень развития и мастерства. Но все это должно делаться для того, чтобы пролетариат выдвинул из своей среды писателей, обладающих

не одним только желанием писать. Партия и государство должны предоставить пролетарским писателям все необходимое, что способствовало бы их победе в литературной борьбе, но победители должны одержать они сами.

К этому следует добавить, что в литературной войне, которая происходит уже в наши дни, отряды пролетарских писателей не всегда оказываются побежденными».

Спросим любого честного читателя: можно ли, прочитав эти строки, утверждать, что их автор, во-первых, отрицает самую возможность существования пролетарской литературы и, во-вторых, отрицает возможность завоевания пролетариатом гегемонии, т. е., другими словами, является принципиальным противником пролетарской литературы.

Всякий честный читатель ответит на этот вопрос отрицательно.

Эти строки были написаны мною весной 1925 года, т. е. до опубликования резолюции Политбюро ЦК и напечатаны в июльской книге «Печати и Революции» за тот же год. Они были опубликованы затем в книгах «Марксизм и критика» и «На лит. темы». Это декларативное заявление было руководящим в моей деятельности как редактора и критика. Позднее мною были напечатаны статьи о Фурманове, Артеме Веселом, Фадееве, в которых декларативные заявления о пролетарской литературе были развернуты на конкретном художественном материале.

Приводя эту фактическую справку, я не имею намерения снять справедливые указания на мои действительные ошибки.

Что же касается до ошибок, совершенных мною, — у меня хватит мужества признать их.

А ошибки были. Были мелкие. Но были и крупные. Крупнейшей ошибкой моей литературной деятельности была недооценка классового характера борьбы, происходившей в литературе. Эта основная политическая ошибка обусловила ряд других, менее значительных.

Отсюда, например, в спорах с журналами «На Посту» и «На Лит. Посту» — их большая правота в оценке политических тенденций литературного развития. Это не мешало им делать грубейшие и вреднейшие ошибки в литературной политике. Но их оценка классовых тенденций, их политическая установка нередко была более правильной. Ничто не может мне помешать признать за ними это преимущество. Но признанием этим не снимаются все те методологические и литературно-критические разногласия, которые были предметом яростной борьбы истекших лет.

Вопреки более правильной классово-политической установке, налитпостовцы были неправы в целом ряде вопросов, требовавших конкретного применения ее к литературно-критическому материалу. Потому-то деятельность журнала «На Лит. Посту» продолжает вызывать к себе отрицательное отношение не только со стороны пишущего эти строки, но и со стороны литературных групп, стоящих к журналу «На Лит. Посту» гораздо более близко, чем я. И надо отдать справедливость журналу: он делает все от него зависящее, чтобы изолировать себя от остальной коммунистической критики.

## 2. О «консолидации коммунистических сил пролетарской литературы», о журнале «На Лит. Посту», о напостовской дубинке, о шуйце и деснице налитпостовства

### I

Неблагополучие на «литфронте» было правильно освещено и сформулировано в газете «Правда» от 4 декабря 1929 г., в статье «За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы». «Правда» совершенно верно охарактеризовала это положение как «беспорядочную свалку», как картину взаимного, совершенно недопустимого охаивания со стороны коммунистов отдельных литературных групп перед лицом враждебного фронта. «Правда» правильно замечает, что в наших

литературных спорах не была соблюдена «мера племянском усердии», «групповые интересы той или иной литературной группы» были поставлены выше «интересов партии». Элементы групповщины, слабо развернутая «самокритика» — вот упреки, какие бросает центральный орган нашей партии литературным группировкам. Этот справедливый упрек направлен по адресу «Печати и Революции», допустившей перегибы в своих критических нападках на РАПП, как «основную пролетарскую организацию на литературном фронте, работающую под руководством партии». Правильен также упрек, бросаемый «Правдой» журналу «Печать и Революция», в слабости самокритики. Но вместе с тем «Правда» упрекает и «На Лит. Посту» в том, что в этом журнале «слабо развита самокритика, имеются элементы кружковщины, подозрительность и недоверие к выдвижению новых коммунистических сил на литературном фронте».

Упреки эти заслужены. «Правда» останавливается и на положительных качествах литературных группировок. Но статья ставила своей задачей действие консолидации коммунистических сил пролетарской литературы. Бесспорна и своевременна директива, какую дает статья: «изжить вредную кружковщину и групповую борьбу, в значительной мере основанную на раздурании разногласий, чтобы сплотить все коммунистические силы, и сомкнутыми рядами, базируясь на основной пролетарской организации ВАПП и через нее, идти вперед к разрешению огромных задач, стоящих перед партией на литературном фронте».

«Правда» упоминает имя автора этих строк и его ошибки. Выше об основной моей ошибке мною было сказано. Не стану поэтому повторяться. Более интересным представляется мне обратиться к сборнику «С кем и почему мы боремся». Именно в свете директивной статьи «Правды» особенно любопытное явление представляет эта книга. В ней, как в хорошем зеркале, отражается «налитпостовство» с его шуйцей и десницей.

## II

Авторы книги «С кем и почему мы боремся» Авербах, Ермилов, Гросман-Рошин, Киршон, Либединский, Селивановский, Сутырин и Фадеев. Редакция, по забывчивости, вероятно, а издательство — потому что это не его дело, не оповестили читателя в предисловии, что статьи, составившие этот сборник, были напечатаны в журнале «На Лит. Посту» в продолжении последних двух лет. Об этом читатель узнает лишь из сносок в тексте книги. Перед нами, таким образом, избранные статьи. Но самое поверхностное ознакомление с ними позволяет заключить, что статьи эти не только избранные, но бранные. Так сказать — «избранные бранные». В книгу вошли наиболее густо просмоленные и круто просоленные бранным словом критические опусы напостовства. Сборник поэтому показателен вдвойне: и как образец налитпостовской полемики и как налитпостовское, в некотором смысле, «credo».

## III

Собранные в книгу статьи дают концентрированное ощущение тех методов полемики и критики, самозащиты и нападения, какие характерны для «налитпостовства». Именно эти методы и приемы создали вокруг этой литературной группы «пространство». В самом деле: когда-то она имела ограниченный круг противников. Ныне же круг «врагов» расширился до чрезвычайности. Здесь мы видим и вчерашнего сотрудника этого журнала — Вешнева, вчерашнего вождя его — Зонина, нынешних «левых напостовцев» Горбачева, Безыменского, Том. Наконец, журнал «Печать и Революция», редактировавшийся Полонским, благополучно, к вящему удовольствию налитпостовцев, получил редактора Беспалова. Что же мы видим? Ушел Полонский, пришли Беспалов и Гельфанд, — а журнал попрежнему «кроет налитпостовцев». Противниками налитпостовцев оказываются кроме того недавние союзники — «Книга и Революция» и «Революция и Культура».

Прежде всякий новорожденный критик, который хотел сразу заработать патент на «выдержанность», выступал как «налитпостовец». Ныне же Б. Ольховый свою критическую деятельность начинает с того, что нападает на «налитпостовцев». О, времена! О, нравы!

#### IV

Распространение пространства вокруг журнала «На Лит. Посту» становится понятным при чтении сборника «С кем и почему мы боремся». Он демонстрирует все недостатки, против которых высказалась «Правда». Нельзя, разумеется, отрицать того, что в этом сборнике есть нужные статьи. Статья А. Фадеева «Долой Шиллера», спорная в некоторых частях, значительна и серьезна. Остро ставит вопрос о Переверзеве Ю. Либединский. Имеет безусловное значение статья А. Селивановского «Герои спасательного круга», заостренная против эпигонов покойного «Лефа» — группы «Настоящее». То же самое можно сказать про статью Киршона «Внимание литературному фронту». Достоинства этих статей в том, что они ставят принципиальные вопросы и разрешают их приемами, каких заслуживает серьезность проблемы. Можно не соглашаться с теми или иными аргументами, имеющимися в этих статьях, но нельзя отрицать ценности статей. С ними приходится и придется считаться. Другое дело многочисленные статьи и заметки, заносчивые и визгливые, принципиальные зерна которых погибают под ворохами полемических наскоков, язвительных нападок, заезжалательства, всего того ассортимента критического наездничества, который давно уже вызывает в читателе тоскливое отвращение и с которым никак не могут расстаться налитпостовцы. Они даже создали некий синтетический образ этого «принудительного ассортимента» своей критики: «напостовская дубинка!» Мы полагали, что дубинку эту давным давно пора сдать в музей брака. Иногда с этим как-будто согласны сами налитпостовцы, но вот подите же! По-

падая в «критическое» положение, они хватаются за «спасительную дубинку». Дубинка, выручай! Это одно из основных противоречий налитпостовской критической практики. Вот что читаем мы, например, на стр. 142 — 143.

«Надо учитывать специфику в данной области, надо помнить о неизбежно гораздо более резко ощущающихся индивидуальных моментах, присущих данному отряду интеллигенции, надо помнить и о ряде других психологических моментов: о повышенной впечатляемости, восприимчивости, о легкой психологической «ранимости», об особенностях его восприятия и т. д.

«А главное, — читаем мы далее, — здесь особенно необходимо помнить о том, что основной метод руководства — это метод убеждения».

Казалось бы: чего лучше! И можно ли что возразить против такого толкования критических приемов? Разве лишь то, что слишком уж здесь «чувствительно» толкуют о легкой «ранимости» и т. д. В борьбе можно, мы полагаем, пренебречь «ранимостью» и тому подобными сентиментами. Но мы согласны с тем, что наилучший аргумент критики — убеждение. Хороши бы мы были, если бы вся наша убедительность заключалась в принудительности: не согласен — бац по морде!

Но в то самое время, когда одна рука чувствительно выводила строки о «ранимости» и «убеждениях», другая грозила: «я тебя дубиной!»

«Пролетписатели и их организации не нуждаются в особом шуме, «битье стеклом», нервничаньи. Подросли уже. Условия другие!» Это на стр. 71. А несколькими страницами далее:

«Здесь — давайте будем варварами, гуннами (разрядка автора). Здесь давайте возьмем в руки «напостовскую дубинку» и пойдем опять бить стеклом, благо нам не привыкать».

На одной странице, надув губы, налитпостовцы обвиняют Розенталя и Хандроса в каких-то нехороших «приемах критики», употребленных против Сутырина. А на другой странице они напоминают носителям «левой фразы» о той же самой магической дубинке.

«...У нас есть достаточная доля споконства, чтобы не вступать в визгливую перебранку с теми, кто не может без нее обойтись ни в одном случае жизни» — это на одной странице. А на другой, по соседству с визгливой перебранкой Сутырина с репортерами из «Вечерней Москвы», объявляется ширококвещательно: «Напостовская дубинка» готова функционировать, о чем мы еще раз имеем удовольствие довести до сведения как правых, так и левых вульгаризаторов и капитулянтов».

И еще раз: «напостовская дубинка», не раз опробованная на чванголовых «защитниках» пролетарской литературы, «функционирует».

### V

Одна рука, очевидно, пишет, не зная, что делает другая. Десница налитпостовцев хочет действовать убеждением, шуйца — принуждением. Десница уговаривает, шуйца бьет по голове. Десница разъясняет — шуйца заезжает. Десница пытается критиковать, шуйца заявляет: а мне наплевать! Десница, плохо ли, хорошо ли, пытается как-то построить некую систему доводов, а шуйца по этой системе — хлоп дубиной, — все доводы летят к чорту. То, что завоевывает десница, пускает по ветру шуйца. От того-то у налитпостовцев два лица. Один причесанный, умилный, самодовольный, на котором написано: смотрите, какой я умница, пай-мальчик, как я послушен, какие успехи я делаю в литературе. А другой — словно из асфальтного котла: взъерошенный, чумазый, обнимающий спасительную дубинку».

По страницам книги рассыпаны лозунги борьбы с комчванством, против того, чтоб зазнаваться, и много раз еще об опасностях комчванства, а самая громкая, до тошноты, нота, звучащая в сборнике, — именно комчванство. В этом смысле неподражаем несравненный Леопольд Авербах. Одних его статей в сборнике помещено не много не мало — 10 штук, кроме вступительной.

Он великолепен. Он громче всех шумит: долой комчванство! Он убежден, что напостовская группа «расширяла», прежде всего за счет всего того молодого и лучшего, что выдвигал пролетариат в литературу». Будто бы, тов. Авербах? «Вместо одних, — пишет он, — приходили другие». Кто ж уходил и кто именно приходил? Ушли Фатов и Вешнев, Родов и Зонин. Мы не склонны их причислять к «лучшему», что выдвинул пролетариат. Кто же пришел им на смену? Гроссман-Роцин, Эльсберг, Берковский. Будто бы это и есть то «молодое и лучшее», что выдвинул из своих рядов пролетариат? Полноте, Авербах. Не теряйте чувства смешного. Признайтесь, что заявление ваше, типичное заявление человека, одержимого доподлинным комчванством. Все дело в том, что теряли вы плохеньких «почти марксистов», а приобретали неплохеньких формалистов, полуформалистов, полудиалистов. Не хочу умалчивать достоинств Берковского: только-что вышедшая книга его «Текущая литература» рекомендует автора как талантливое, знающего писателя, но в нем сильны тенденции формалистские и слабоваты тенденции марксистские. Нельзя также отрицать в Эльсберге знаний и таланта. Но какой же Эльсберг марксист! И разве не показательно то обстоятельство, что наиболее значительные, постоянные, чаще других появляющиеся на страницах этого «марксистского» журнала сотрудники — не марксисты. А если добавить Гроссмана-Роцину, главного и, как будто, единственного «теоретика» налитпостовства, «вождя» направления, то характер ансамбля этого журнала делается ясным. Как бы энергично не «функционировала» напостовская дубинка — ничего с нами она поделать не сможет: «орган марксистской критики» делается не марксистскими руками. Руководящее ядро редакции «На Лит. Посту» капитулировало перед трудностями самостоятельной теоретической работы. Передоверив эту задачу Гроссману-Роцину, Берковскому и Эльсбергу, оно оставило себе спасительную дубинку.

Конечно, помахивать дубинкой, бить стекла — куда легче, чем строить марксистскую методологию. Но зачем хвастать!?

## VII

Достаточно познакомиться с четырьмя статьями Авербаха, посвященными полемике по поводу стихотворения Ив Молчанова «Свиданье», чтобы оценить по достоинству все великолепие Авербаха как теоретика и полемиста. В них есть все, что угодно: и нравоучительные замечания о «вреде табака», то-бишь мещанства, и уничтожение Молчанова как поэта «маленького», но «не типичного для пролетарской литературы», и самодовольные поучения, с которыми он, Авербах, обращался к Максиму Горькому: «пошлость защищать не надо», и снисходительная аттестация «схоластиков и рационалистических путанников из Лефа», и указания на «поверхностность» лирики Безыменского, и похлопывание по плечу того же Горького («мы уважаем и любим Алексея Максимовича»), и «еретическое» утверждение, будто к ошибке рабочего надо относиться менее снисходительно, чем к ошибке интеллигента («ошибка рабочего нас особенно волнует»), и снисходительное указание Горькому, что, дескать, «никто из нас (интеллигентов. Вяч. П.) не волен в выборе родителей», и грустное признание, что ему, Авербаху, «скучно» полемизировать с таким «критиком», как Астров (ему бы Гегеля в оппоненты, Шекспира!), и философские указания человечеству правильного понимания смысла культурной революции, и перевернутая цитата из Ленина, и благодарное негодование с возведением очей горе по поводу «передержек», допущенных его противником (чем, как не «грязной водой» можно объяснить подобную манеру полемизировать), и все это бахвальство, самовлюбленная чванливость, упоение собственным глубокомыслием, вся эта энциклопедия пошлости разводятся на десятках страниц по поводу пустяков и подается под звонкими, «шапками» лозунгов: «долгой

пошлость! Пошлость защищать не надо! Долгой комчванство!» и так далее, и так далее!

## VIII

Налитпостовцы обвиняют нас в «венависти» к ним. Это ошибка. Отношение наше к налитпостовцам теперь, разумеется, иное, чем пять лет назад: время многое изменило в окружающей обстановке. И мы не те, да и налитпостовцы далеко не прежние. За истекшие

пять беглых лет,  
как пять столетий

они, несомненно, многому научились. Но, приобретая некоторые достоинства, они не истребили многих недостатков. От того-то деятельность налитпостовцев и сейчас вызывает противоречивые оценки. И сборник «С кем и почему мы боремся» производит «полосатое» впечатление. Шуйпа и десница работают каждая за свой страх и риск, даже не потрудившись сговориться. От того-то, рядом с признанием своих ошибок, — ошибки новые, рядом с осуждением комчванства — подлинное комчванство, вслед за прокламированием методов «убеждения» — методы «принуждения», и так далее и тому подобное.

При всем этом нельзя забывать, что время не ждет, что недалек тот час, когда перед журналом «На Лит. Посту», как перед каждым из нас, встанет вопрос: каков итог?

## IX

«На Лит. Посту» существует свыше пяти лет. Срок для журнала не маленький. Каковы были задачи, стоявшие перед журналом? Одной из основных — разработка марксистской методологии, построение марксистской критики и подготовка критических кадров. Когда автор этих строк выразился однажды, что марксистская критика нам не дана, а задана, т. е., что ее надо строить, надо выковывать метод, учиться его применять — это утверждение встретили издевательством. Налитпостовцы были глубочайше убеждены, что система марксистской критики уже дана и что именно они,



налитпостовпы, являются той самой литературной группой, которая овладела литературным методом и приемами марксизма. Предполагалось, как само собой разумеющееся, что и кадры будут выдвинуты именно налитпостовцами.

Что же мы видим ныне? От горделивого утверждения — марксистская критика нам «дана» — осталось одно лишь воспоминание. Совсем недавно один из вождей налитпостовцев, В. Ермаков, признался, что они, налитпостовцы, «учились брить на чужой шее». Печальное признание! Если сделать выводы из этого «образа», придется заключить, что налитпостовцы, еще не научившись брить, скоблили бритвой, разумеется, зазубренной, по «шее» советского писательства. Чему ж удивляться, что «критическую циркулю» писатели стали обходить за версту. Налитпостовская критика именно потому и не заработала уважения. С нею не считаются. Она не устанавливает оценок. Ее «критические» разносы не принимаются всерьез. Она не создает репутаций и не развенчивает их. Ей просто не доверяют. Когда эта критика отрицательна, она вырождается в травлю. Когда она хочет быть «положительной», похваливающей, ей также не верят: политиканство! А если прибавить, что и порицания и похвалы частенько бывали невпопад, наобум, либо пальцем в небо, — неуважительное отношение современного писательства — даже пролетарского — к налитпостовской критике становится понятным.

По этой причине налитпостовцы не создали критических кадров. У них нет «смены». По той же причине с каждым годом появлялись новые и новые противники этого журнала. И его руководителям нужно изменить кое-что в приемах своей работы, чтобы остановить процесс своей изоляции.

## X

Именно перед лицом растущего одиночества становится объяснимым факт завоевания журнала писателями либо имеющими с марксизмом слабую связь, либо находящимися покуда на путях

к марксизму. «На Лит. Посту» журнал типично эклектический. Не представляет никакого труда набрать множество примеров разнобоя как в оценочных суждениях, так и в методологических высказываниях. Беда, разумеется, не в самом факте участия в журнале сотрудников, которых нельзя назвать «стопроцентными». Редкий из журналов пока может обойтись без них. Беда в том, что в «На Лит. Посту» обнаруживается тенденция не к уменьшению их ведущей роли, а наоборот.

Таков предварительный итог пятилетнего энергичного «фукцирования» налитпостовской дубинки. Методом не овладели. Кадров не создали. Против себя создали оппозицию даже в своих собственных рядах. Руководство попутчиками не осуществляли. Авторитета не завоевали. Писательство, не только попутническое, но часть пролетарского, против себя вооружили. Остались в стороне от работы по подготовке научной смены, которая происходила в ИКП, Ранионе, Комакадемии. Другими словами, остались, за одним-двумя исключениями, все теми же чванливыми апологетами спасительной дубинки. Печальный итог!

## XI

Мною подчеркнуты отрицательные стороны налитпостовства. Оговариваюсь. Речь идет о редакции журнала, а не о рапповском движении. Необходимо трижды, четырежды подчеркнуть, что рапповское, широкое движение пролетарской литературы и редакция журнала «На Лит. Посту» — **разные вещи**. Налитпостовцы склонны становиться в горделивую позу и говорить: РАПП — это мы! Но это поза, т. е. тот же самый «загиб», от которого пахнет чванством. Пролетарская литература — это мы! Успехами своими она обязана нам! Ее крупнейшие достижения — наши достижения! Отрицательное отношение к нам — отрицательное отношение к пролетарской литературе. Борьба с нами — борьба с ней и т. д. Ведь в смысле чванства дальше ехать не-

куда. А налитпостовцы именно таковы. В частности автор этих строк снискал себе славу врага и гонителя пролетарской литературы именно потому, что его неприятие налитпостовских методов и приемов они переадресовывали пролетарской литературе: он против нас, значит, он враг пролетарского искусства.

Но ведь если правилец этот силлогизм, тогда вся почти современная марксистская критика — от Беспалова до Луначарского — против пролетарской литературы!

Тогда и часть напостовства, так называемые «левые», — Горбачев, Безыменский и другие, — против пролетарской литературы!

Тогда и «Кузнецы» — Гладков, Бахметьев — враги пролетарской литературы!

Тогда против пролетарской литературы не только «Новый Мир», но «Печать и Революция» (в новой редакции), «Книга и Революция», «Революция и Культура», и даже центральный орган партии, поскольку он обвиняет налитпостовцев в комчванстве, в группщине, в перегибах и т. д., и т. п.

### 3. Осип Бескин и его учитель

#### Булгарин

В № 1 «Литературной Газеты» была опубликована моя статья «Тов. Батрак и его учитель Бескин». Редакция органа Федерации советских писателей сочла, очевидно, невозможным поместить мои «заметки» без «противоядия». Она поручила поэтому некоему Осипу Бескину написать соответствующий «ответ», который в корне подорвал бы вредные умствования автора этих строк. Осип Бескин был польщен. Осип Бескин «постарался». Осип Бескин написал статью, которую озаглавил: «Кулацкий писатель и его «правозаступник» Полонский». А редакция «Литературной Газеты» поместила эту статью в том же номере рядом с моей в назидание потомству.

Но спорить с Бескиным я не буду. Я укажу лишь на «стержневой прием»

его работы, который делает излишней какую бы то ни было теоретическую дискуссию с ним по существу. Всякий читатель, если потрудится прочитать мою статью и вслед за нею то, что написал Бескин, увидит, что Бескин вместо критики, т. е. анализа утверждений противника и возражений, избрал самый легкий, но зато и самый низкий путь: политической инсинуации.

Сейчас, когда наша партия ведет борьбу с правым уклоном, главной и самой большой опасностью в переживаемый момент, — в такие дни всякое обвинение в «правозаступничестве» за кулака носит сугубо ответственный характер. Если такое обвинение основано на действительном материале, если не словами, пущенными на ветер («авось пройдет!»), а действительным рассмотрением литературных фактов разоблачается замаскированный «правый уклон», такое разоблачение надо приветствовать. Разоблачитель в таком случае выполняет важную революционно-общественную задачу. Но когда обвинение в «правом уклоне» бросается зря, единственно в силу того, что человек, не способный защитить свою точку зрения аргументами по существу, пускает в ход политическое обвинение в расчете вышибить им перо из рук противника, такое обвинение, теряя свой литературный смысл, приобретает характер политической инсинуации. Это тот самый прием, законодателем которого был небезызвестный Фаддей Булгарин.

Бескин не «разоблачает» меня как «правого уклониста» и не сможет этого сделать, потому что я ни в политической, ни в литературно-критической деятельности не был сторонником или проводником «правого уклона». Он обещает написать что-то о моих «теориях» (он напишет!), а покамест извращает то, что я говорил и писал, а пока клеветает, хорошо зная, что если много и часто на человека клеветать, от клеветы что-нибудь да останется.

От того-то с Бескиным я не буду спорить. Ибо то, что он написал — не статья. Это даже не фельетон. Это — клеветон.

#### 4 О «поисках Галатей», о Д. Горбове и его «само критике»

##### I

В «Литературной Газете» (№ 35) т. Горбов подвергает «самокритике» некоторые свои высказывания, больше других вызвавшие возражения. Это очень хорошо. Д. Горбов далеко не бездарный писатель. И будет жаль, если он, увлеченный тягой к «свободомыслию» (в буржуазном понимании), окажется потерянным для марксизма. А такая опасность есть. Его статья «Поиски Галатей» была той дорожкой, которая вела не к Марксу, а на болотистую «почву» взглядов Аполлона Григорьева.

Но Д. Горбов свои высказывания подвергает «самокритике» не смело. Он называет свои поправки «уточнениям» формулировок. Не слишком ли мягко? Какая уж «неточность» утверждение об «едином потоке»! Еще менее допустима такая мягкая квалификация по отношению к «поискам Галатей». Пользуясь этой «мягкостью», можно сказать, что если слегка «уточнить» формулы Канта, автора «Критики чистого разума» можно превратить в Маркса. Это говорит лишь о том, что, желая исправить свои ошибки, т. Горбов готов совершить ошибки новые, которые могут свести на-нет полезный эффект его «самокритики».

##### II

Из его объяснений можно вывести заключение, будто вся беда «поисков Галатей» заключалась в том, что, пользуясь «Галатеей» как «образом», выражающим «реализм в художественной литературе», он не указал классовой природы этого реализма. Но дело не только в этом. Оно глубже. Всякий, разумеется, волен пользоваться какими хочет «образами» для иллюстрации своих идей. Надо только помнить при этом, что «образ» обязывает. «Образ» — не простое повествование, и не иллюстрация к тексту, а нечто такое, что имеет определенное «наполнение». Так вот, наполнение образа «Галатей» в том виде, в каком он использован

в статье Д. Горбова, устанавливало идеалистическое, а не марксистское представление об искусстве. Речь ведь у Д. Горбова шла «об отношении искусства к действительности», о «подлинной», а не «показной» природе искусства. Поясняя «образом» свое понимание искусства, он привел известное стихотворение Боратынского. В чем заключена «идея» этого стихотворения? Она заключается в том, что красота («Галатей») здесь утверждается не как явление, творимое художником, человеком известных времен и места, но как явление, предвечно существующее «в камне» мира. По Боратынскому, роль художника, «прозревшего» существование «Галатей» — разыскать ее, освободить из каменного плена, сняв с нее покров за покровом. Образ Галатей — по Боратынскому — символ красоты, как некоей субстанции, существующей в мире. Процесс ее исканий и достижений и есть искусство. Эту чистейшую идеалистическую концепцию воспринял Д. Горбов и объявил ее, во-первых, обязательной для всякого художника «любых времен и народов» и, во-вторых, раскрывающей подлинный смысл искусства.

##### III

В этой несчастной статье даже терминология, усвоенная Горбовым, идеалистична. А «слова» — не пустые знаки. И если в его статье появляется в противоположность действительности «реальной» действительность «эстетическая, идеальная», при чем задачей художника оказывается построение этой «идеальной, эстетической» действительности, хотя он и должен исходить из материала действительности реальной — в этой установке на «идеальную» действительность мы видим идеалистический уклон, уход от марксизма. Что есть идеальная действительность и что есть действительность реальная? Человеческий мир есть мир борьбы и стремлений, а искусство есть тот же самый процесс, воссозданный в художественных формах. Откуда фиксация «эстетической, идеальной»

действительности, как постоянной задаче художника, «общеобязательной» для всех времен и народов?

«Именно идеальная, эстетическая действительность, создаваемая художником, именно этот мир «сокровенной богини» Галатеи есть та особая форма общественного бытия, раскрываемой которой целиком и без остатка поглощен художник». Откуда сие?

#### IV

Горбов, увлекшись Аполлоном Григорьевым, не делает всех выводов из заимствованных именно у этого писателя идеалистических посылок. А из этих посылок можно сделать выводы совершенно неожиданные. На этих именно посылках строилось религиозное искусство. Именно религия противопоставляла «идеальную» действительность действительности реальной, материальной. Это даже не романтическое противопоставление прекрасной Дульциней — простонародной, материалистической Альдонсе. Не случайно Горбов вспомнил Федора Сологуба. Но и здесь Горбов остается непоследовательным. Прочитав строки Сологуба о «творимой легенде», он не захотел или не осмелился процитировать их до конца. А если бы он сделал это, то вслед за Сологубом должен был произнести анафему и той реальной действительности, которой противопоставляется действительность идеальная. «Косней во мгле, тусклая, бытовая. — продолжаем эту цитату, — или бушуй яростным пожаром, над тобой жизнь, я поэт — воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном» (цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь). Сологуб был смел. Сказав «А», он сказал и «Б». Д. Горбов, ученически повторяя «А», не осмелился произнести «Б». Оттого-то его идеализм — трусливый идеализм. Но разве эта особенность приближает его к марксизму?

#### V

Из этой непоследовательности — вся вообще непоследовательность его «галатейной» концепции. Отсюда не до-

веденное до конца требование поэтического «высокомерия». Кто из людей, понимающих процессы художественного творчества, станет оспаривать положение, что творческий субъект является организатором художественного произведения, в котором объект находит свое отражение. Художественное произведение — это объект, прошедший сквозь субъективную призму. Другими словами, произведение искусства — это нечто новое, в котором отразилось все своеобразие момента, заключающегося в единственном и неповторимом соединении субъекта и объекта, человека и мира, человека и общества. Но что такое «субъект»? Это прежде всего социальное явление, выражение общественных отношений, точка пересечения и связи этих отношений. Потому-то, с точки зрения марксизма, дико звучит некритическое повторение поэтической фразы Пушкина.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум.

и т. д.

Поэтическое высокомерие, прислушивание к самому себе, внимательное изучение своего внутреннего мира, — все это имеет объективную ценность при неразрывности связи художника и общества, субъекта и объекта, т. е. при наличии материалистической, а не идеалистической концепции искусства. На фоне же горбовских «галатейных» поисков, поэтическая фраза Пушкина может сыграть вредную роль.

Статья Горбова вызвала ряд возражений. В большей своей части они были справедливы. Уровень нашей марксистской критики, несмотря на ее срывы, все же таков, что идеалистическая установка Горбова была разоблачена весьма быстро. И напрасно Горбов пытался отвести упрек в «идеализме» тем, что-де его оппоненты, в частности Авербах, «идеальный» спутали с «идеалистическим». У меня нет оснований брать под защиту Авербаха. Но в данном случае он, как и другие критики, был прав. Именно об идеализме, а не об идеальной действительности должна была идти речь.

Разумеется, в той критике, которой был подвергнут Горбов, не обошлось без ударов «дубинкой». Но ведь это тот «принудительный ассортимент», без которого налитпостовцы еще не научились обходиться.

## VI

Потому-то уклончивое заявление Горбова, что его «поиски Галатеи» нуждаются в «уточнении», не удовлетворяет. Дело не в «уточнении», а в радикальном разрыве с концепцией, концы которой ведут к Аполлону Григорьеву. Ведь и Аполлон Григорьев утверждал, что «все идеальное есть не что иное, как аромат и цвет реального» (соч., т. I, под ред. Н. Страхова, СПб, 1876, стр. 202). Если современный читатель прочтет статью А. Григорьева «О правде и искренности в искусстве» (там же), он найдет множество формулировок, оказавших влияние на концепцию Горбова. Именно Аполлону Григорьеву обязан Горбов некоторыми своими мыслями о «нравственной» роли искусства. «Искусство есть идеальное выражение жизни» — вот формула Григорьева, заимствованная Горбовым (там же, стр. 142). Даже утверждение

его об искусстве, как равноправном виде действительности, особой форме ее бытия, перекликается с замечанием Григорьева, что «создания искусства столь же живы и самобытны, как явления самой жизни, так же рождаются, а не делаются, как рождается, а не делается все живое». Можно было бы указать на ряд совпадений, говорящих о том, что Горбов хочет сочетать марксизм с теориями Аполлона Григорьева. Я не говорю, что Григорьев — нулное в истории русской критики. Можно сказать, что он недооценен как писатель и как критик. У него много интереснейших мыслей, и вся его деятельность, оставшаяся как-то на периферии литературы, не по заслугам осталась неисследованной. Но это не означает, что нам следует учиться у Аполлона Григорьева. Потому-то уклон т. Горбова к Григорьеву — уклон в сторону от марксизма к идеализму. И чем решительней Д. Горбов откажется от своих идеалистических ошибок, тем лучше. А для этого недостаточно голословных заявлений об «уточнении» художественного «образа» Галатеи. Надо расстаться с этой богиней навсегда. Иначе для т. Горбова эта женщина может оказаться ровной.

## 2. РАЗГОВОР

## А. Лезнев

Поэт. Мы — вымирающая порода. Род диких зверей, которых скоро как раритеты будут показывать в музеях и паноптикумах. Все в нас устарело: не только то, что мы делаем, — наши писания, наши книги, — но и самая наша психическая организация. Каждая профессия производит отбор пригодных для нее людей. Отбор этот производится пока бессознательно, наудачу, в слепую, — и потому селекция далека от чистоты, а зерно засорено. Но все-таки он происходит, — профессия сортирует людей, откладывая на каждом из своих многочисленных полюсов какой-то особый психический тип.

Тип агронома не тот, что тип бухгалтера. Шахтер отличается от текстильщика, чернорабочий от официанта. Не думайте, что это — только последующее действие профессиональных навыков, специфической среды, одностороннего упражнения органов и способностей. Профессия в известном смысле задана наперед. Она сидит в человеке еще до того, как он ее выбирает. Она дает нам, правда, пространство для разбега, но как ограничено наше поле выбора, площадка, на которой мы вынуждены топтаться! Я бы сказал даже, что у профессии есть щупальцы, которые она протягивает к нам, чтобы нас захва-

тить, вобрать в свое нутро, а потом медленно, не торопясь, переварить. И вот, наблюдая себя, всматриваясь в своих товарищей по ремеслу, я все больше убеждаюсь, что и самый тип писателя, как определенной психической организации, архаичен, ненужен, не приспособлен ко всякому делу, требующему выдержки и упорства. Я ощущаю его как бы системой податливых клавиш, на которых окружающее играет, как ему вздумается. Меня приводит в отчаяние эта податливость на каждое впечатление, эта неустойчивость внутреннего равновесия, сказывающегося при каждом толчке, эта гипертрофированная отзывчивость. Музыка заставляет нас вибрировать, как камертон от удара. Она мне внушает радость, переполняющую меня до того, что мне физически тесно от нее, и я не знаю, куда девать эту чудовищно разросшуюся радость, бьющуюся во мне, как гигантское, тяжелое сердце. Она нас делает энтузиастами и вкладывает в руки оружие. И она же через минуту вызывает в нас чувство потрясающего сиротства, швыряет нас о землю и не дает подняться. Мы пред ней беззащитны, и она по своей прихоти превращает нас в кого ей заблагорассудится. Ей не нужно для этого быть артистичной и глубокой. С нас достаточно военного оркестра, проходящего по улице, или скрипки в пивной. Я знаю, что она развинчена и неопрятна, что она засалена, как те салфетки, которыми покрыты ресторанные столики, но я не могу не поддаться хотя бы на минуту ее дешевому обаянию. Дело здесь не в музыке: она действует на меня и может не действовать на вас. Ее специфическое влияние будет тогда замещено каким-нибудь другим. Дело в этой чрезмерной доступности впечатлениям бытия, в той обнаженности психики, о которой говорит Мопассан, когда с человека как бы снята кожа и он лишен защитного покрова. Мы открыты всем ветрам, — и они стремительно проносятся съездом нас, как съездом дом, покинутый жильцами, в котором настужь распахнуты окна и двери. Но ветер не оставляет следов, в нас же они вреза-

ны с четкостью линий гравировальной иглы. Вокзал. Запах дыма, смешанный с резкой свежестью осеннего воздуха, волнующий запах дороги. Голоса провожающих и — когда поезд тронется — странная грусть отъезда, хотя никого не оставляешь и не о чем жалеть. Нет, даже не грусть, а тоска, именно тоска, щемящая и острая. За окном движется мертвая ноябрьская ночь, светлая от луны, — и мне начинает казаться, что я — единственный человек в опустошенном мире, — вот выйду в эту ночь, голую и серую, и долго буду бродить, и не услышу ни одного голоса и не увижу ни одной промелькнувшей тени. Откуда это одиночество и эта тоска? Я ни с чем не разорвал и не еду навстречу неизвестному. Почему же каждое ощущение вливается в меня с такой болезненной и страстной силой, с такой резкостью, как будто мое сознание — нетронутая почва, и это — первые впечатления, которые падают на него и его взрывают? Я вспоминаю восприятия детства. Я был болен, меня привезли в Вену. Вена пахла лекарствами. Профессор, толстенный и румяный, наломил раскрашенные фарфоровые куклы, которые мы называли «манюрками». На набережной продавали большие, как будто стеклянные вишни. Позже я узнал, что это — черешни. Огромная церковь св. Стефана была почти черной; приходилось запрокидывать голову назад, чтобы увидеть ее шпиль. В саду было тесно от народа, и в тесноте на подмостках танцевали женщины в коротких юбках. Дальше ездили верхом и стреляли очень громко и страшно. Сад назывался Пратер. В моем представлении это соединялось в одно со словом император, что придавало саду таинственную значительность. Мне трудно передать живую для меня и сейчас эмоциональную окраску этих впечатлений, но они так ярки во мне, словно на уголок сознания, в котором они сохранились, направлен, как при киноемке, свет нескольких юпитеров. Сравнение с «манюрками» может искажаться теперь «литературой», но тогда мне было шесть лет, я не думал о литературе, и это сравнение было для меня

сама действительность, — я так видел и не мог иначе видеть. И Вена действительно пахла для меня, аптекой и приемной врача. Да, да, я знаю, вы скажете, что эта яркость впечатлений и чувствительность к ним свойственна всем детям. Совершенно верно. Но у других она с годами притупляется, тускнеет, покрывается корой, у писателя же эта детскость остается на всю жизнь. И плохо, что остается, и хорошо, когда тускнеет и покрывается корой. Это дает человеку упор и устойчивость. Его не колеблет ветром из стороны в сторону. Его шаг полудает твердость. Он может отдать своему делу и довести его до конца. Поймите этот ужасный парадокс: способность к искусству — а значит и само искусство — есть следствие психического уродства. Да, уродства, потому что инфантилизм во взрослом человеке — уродство. Так когда-то фокусники покупали детей для того, чтобы их изуродовать и дать возможность dame из партера и мяснику с галерки любоваться гуттаперчевыми мальчиками и Гушшпленами. Между Гушшпленом и художником нет существенной разницы, — разве только та, что уродство «человека, который смеется», незначительно в сравнении с ущербностью человека, который сочинительствует. О, мне известно, что в таких случаях говорят о «высокой болезни», о «драгоценном» жемчуге, который ведь тоже является заболеванием моллюска, и пр.! А вы спрашивали, каково моллюску, заболевшему жемчужной болезнью? И если искусство — болезнь, то не стыдно ли культивировать страдания и уродство? «Высокая болезнь!» А нужна ли человечеству болезнь, хотя бы и высокая? Нет, если право на искусство, если художественное дарование покупается ценой инфантилизма, то мы не хотим этого права и этого дара! Я буду счастлив в тот день, когда я перестану быть собой, когда не будет этого ужаса перед белым листом бумаги, который я должен заполнить знаками, когда я исчезну как писатель и сумею жить, чувствовать, работать как обыкновенный, как нормальный человек. И

какой абсурд думать, будто от того, что мы перестанем писать, произойдет какой-нибудь ущерб обществу! Я еще допускаю, что писатель был уместен прежде, особенно в годы застоя — искривленный человек в искривленном обществе. Но чем же он, с его впечатлительной, неустойчивой, полудетской натурой, может быть полезен в наше мужественное, жесткое, действительное время? Никогда еще противоречие между профессиональным типом писателя и стилем революционной эпохи не чувствовалось так отчетливо, как сейчас. Полагаете ли вы, что в творчестве не скажутся особенности такого психического типа? Можно ли думать, что ущербный человек создаст здоровое искусство? Не забудьте, что не только поэт «бдлен», но и поэзия — «высокая болезнь». Но если б даже искусство было сейчас действительно полезным, если б оно и впрямь могло воодушевлять, вести вперед или хотя бы развлекать, разве это оправдало бы его существование, оплаченное такой дорогой ценой? Допустимо ли калечение людей для чего-либо развлечения или пользы? культивирование Гушшпленов? искусственное вызывание жемчужной опухоли? И я готов обратиться к матерям и воспитателям с призывом: делайте своих детей шоферами, слесарями, токарями по металлу, шкрабами, врачами, столярами, инженерами, салонщиками, но не делайте их писателями! И когда вы заметите в них склонность к искусству, не давайте ей разрастаться, выкорчевывайте ее без жалости и без остатка. Пусть ваши дети будут лишены этой пресловутой «утонченности», пусть они будут проще, поэлементарнее, но пусть они зато будут цельными, мужественными, уравновешенными, людьми, умеющими бороться и достигать целей. Мы живем в трудное, но знаменательное время, когда завершается пред-история человечества и уже брезжит заря его истории. Она уничтожит Гушшпленов — или нет! Она будет гуманнее, она вылечит их. Она прекратит добычу жемчуга. Новый человек не свалится как подарок на наши головы, сразу вооруженный всеми добродетелями бесклас-

сового общества. Он готовится, он зреет уже в настоящем. И я уже вижу его черты, его хороший, рабочий, простой тип. И вот такой же вечер, как сейчас. Белокурый песок. Пахнет аиром и речной сыростью. Листва становится тяжелой, как-будто она сделана из железа или чугуна. Небо выцветает до призрачной бледности. И то, что поднимает во мне такой смутный хаос чувств и ощущений и зов каких-то древних голосов, бродящий в крови, и отзвуки воспоминаний, его оставляет спокойным и ясным. Он будет спокойно смотреть на реку и темнеющие кусты, и когда в воде расплывется первый отблеск луны, он возьмет лодку — не для того, чтобы любоваться наступившей ночью, а для того, чтобы сделать несколько сильных мускульных движений.

Прозаик. Право, я слушаю вас и недоумеваю. Да полно, где вы видели в наше время такого писателя, о каком вы говорите? Современный гораздо практичнее и трезвее. Летом он отдыхает на черноморском берегу, умеренно флиртует и занимается физкультурой. Уверяю вас, никакой хаос не бродит в его крепко забронированном сознании: он просто заботится о своем здоровье. Остальное время года он занят налаживанием своего кустарного производства и добыванием сырого материала. Человек с записной книжкой, он ведет точный учет своим впечатлениям и быстро перегоняет их в страницы прозы и строчки стихов. Он не дает им залеживаться. Он об'езжает в стремительном темпе города, заводы, электростанции и колхозы. Он плавает на ледоколах, летает на аэропланах, спускается в шахты, подымается на перевалы. Он торопится, ему некогда вникнуть в то, что он видит. Ему некогда ждать, и он обращается к помощи путеводителя. Ни одна веревочка не пропадает в его хозяйстве. И если он летом флиртвал, то осенью он уже выпустит роман о половой проблеме, где история его увлечения будет описана самым реалистическим образом, а героиня названа по имени. Полугазетчик, полуделец, ловкий угадыватель модных проблем, расторопный

повар, изготовляющий дежурное острое блюдо, — помилуйте, где тут говорить о чрезмерной впечатлительности, о болезненной ранимости души! (Впрочем, очень ли ловкий? Расторопный, спору нет, но достаточно ли умелый? Французы делают это гораздо лучше. Но это в скобках.) С какой легкостью он переходит от одного предмета к другому, от восприятия к восприятию! Какая резиновая растяжимость психики! Другой на его месте был бы подавлен, ошеломлен, а от него впечатления отскакивают, как-будто он покрыт толстой слоновой кожей. Он потерял способность удивляться и смотрит на мир такими же равнодушными глазами, как читатель на страницы его книг.

Он занимает бельэтаж литературы и имеет законное право на гордость и самоуважение. Ведь внизу, под ним, находится литературный полуподвал, про обитателей которого всякий знает, что это — подхалимы и красные халтурщики. Они так выгодно оттеняют чистоту и корректность его костюма и его воротничков! И он шепчет каждый вечер, отходя ко сну: «Благодарю тебя, о устроитель литературных судеб, за то, что я не похож на этих мытарей и грязнух!» Но он не подозревает, что они уже давно стали покидать свое полуподвальное помещение и некоторые живут бок-о-бок с ним, что они приоделись и почистились. Ему неизвестны тайные горечи и затруднения их ремесла, которое ведь тоже не даром дается. И если б он меньше смотрел в зеркало и в путеводитель и был бы способен замечать окружающее, он бы, вероятно, сбавил спеси и с большей снисходительностью отнесся к этим труженикам. Про них уже, во всяком случае, нельзя сказать, что они ленивы и зарывают свои таланты в землю.

Им я посвятил маленький набросок, который хочу вам прочитать:

#### Утро и вечер подхалима

Он идет, не торопясь, по дороге в редакцию, и рука его мерно раскачивает желтый портфель с застегками. В целях гигиены довольно долгий путь проделывается пешком. На перекрестке он переходит улицу с таким вну-



шительным видом, что извозчицы лошади конфузливо сворачивают в сторону и в виде извинения долго мотают хвостами. Несмотря на то, что осенний день сух и ясен, а работа утром шла хорошо, он чем-то недоволен. Приглядитесь к нему и вы увидите, что он тихо шевелит губами. Он ведет спор с воображаемым противником.

— Я подхалим? Отлично. Принимаю квалификацию и даже не протестую. Но дает ли это вам, юноша, право смотреть на меня осуждающими глазами? Я для вас — литературный вредитель и пресмыкающееся. При виде меня вы кривите брезгливо губы. Когда я в соседней комнате, вы поднимаете громкий разговор о пролазах и приспособлениях. Вы всячески подчеркиваете свое презрение. А вы задумались над тем, сколько бессонных ночей я провел за письменным столом, сколько трудов и усилий стоит мне моя работа? Вы разве знаете, какие мучительные сомнения приходится преодолевать мне на моем пути? Вам кажется, что все это так легко и просто. Нет, дорогой мой, подхалимаж — искусство не хуже всякого другого. Можно, разумеется, взять старый рассказ и заменить царских офицеров красками. Но это слишком элементарно и на такую удочку попадется только разве самый неопытный секретарь редакции. Сейчас нужен подхалимаж виртуозный. Я должен преподнести свою работу так, чтоб редактору и невдомек было, что это — подхалимаж. Я держу себя как будто совершенно независимо и развязно, я отваживаюсь даже высказывать оретические мнения (о, разумеется, лишь в самых микроскопических дозах! И тотчас же извинение. И тотчас же поправка!). Я должен верхним чутьем уловить, что требуется редактору и чего хочет публика, я должен угодить, я должен попасть в точку, я должен соблюсти оттенок благородства. А это легко, по-вашему? А это дается без мучений и бессонных ночей? Поистине такой подхалимаж выстрадан кровью сердца и соком нервов. И если вы цените человеческий труд и энергию, вы должны уважать литературных подхалимов.

Да, я смело могу сказать, что я—ве-

личайший труженик нашей страны. Искренность, говорите вы? А что это такое искренность? Покажите ее, чтоб я мог руками пощупать, какая она и из чего она сделана. Белая она или красная? Шероховатая или гладкая? Что из нее изготовляют: носовые платки или кухонную утварь? И где она имеет местопребывание? И какими инструментами ее можно обнаружить? Искренность! А что она даст мне или моему читателю? Я сделал вещь. Хорошо я сделал ее или плохо, — вот одно, что подлежит обсуждению. А искренность здесь не при чем.

И зачем вам знать, что происходит в моей душе? Ну, хорошо, я притворяюсь. А лучше будет, если я начну писать контрреволюционные произведения? Знаю, знаю, дружок, что вы скажете: перевоспитываться. А кто меня кормить станет, пока я буду перевоспитываться? И я вовсе не хочу уходить с литературной арены даже на время. Я выполняю большое дело. Я ловлю проблемы, едва они стали носиться в воздухе. Я подхватываю очередную лозунг еще прежде, чем он произнесен. Кто меня в этом заменит? Вы, что ли? Так вам надо целый год раскачиваться, переживать, пропускать сквозь себя тему, «органически усваивать» и проч. А мне не надо усваивать. Мне плевать на органичность и всякие сентименты. Я не обременен никаким грузом. Сегодня услышал — завтра написал, вот моя формула. Несложно? Тем лучше. И еще вопрос, кто из нас двух окажется больше на месте. Я знаю свое ремесло. У меня ни шагу без цитаты, — и все они захвачены, и на всех след моей пятерни. Я владею секретом этой незаменимой смеси идеологии с клубничкой. Читатель у меня весь изойдет слюной еще до середины романа. Любую тему я обмусолю и обмусолю, как конфетку. Из индустриализации я сделаю монпансье. Я читабелен, я занимателен, я немедленно откликнусь, я щекочу нервы, — вот почему я буду всегда иметь перевес над вами. Без меня нельзя обойтись. Я необходим, как ватер-клозет. Меня называют жертвой общественного темперамента. Значит, я необходим вдвойне. Я тот влашан, без которого хотел нашей ли-

температуры взорвался бы. И потому я с гордостью принимаю то прозвище, которым вы хотите меня заклеймить. Я громко, во всеуслышание заявляю:

Постом можешь ты не быть,  
Но подхалимом быть обязан.

Губы его перестают шевелиться. Он останавливается у невзрачного здания, похожего на склад, и подымается по лестнице в редакцию, которая находится на самом верху, как голубятня. Он смотрит на редактора преданными глазами и вручает ему толстую рукопись пьесы. Героев зовут Спартак и Первомайя. Она отдается ему под занавес, цитируя фразу из воспоминаний Клары Цеткин. Во втором акте проводится антиалкогольная агитация, в третьем—борьба с антисемитизмом, в четвертом показан инженер вредитель, в пятом—строительство колхозов. Редактор перелистывает рукопись и задумывается. Ему неприятна нечистоплотность автора, у которого цитаты заплывли салом. Но он не знает, как быть: здесь есть все, что нужно, и нет того единственного, что нужно. И ему становится не по себе. Он вдруг замечает, что на столе беспорядок, что неделями валяются нечитанные рукописи, что в его кабинете сидят люди, которым нечего делать и которые пришли сюда от скуки и праздности, что из щелей дует, что в комнате мало света и что литература—грустное и бесплодное занятие.

Но деловой день свивается, как ковер, накинутый над бездной. Для автора «Спартак и Первомайя» бездна раскрывается в грузинском подвале, где он сидит второй час со своим приятелем.

— Понимаешь, — жалуется он, — они воротят от меня морды. Хорошо — я халтурщик, я приспособленец, я пролаза. У меня грязные руки, но я для вас, чистоплюев, проделываю грязными руками черную работу. Я — тот перегонной, без которого не взошел бы ваш урожай. На моих костях, граждане, строите вы вашу литературу! И какой я халтурщик? Я стараюсь добросовестно угодить, я готов в лепешку расшибиться, чтобы выполнить все указания рецензента (разумеется, когда это — влиятельный рецензент), и если

я иногда забегаю вперед и фальшивлю, то это единственно из-за избытка усердия. Я подхалим, но не халтурщик. Я тщательно работаю, я себя насилюю, коверкаю, выделываю немислимые па, но ведь все для вас — и вы же меня ругаете! Где тут логика? где справедливость? Ты посмотри на иного нашего «художника» (вот именно, не писателя, т. е. обыкновенного смертного, а художника, почти что пророка). Фу-ты, ну-ты! Что за важность! Что за пренебрежительные взгляды! Да ведь ты, братец, тот же приспособленец, только еще себя не осознавший! Чем же, дурак, предо мной гордишься? По какому праву морды воротите, сукины дети?

Речь его давно потеряла обычную мягкость, а глаза — выражение преданности. В хмелю он как-то быстро осунулся, сделался зол и сентиментален. Злость и сентиментальность чередуются в нем фазами. Сейчас он переходит во вторую фазу.

— Я лгу и притворяюсь. Ты думаешь, это доставляет мне удовольствие? Это сегодня я отнес в редакцию пьесу. Знаю, отлично знаю, что похабщина. Я бы на месте редактора таких, как я, на порог не пускал. Испохабят все, к чему ни прикоснутся, самые великие идеи запачкают. А редактор возьмет. Поморщится — потому что я на этот раз перестарался, — но возьмет. Я даже скажу тебе сейчас, как он будет рассуждать: «Вещь попахивает, но занимательна, написана на нужную тему, да и автор старается подойти к нам поближе». А я вовсе не стараюсь подойти поближе. Мне этот Спартак глубоко безразличен. Я был бы равнодушен и к нему, но мне приходится о нем писать, и я начинаю его ненавидеть. Ты понимаешь, я гублю в себе поэта. Я продал свое право первородства за чечевичную похлебку. Я ведь совсем не такой, я лирик по природе: цыганская песня, полевая ромашка, лесной омут. Я прямо говорю: я — человек кроткий. Мне бы удить рыбу где-нибудь на Оке, жить в шалаше и писать стихи о любви. А зимой вернуться в двухэтажный свой домик, вышивать гладью цветочки, поливать горшки с фикусами и китайской розой.

А тут — Спартак! Э, да что там! Погубил я свою жизнь и свое дарование.

Он истерически всхлипывает. Впрочем, слез нет. Очевидно, способность плакать, как и способность краснеть, проходит с годами. Он оглядывается кругом, ища сочувствия. Пивная отвечает привычным своим шумом, звоном посуды, визгами скрипок. Осоловевший приятель уснул. Народ безмолвствует.

Поэт. Помилуйте, какое же это возражение! Я очень хорошо знаю, что у нас предостаточно подхалимов (жесты, они существовали во все времена) и очень много карьеристов и самодовольных литературных дел мастеров. Все это имеет отношение к литературе формально, поскольку эти люди пишут, печатаются, находят своих читателей, но не имеет никакого отношения по существу. И заключать от них о писателе как об известном психологическом типе так же невозможно, как из игры шарманщика выводить следствие о музыкальной культуре страны.

Прозаик. Вы правы, но я вовсе не собирался это делать. Вы просто выслушали только часть того, что я хотел вам сказать. Я сейчас разовью свою мысль дальше. Пока же замечу вам: вы правы, но не совсем.

То, что эти люди делают, очень дурно и очень безвкусно. Не знаю даже, чего здесь больше: похабности или безвкусности. Вы считаете их ниже литературы. Я бы выразился несколько иначе: низкая литература, так как считаю неостроумным выключать из литературы то, что нам не нравится, но что в ней очень действительно. Впрочем, спорить с вами тут я не буду. Но не станете же вы утверждать, что все они бездарны! Пусть они будут выключены из литературы, они остаются в общей рубрике писательского типа. Но если писатель умеет так ловко приспособливаться и мимикрировать, значит его психическая организация не так уж безнадежна в смысле практического действия.

Вы правы: подхалимы и карьеристы не решают вопроса. Но они доказывают, что писательская природа не так уж единообразна и заключает в себе

гораздо больше и противоречий и неожиданностей, чем это вам кажется. Я бы мог вам возразить, что тот типичный писатель, о котором вы говорите, на деле — типичный интеллигент. Мне было бы не трудно это доказать. Его внутреннюю неустойчивость, его подверженность всевозможным влияниям я бы вывел из неустойчивости его социального бытия, бытия небольшой группы, поставленной между двумя огромными сферами притяжения, между двумя враждебными классами, ведущими грандиозную борьбу. Поверьте, я сумел бы достаточно убедительно обосновать это положение. Но я не стану этого делать.

Ваша правота глубже. Очевидно, действительно существует особый тип психической организации, характерной для писателя, — шире, — художника, артиста (в том общем смысле, в каком немцы говорят «Künstler»), — и поэтом, композитором, живописцем будет тот, кто обладает не только специфической чувствостью к слову, звуку, цвету, но и таким особым душевным складом. Меня в этом убеждает совпадение столь разных свидетелей, как Мопассан и Горький. Я это вижу в чрезвычайной восприимчивости Пушкина к «элементарным» воздействиям физической среды (возьмите его «Осень»), восприимчивости, которую с ним разделял такой — в нашем представлении — «олимпиец» и уравновешенный человек как Гете (на самом деле натура очень эмоциональная, страстная, необузданная). Я вспоминаю об отношении Маркса к поэтам как к большим детям. Особенность художественного склада — в повышенной эмоциональной возбудимости, в большой чувствительности к впечатлениям, оставляющим резкий и длительный след, в яркости восприятия. Без такой эмоциональной возбудимости работа художника просто немыслима, как немыслима работа ученого без способности к отчетливому логическому мышлению. Андерсен не даром рассказывает о поэте, который был поэтом, хотя не написал ни одного стихотворения.

Ваши слова о детективности писателя в известном смысле глубоко верны. Но

гда поэт описывает вещи так, как будто он их видел в первый раз, то здесь не просто прием неузнавания, но и та яркость и «чистота» непосредственного восприятия, которая одна и дает ему возможность применить этот «прием». Она и создает «незащищенность» писателя, о которой вы говорите. Но вы ее берете как абсолютное и неизменяемое качество. Вы видите в художнике только уклонение от нормы и не видите нормы. Его натура гораздо более гибка и приспособлена к практике — не в вульгарном, а в широком смысле, — чем вам это кажется. Тот же Гете, который часто сам не мог разобраться, что им было написано в творческом порыве и который в произведениях своей молодости обнаруживает такую необычайно громадную амплитуду эмоциональных колебаний (от «Вертера» до иступленных прославленных жизни: *O Erd! o Sonne! O Glück! o Lust!*), тот же Гете умел быть прекрасным практическим работником, администратором, директором театра. Не только его научные работы, но порой его заметки о прочитанных книгах обнаруживают удивительно систематический, сложный к классификации ум. Просмотрите хотя бы его рецензию о «*Des Knaben Wunderhorn*» Арнима и Брандано или «Правила для актеров». Недавно та же черта меня поразила в заметках Толстого о стихах Тютчева, сделанных на полях книги, т. е. небрежно, бегло, без мысли что-нибудь доказать или опровергнуть, а значит тем более убедительных. И ведь это не случайный факт: вспомните его из года в год ведущиеся дневники, его расписания, его правила жизни и поведения. И сопоставьте это с тем, что Толстой был не менее эмоциональной и неустойчивой натурой, чем молодой Гете. Вы говорили о влиянии музыки. Толстой являет лучший пример такого потрясающего, срывающего психику со всех якорей воздействия музыки на эмоциональную художественную натуру. Мы это знаем не только из его биографии, мы это отчетливо видим по его произведениям, от «Войны и мира» до «Крейцеровой сонаты» и «Живого трупа».

Вы можете указать, что литература насчитывает гораздо больше Гейне, чем Байронов, а Байронов больше, чем Шелли или Рылеевых, т. е., что писатель редко бывает последовательным в своих взглядах, еще реже выступает как борец, — не только словом, но и делом, — а когда выступает, то скорее как авантюрист, чем, скажем, как подлинный революционер. Я был бы в праве сослаться на классическую древность, где поэт являлся активным участником общественности, не мыслил себя вне такого участия и ранами Марфона гордился больше, чем лавровым венком. И если впоследствии эта связь ослабела, то ведь не надо забывать, сколько веков унижения поэта и литературы, придворного покровительства, стояния в передних или гостининых (неизвестно еще, что лучше), угодничества, версальского перерождения легло здесь. И когда я думаю об этом искусстве, мне представляется длинный ряд согнутых в поклоне сплг в кафтанах и камзолах, с падающими на плечи локонами огромных париков, пли торчащими, тугими пудренными косичками, бесконечный ряд версальских и веймарских сплг. Гайдн и Моцарта третируют, как жонглеров. Утрачивается достоинство художника, человека искусства. И только редкий Гендель или Бетховен заставят согнуться перед собой спину зятюка и мецената. Звание поэта почти приравнено к званию актера, а звание актера — к званию лакея. Как далеко — к нашему веку — выдвинута традиция этих взглядов и этих отношений! Пушкин стыдится быть литератором, Гете сочиняет стихи к придворным празднествам, молодой Гюго строчит оды королю. Еще небольшая передвижка во времени — и писатель почти прямо из Версаля, из Веймара попадает на чердак богемы. Он здесь предоставлен самому себе, его захватывают зубцы рынка, на который он теперь безраздельно работает; в обществе, где идет борьба всех против всех, где человек человеку — волк, где конкуренция стремится разорвать последние связи, он — самый одинокий из людей, самый изолированный, последний предел атомизации целого. Он

в стороне от реального процесса производства. В лучшем для него случае он может зажить жизнью обеспеченного рабства, т. е. опять замкнутое существование от единенного атома. Удивительно ли, что в таких условиях глоснут и стираются его общественные инстинкты, его стремление к практической деятельности, а его эмоциональная впечатлительность, его повышенная восприимчивость, его неуравновешенность часто гипертрофируются до крайности! Он изуродован, потому что его усердно уродовали. Двор и мещанат, богема и рынок веками здесь работали не хуже компрачиков. И под конец Гуинплону понравилась своя наружность. Уродство сделалось привычным, стало традицией и знаменем. Но не забывайте, что это — благоприобретенные, а не природные черты. И если люди, как Гете и Пушкин, сумели, несмотря на компромиссы, сохранить себя в таких условиях как цельных, неискалеченных людей, то, значит, писатель вовсе не осужден неизбежно на ту ущербную пассивность, которая вас так ужасает. Пусть на несколько Шиллеров, отвернувшихся от революции, как только она стала реальностью, приходится один Рылеев: этого достаточно, чтобы разрушить ваш тезис о роковой практической непригодности писателя. Вы говорите, что будущее излечит Гуинплена искусства. Я с вами согласен. Но вы это понимаете как уход от искусства. Излечение художника состоит в том, что он перестает быть художником. Под видом терапии вы предлагаете ему самоубийство. Я же представляю себе это как освобождение художника: стираются наносные черты, писатель выпрямляется во весь рост, отбрасывает все, что ему мешает развернуться как художнику до конца, снова становится неурезанной, целостной личностью. Для вас уродство — не метафора, а реальность: художник горбат. Вам нельзя даже говорить о лечении. Вы и снимаете горб вместе с жизнью, — горбато-го, как в пословице, исправляет у вас могила. Для меня же здесь — не уродство, а гримаса. Не физический дефект, устранимый разве только проте-

зом или пластикой, а остановка развития, анемия, вызванные недостатком света и воздуха, — и надо только вывести писателя из подвала, из литературного и душевного подполья, из сумрака кабинетов, завешанных тяжелыми гардинами от шума и красок действительного, практического мира. Я не забываю при этом об особенностях художественной психики, особенностях, которые вы называете недостатками. Их вовсе не следует стараться уничтожить во имя ложно понятого утилитаризма и нивелировки. С ними надо неизменно считаться каждый раз, когда имеешь дело с художником. Он всегда будет повышенно-эмоциональной, восприимчивой и чувствительной к впечатлениям натурой. Но нужно уметь обратить эти «недостатки» в достоинства. Нельзя отказываться от оружия из-за того, что оно острое и может поранить руки. Гораздо целесообразнее научиться им владеть: в умелых руках оно будет надежным другом.

Вы видите писателя и не замечаете литературы. У вас какой-то узко-профессиональный подход. Вы хотите уничтожить искусство на том основании, что оно калечит художника. Это все равно, как если бы вы стали требовать уничтожения какого-нибудь производства из-за того, что оно вредно для здоровья. Работа наборщика вызывает свинцовое отравление, однако, не откажетесь же вы от книгопечатания! На текстильных фабриках легкие рабочих засариваются мелкой пылью, тем не менее вы преспокойно одеваетесь в сукно, мадеполам, ситец. И я вас не думаю упрекать. Разумный подход здесь не в том, чтобы уничтожить вредное, но необходимое производство, а в том, чтобы введением машин, устройством вентиляции, усиленным питанием и проч. свести эту вредность к минимуму, если не к нулю. Вам же простая мысль об изменении условий деятельности художника и его взаимоотношений со средой не приходит в голову. Вы так упоены горечью самоосуждения, что гибель искусства вам кажется самым разумным и желательным исходом. Не может быть хорошим и полезным то, что добывается таким

жестоким путем, — вот единственный силлогизм, на котором держится эмоциональная нагрузка вашего бунтарства. Но какой же это дурной силлогизм! Жемчуг носят только богатые и праздные женщины. Сукно одевает и работница. А разве оно не добыто, не создано той же самой жестокой ценой труда, усилий, болезни? Нет, искусство — не жемчуг, не прихоть пресыщенных бездельников! Если б оно было прихотью, оно давно бы исчезло, как исчезают, не оставляя следа, эфемерные увлечения моды. Оно бы отмерло, как отмирает все, что бесполезно для общественного человека в его борьбе за существование. Раз оно существует и развивается тысячелетиями, значит у него есть какая-то необходимая общественная функция. Искусство древнее науки. Человечество стало создавать его раньше, чем возникло разделение на классы. Очевидно, оно отвечает какой-то неистребимой потребности человека. Оно не может быть уничтожено. А если б и могло, то я бы не хотел жить в мире, в котором уничтожено искусство. Это был бы прямолинейный, ступенчатый мир, обедневший творчеством, инициативой, радостью. Искусство есть концентрация творческих способностей человека, высочайшая их собранность и напряженность, — и только еще в науке эти способности проявляются с подобной силой. И когда вы говорите о грядущем исчезновении искусства, вы, сами того не замечая, повторяете доводы людей, которых социализм пугал и которые — в зависимости от умонастроения — то отшатывались от него, как от царства серой уравнительности, то принимали его как неизбежное зло. Будущий человек вам представляется несложной, элементарной натурой, чуждой всяких «утонченностей», — а в особенности тяги к искусству — таким загорелым, уравновешенным и, по правде говоря, огражденным спортивным. В то время как вы переживаете бог знает какие сложные переживания, он бездумно берет за весла, чтобы размять мышцы. И вы приходите в оскорбительное для него умиление. Правда, вы клеветаете на самого себя: вы вовсе не

такое сентиментальное существо, каким себя представляете. Но в этих словах о «простой», «рабочей» натуре звучит что-то народническое, опрощающее, жертвенно-нисходящее до меньшего брата, и я бы на месте вашего наряда жестоко обиделся. Рабочая — да; но почему — простая, элементарная? Почему вы думаете, что при социализме человек упростится, а не обогатится? Социализм освобождает родники творческой энергии человека, которые начинают бить по всем направлениям. Человек делается многостороннее, тоньше, сложнее, только это усложнение происходит не в ущерб его волевой, активной природе. Уничтожается или — во всяком случае — уменьшается расстояние между натурой творческой и не-творческой. Творческая натура из исключения становится постепенно правилом. Конечно, не каждый сумеет быть художником, но у большинства окажется такая чуткость и действительность в восприятии искусства, что это одно уже будет служить сильнейшим толчком к его развитию. Если к этому прибавить, что социализм в огромной степени облегчает бремя необходимого для производства труда и увеличивает досуги работника, то станет ясно, что он не только не вызовет смерти искусства, но, напротив, приведет к такому его расцвету, какого мы еще не видели, да, пожалуй, и представить не в состоянии.

Поэт. Знаете, бывают положения, когда логика звучит как издевательство. У меня распухла и болит рука, — и вот, вместо того, чтобы помочь и успокоить боль, вы очень толково и убедительно доказываете мне, что рука должна у меня болеть в силу таких-то и таких-то причин, что это вполне закономерно и я в праве пенять разве на собственную неосторожность и пониженную сопротивляемость своего организма. Рука болит так невыносимо, что я готов схватить топор и отрубить ее вместе с пульсирующей болью, хотя прекрасно знаю, что это неразумно и что без руки мне не обойтись, — и когда приходит такой вот утешитель и начинает приводить свои бесспорные доводы, у меня является сильнейшее

желание ударить его оставшейся здоровой рукой. Хорошо, пусть при социализме искусство сохранится и даже расцветет, пусть я неправ, утверждая его гибель, пусть ваши рассуждения безупречны и мне остается лишь склониться перед ними, но чем они могут помочь мне сейчас, в этот трудный и решающий для меня день современности? Вот я стою здесь, я, писатель, пришедший к концу дорог, где они обрываются, и не видящий дальше пути. Я жду даже не указания, я жду слова, простого и теплого, как пожатие руки, а вы мне протягиваете ломоть чертовой логики. В полумраке старающегося нащупать дорогу, вы меня хотите заставить фехтовать. Я сумел бы не хуже вашего владеть этим блестящим оружием, но мне не до того, чтоб им играть. Не потому мне трудно найти тропинку, что я растерялся или мои глаза стали плохо видеть, но потому, что я слишком точно знаю, что пути, которые рядом, возвращают на старые круги. Мне тесна писательская кожа, и я хочу ее сбросить. Она меня давит, мешает свободе движений, не дает расти. Во мне подымается старый бунт писателя против своей профессии, против литературы, бунт, который я, еще не понимая его, видел у Толстого или Гоголя. О, ради бога, я не думаю сравнивать! Но есть, видно, что-то такое в искусстве, что заставляет людей, отдающихся ему, восставать, уходить от него, рвать добровольно наложенные цепи. Разве только время Толстого знало это возмущение? Разве в наши дни оно не в десять раз законнее?

О каких бы искусство  
Высот ни глядело,  
Есть горькая правда:  
Слово — не дело.

Это написал современный поэт. Он прав. Слово — не дело. Вот в чем наше проклятие. Другие делают, мы говорим, шипим, красноречивеем. Но мне стыдно быть нахлебником за столом человечества. Мне позорна и страшна эта роль дефективного человека, полушута, полуроботка, которому удивляются, которого балуют, но которого не берут всерьез, как чудака, почти как юродивого. Жизнь идет своей тя-

желой и пленительной дорогой, трудно дыша, напрягаясь, а мы стоим сбоку и зарисовываем, как старичок-художник на даче, ставящий свой мольберт у речки, зарисовывает пейзаж, и подбираем краски и любимся собой, солнышком, ландшафтом. Может быть, это и приятное занятие, но ведь совместно заниматься им, когда каждая лишняя пара рук нужна для работы. Вы подумайте: на наших глазах происходит грандиознейшая перестройка всего жизненного уклада, какую когда-либо знала история, и пред которой потрясения царств, воспетые библиями и поэмами, — детская игра. Разворачивается тугая спираль первой пятилетки, пяти лет, в которые должны уложиться 25 лет «нормального» развития. Ветер социализма шевелит наши волосы. Уже одна непрерывка сама по себе взрывает устои векового быта, инерцию его благолепного консерватизма. Откиньте газетный налет, пыль ежедневных вторений, лежащую на ваше восприятие, и попробуйте наглядно себе представить действительную колоссальность того, что делается: она вас ошеломят. Это надо полюбить или отбросить, но к этому невозможно остаться равнодушным. И вот, когда вся страна работает, засучив рукава и сжав зубы, что же делает писатель, чем он собирается помочь своей чернорабочей эпохе? Он пишет, он сочиняет романы и повеллы, где герои ездят на тракторах и целуются, матершинят и старательно изъясняются по-рязански или по-саратовски. Снова и снова одно и то же: отражение жизни, попытка поймать за хвост то, что упорно ускользает из рук, игра выдуманными образами, китайские тени. Писатель и пятилетка! Мне краска бросается в лицо, когда я вижу, как бездарно и убого пытаются разрешить этот вопрос: повестушками и рассказами. Не ловите меня на полуслове. Не подсовывайте мне лефовские лозунги! Газетная работа, очерк, литература факта? Но ведь это тоже «слова, слова, слова», и вовсе не более удачные, и вовсе не более нужные, и одописец из Лефа похож на барина, который смотрит, как рабочие несут по лестнице рояль, и ужасно крик-

тиг и тужится, и приседает, и даже покрывается потом, как будто это он трудился: но оттого, что барин кричит, рабочему не становится легче. Нужно реальное, — понимаете ли вы, — реальное, а не бумажное дело! Работать, а не писать о том, как работают другие! К чорту эти фельетоны, очерки, романы! Сделаться трактористом, избачем, летчиком, рабочим на заводе. Знать, что ты своими руками действительно строишь что-то необходимое, что твоя работа вливается, пусть и незаметной, частичей в общее дело, и что если эта огромная, нескладная и чудесная страна идет к социализму, то в этом есть и твоя маленькая доля участия и заслуги. Вы скажете — народничество? Ну, и пускай. Когда-то отставные чиновники называли нигилизмом честность, прямоту, способность говорить в глаза правду. Если для вас желание сделаться из абстрактного существа кабинета и редакции живым участником общественного процесса, стать частью рабочего коллектива, найти для себя какую-то реально-полезную функцию является народничеством, то я ничего не имею против такого определения. И я приветствую тех писателей, редких, как исключение, которые бросили Москву и журнальные дризки, и литературные успехи и зарылись в «глушь» вавказских колхозов — не для того, чтобы собирать материалы и строчить очерки, а чтоб работать там, всерьез и действительно работать. Мир строится не по евангелию от Иоанна. Фауст прав: в начале было дело. И когда такой писатель-«чудак» встретит рабочего, крестьянина, учителя, агронома, ему не придется отводить в сторону глаза, чтобы не видеть полуужоризненного, полунедоумевающего взгляда этих людей, в котором читаешь вопрос: «что ты делаешь рядом с нами в этой трудной и напряженной жизни? За что тебе платят деньги? Почему о тебе шутят и спорят, и считают тебя солью земли?» Он сможет посмотреть им в лицо прямо, не отворачиваясь. Он сумеет ответить на вопросы. Он нашел свое место и понял свое время.

Проза и ж. Так ли уже он его по-

нял? Предположим, что все писатели-профессионалы заразятся вашим порывом и сделаются трактористами. Что же получится? Станет на 500 трактористов больше — и только. Помощь республике небольшая, и для того лишь, чтобы создать 500 лишних трактористов, право, не стоит отменять литературу. А кстати, знаете ли вы, куда пошли ваши писатели-колхозники (их так мало, что я сомневаюсь, можно ли употреблять множественное число)? На ту же культурную работу в клубе, т. е. на работу по организации отдыха, а вовсе не за трактором. Но если писатель не создает вещей, то и «культурник» не создает их. Выходит, что ваши «чудаки» ничего не выиграли, и вместо того, чтобы непосредственно участвовать в производстве, обслуживают попрежнему человека отдыхающего.

Я, разумеется, вовсе не собираюсь отговаривать вас от вашего намерения. Наоборот, я вам от души желаю попасть в колхоз или сделаться избачем, и думаю, что это пойдет вам, как и любому из нас, только на пользу, тем более, что литературу вы не бросите. Уж в этом я совершенно уверен, сколько бы вы ни твердили, что искусство — зло. Так ненавидит только тот, кто любит. Я говорю лишь о вашей непоследовательности. Впрочем, разувещивать вас я не стану. С настроениями не спорят, а логика для вас — черствая пища. Было бы очень легко доказать, что ход вашего рассуждения ведет к ненужности не только искусства, но и всякой идеологии. Но именно легкость победы заставляет воздержаться. Доводы так элементарны и ясны, что воспользоваться ими и разрушить ваше шаткое построение может и школьник. Поэтому разрешите не смотреть на ваши слова, как на нечто такое, что нужно опровергать, а повольте считаться с ними, как с фактом психологического порядка.

Вы недовольны собой, вы недовольны литературой. Я понимаю это недовольство. Литература наша — не по росту своей эпохе, мельче ее. Вы поражены ее несоответствием. Вы начинаете сомневаться, остается ли для



нее место в современности. И вам уже кажется, что искусство и вообще-то потеряло свой смысл, свою общественную функцию. К вам революция обернулась производственно-вещной стороной. Если стройка социализма есть лишь производство новых вещей, то тогда писателю действительно нечего или почти нечего делать. И он правильно поступит, если уйдет в трактористы или техники. Но если она означает создание новых отношений между людьми, если социализм не может быть построен и осуществлен без нового человека, то тогда перед писателем открываются огромные перспективы. Он тоже поставлен у станков, только гораздо более сложных и тонких. Он выполняет ответственную работу по формированию человеческой личности. И уход с этого производства в трактористы, который вам кажется таким эффектным, будет не более, как дезертирство.

Поэт. Это мы-то с вами, хромые, будем обучать человека со здоровыми ногами и сильными мускулами бегать?! А не наоборот ли? Формирование человека! Сложные станки! Куда же нашему брату работать на простых? Нет, какое высокомерие! Какая переоценка собственных сил и значения! Что до меня, то я решительно отказываюсь от этой роли демиурга, творца, лепящего из инертного материала то, что ему вздумается! Материал не инертен, а я не всемогущ. И хотя я по-вашему, рассуждаю, как интеллигент, во мне нет этого чудовищного самомнения «критической личности». И не учить массу пойду я, а учиться у нее, как себя «наладить и пустить в ход» так же, как налажены и пущены в ход единицы, составляющие эту массу.

Прозаик. Ну, конечно же, вы — кающийся интеллигент! Вы всегда исходите из моральных соображений. Теперь у вас такая полоса, когда вам нужно идти в народ и опрощаться. Но бросьте искать нравственных оправданий своего существования, бросьте постоянно думать о том, как на вас посмотрят и что о вас подумают, и вы увидите, что этот вопрос не так уже

неразрешим. Да, надо учиться у массы, и именно в меру того, как вы будете у нее учиться, вы сумеете ее «учить». Я сознательно беру это слово в интонационные ковычки, так как «учительство» искусства — особого рода и не имеет ничего общего с дидактикой и обучением. Вас останавливает проблема: как может художник работать по формированию человеческого материала, когда он сам неустойчивая, душевно-неустроенная личность? В вашем понимании писательской неустроенности этот вопрос аналогичен такому: как может лечить своих пациентов врач, который болен язвой желудка? Или по-евангельски: врачу, исцеляя сам, — и тогда свойственный вам привкус морализирования станет явственным. Но писатель в своем творчестве может выйти за пределы своей бытовой (не социальной!) личности, своих привычек, черт характера, психофизических особенностей. И не только может, но и постоянно это делает. И мы даже в праве сказать, что искусство, выявление социальной природы художника, есть одновременно выход за пределы его бытовой личности. И в этом смысле пушкинские слова о поэте до и во время «священной жертвы» творчества имеют глубокое значение. Отрицая свою бытовую природу, художник в искусстве утверждает свою природу социальную. Нам нет нужды знать, что Вольтер был скуп и стяжатель, Пушкин обладал неуравновешенным характером, Толстой являл образец хорошего семьянина, Тургенев отличался слабохарактерностью, заискивал в светском обществе и порой притворялся в разговоре. В их произведениях эти черты или не сказываются или отступают на второй план. И, может быть, именно то, что вашим глазам представляется как недостаток художественной организации, как раз и помогает такому выходу художника за пределы своего быто-характера. Разумеется, этим вопрос о преодолении профессиональных ущербностей писательского типа не снимается, но — повторяю — надо специфические недостатки художника так увязать с возросшими социальными навыками, чтоб

из «недостатков» они стали «достоинствами».

Вы говорите о претензиях на роль демиурга. Вы значит меня не поняли. Я не настолько наивен, чтобы приписывать искусству такую силу воздействия. Нового человека создает прежде всего изменение социальных, политических, бытовых условий: это азбука. Искусство здесь может являться лишь одним из средств, — и не самым сильным. Сравните, например, влияние литературы с гигантским формирующим действием газеты или общественной практики. Новый завод агитирует лучше нового романа. Градация существует и несомненно. Но вы утверждаете, что никакой социальной функции у искусства нет, — я вам указываю на эту функцию. Она вам кажется слишком скромной? Напрасно. Как ни колоссально влияние газеты, оно касается преимущественно интеллекта. Огромная область эмоций, консервативная и хуже поддающаяся контролю, но часто решающая, задевается ею слабо или вовсе не задевается. Здесь вступает в свои права искусство. Оно захватывает эту сферу так глубоко, как ни один вид агитации. Но искусство имеет дело с целым, неурезанным человеком, с человеком, не рассеченным на две половины, так как оно обращается одновременно и к чувству и к интеллекту. И если его влияние по своей действительной интенсивности, но своему непосредственному практическому эффекту сильно уступает влиянию газеты или устной агитации, то оно зато продолжительнее и затрагивает такие элементы психики, до которых газета не в состоянии добраться. Вы видите, таким образом, что, говоря о тонком и сложном станке художника, я вовсе не льстил писателю и не приукрашал его работу: он и действительно таков, этот станок. И хотя в ряду сил, воздействующих на общественного человека, искусство — далеко не самая могучая, но все же ни одна из них не может быть с большим правом названа психо-формирующей, чем искусство. В общественной практике изменение человека есть непрерывный, но «боковой» результат других целевых

заданий. Человек переделывает себя, переделывая окружающие условия. В искусстве же формирование или культивирование определенного человеческого типа есть прямая, хотя не всегда создаваемая цель. И если я ее ставлю перед вами, перед собой, перед каждым писателем, значит ли это, что я представляю себе писателя как некоего демиурга? С таким же основанием вы можете назвать демиургом журналиста или агитатора, которые ведь тоже принимают участие в переплавке человеческого сознания. Вы неправильно противопоставляете художника массе Художник — не демиург, а орудие самовоспитания общества.

Семена искусства принимаются на уже подготовленной, уже взрыхленной почве. Художник не предписывает обществу путей его развития и не лепит из человеческой глины то, что ему подсказывает его произвол. Он сам — производное общества. Но если «бытие определяет сознание», то значит ли это, что из новых условий автоматически, сам собой получится новый человек, и можно спокойно предоставить времени эту заботу, не ударяя палец о палец? История делается людьми, и та же сила, которая создает новые производственные отношения, вызывает в общественном человеке острое ощущение необходимости переделать свою «природу». И тот, в ком оно будет особенно остро и кто сумеет его соответственно выразить, — художник, — послужит рычагом для такой переделки. Быть активным участником в формировании нового, социалистического человека, — разве это не большая, не ответственная задача?

Поэт. Большая. Ответственная. Но кто ее будет выполнять? Посмотрите вокруг: где вы видите художника, способного это сделать? В лучшем случае он умеет анатомировать, — и тогда перед нами тщательно приготовленный психологический препарат. Зовет ли куда наша литература? Тревожит ли? Нет, она добросовестно отображает. И в этих эпигонских сумерках не завершается ли многовековая история художества, отживающего свое время, ставшего ненужным при-

датком? Разве не все слова сказаны, не перепробованы все сочетания? Разве искусство, наследие той поры, когда мысль наших предков тлела смутным огоньком и они переключались страстными и взволнованными голосами, разве искусство не превратилось в остаточный и бесполезный орган, в роде отростка слепой кишки или рудимента хвоста? И не лучше ли тогда, вместо того, чтобы омолаживать этот умирающий орган, удалить его, хотя бы оперативным путем, так, как удаляют воспалившийся червеобразный отросток?

Прозаик. Вы решительно ушиблены каким-то острым углом искусства, и доводы ваши постоянно возвращаются к одному и тому же месту, как спор в известном украинском анекдоте: «А мы шли? — Шли. — Кожух нашли? — Нашли. — Где же он? — Кто? — Да кожух. — Какой? — А мы шли? — Шли», и т. д. Литература наша отстает от своей эпохи. Это несомненно. Кабинетная и аналитическая, она не в состоянии захватить читателя, который живет жизнью гораздо более полной и напряженной, чем та, которую показывает ему художник. Я понимаю ваше недовольство. Но я понимаю также, я вижу ту закономерность, тот путь, который привел литературу к аналитизму и малому стилю. И для меня это не выражение прогрессирующей атрофии искусства, а только следствие зигзагообразности его эволюции, один из оборотов спирали его развития. И я знаю, что когда оборот завершится, вы сами убедитесь, что спираль подымается вверх.

Спираль подымается вверх. Мы ее должны поднять этими руками, стесковавшимися по тяжести полновесного материала. Нет, не все слова сказаны,—а сколько из них только произнесено, но не реализовано! Мы сверху вниз смотрим на поэзию первых лет революции. Мы пренебрежительно третируем ее, как абстрактную и риторическую. Мы снисходительно смеемся над ее космизмом, над ее декламационным пафосом, этими странностями детского возраста. И, конечно, мы правы,—но той школьной, лакированной, ограниченной правотой, которая недо-

рого стоит. Мы не замечаем, что если мы действительно научились кое-каким элементам мастерства, нехватавшего нашим предшественникам, то в понимании искусства мы бесконечно от них отстали. У них было то стремление к синтезу и большому стилю, которое нами сейчас утеряно. Они оказались не в состоянии его воплотить, их попытки уродливы и безжизненны. Попробуем это сделать мы. Мы больше думаем и больше знаем. Мы окажемся счастливее.

Конечно, не космизм предлагаю я возродить. Это хилое чудовище погребло заслуженной смертью. Я говорю лишь о пафосе большого искусства. Предо мной встают имена Вагнера, Верхарна, Уитмена. В них открываются такие огромные перспективы, от которых кружится голова, привыкшая к комнатному воздуху нашей аналитической и несмелой литературы. Культура энтузиазма, о которой говорил Верхарн, синтетическое искусство, сливающее в себе поэзию, музыку, архитектуру, живопись, искусство больших, торжественных, всенародных форм, которое Вагнер провозгласил как подлинное искусство социализма; демократизм Уитмена; динамика, которая диктуется нашей эпохой революции, динамика, выдвигающая вперед элементы действия, преобразования, активности,—все это только прокламировано, намечено, но не осуществлено, и все это—вехи будущего, указывающие путь. Искусство, основанное на этих принципах, рассчитано уже не на пассивное восприятие слушателя или зрителя—внимательного в лучшем случае, рассеянного—в худшем,—а на активное вмешательство соучастника. Оно становится коллективным, это искусство синтеза, энтузиазма, широких форм,—коллективным не в том смысле, что художественный замысел создается непременно коллективом, но в том смысле, что постепенно стирается различие между исполнителем и зрителем, вовлекаемым в общий поток, и искусство сливает тысячи человеческих единиц в одно целое, в коллектив, исполненный общей волей и чувством. Его роль объединителя людских масс

выступит тогда с особой, почти физической осязаемостью. Характерной формой этого искусства будет, вероятно, форма драматическая — и, может быть, в манифестациях, шествиях, праздниках наших дней мы имеем зародыш такой формы.

Вы недоверчиво улыбаетесь. «Массовое действие»? Вам прожужжали уши этой пышной и многозначительной терминологией, а реальных результатов вы пока что не видели. «Массовое действие!» Не будет ли это чем-то в роде мистерий, перелицованных на современный лад? Торжественное, условное, неподвижное искусство! Мы вспоминаем деление на органические и критические эпохи и восторги Гаузенштейна перед каким-нибудь сверхличным стилем древнего Египта. При этом забывают, что эти «органические», стилиобразующие, «строгие» эпохи искусства на деле — эпохи застоя, что их сверхличность — безличность, что их условность — результат окостенения и господства традиции. Стилль социалистического искусства никак не может быть таким «органическим» стилем, как бы нас ни уверяли иные искусствоведы, но явится своеобразной комбинацией «органического» и «критического» стилей. Он отбросит эту неподвижность, подчеркнутую условность, характерную приниженность человека перед какими-то «внешними», недоступными разуму силами и даст простор для человеческой личности. Он будет реалистическим в смысле безбоязненности и смелости в подходе к миру, элементарной и могучей жизнерадостности, крепкой связи с природой. Но он сохранит грандиозные масштабы

«органических» эпох, внушительность речи, отпечаток единства, создаваемого жизнью больших коллективов, целостность проникающего его мировоззрения. И, конечно, его драматическое «действие», в котором будут разрешаться самые острые и крупные конфликты времени, будет равно далеко и от чистого развлечения и от мистерии. В нем будет ясность, простота, отважность мысли.

Когда я говорю, что драма явится самой характерной формой социалистического искусства, я основываюсь на том, что она предоставляет наибольшие возможности для синтеза разных видов искусства. Но она не будет единственной его формой. Трудно, конечно, сейчас предсказать, что сохранится, а что исчезнет. Но даже и не синтетические формы получают в контексте общего стиля другое значение. Увеличится их напряжение, их действенность. Тонус литературы поднимется, как и тонус человека. Старая культура имеет, быть может, только один пример приближения к такому искусству: Ветховена.

Синтетичность. Энтузиазм. Коллективизм. Динамика. Под этим знаком будет развиваться искусство, если оно хочет сохранить себя как великую социальную силу. Конечно, полного развития такое искусство сумеет достигнуть только при развернутом социализме. Но и сейчас эти веки должны служить нам для того, чтобы по ним прочертить наш путь. И если синтез искусств — дело будущего, то культура энтузиазма, динамика — то, что нам нужно уже сейчас, для стройки сегодняшнего дня.

### 3. ВАЖНЫЙ ШАГ К МАСТЕРСТВУ

(О книге П. Слетова «Мастерство»)

Н. Замошкин

Приятная неожиданность поджидает читателя в недавно вышедшей (изд. «Федерация») книге маленьких повестей П. Слетова. На ней совершенно явственно лежит печать подготовленного, заработанного и неслучайного таланта.

— Ты слышишь? Эта альтовая нижняя дека, я почти ее сделал, она ближе всех к бытию и громче звучит. Но есть и другие, слушай... те едва звучат..

— Стонет дерево—слышишь?

Так шепчет в творческом искусстве нини знаменитый мастер скрипок Лунд-

жи Руджери из гор. Кремоны. В его золотых руках поет не только скрипка, но и любой кусок дерева, заготовленный для инструмента, поет на разные лады, и тогда в ночной тишине из рассыпанных шумов вдруг слагаются «целые объемы созвучий» и стройные квартеты. Луиджи, наследник великих Гварнери и Страдивари, предательски лишенный зрения за вольнодумство своим учеником Мартино, духовным выкорыщем отцов иезуитов, изнемогает в борьбе за воплощение рождающихся в нем замыслов. Но он берет реванш: его рабочая комната наполняется звуками, в которые неведомым образом овеиваются страсти и воля слепого музыканта и скрипичного мастера. На тупой голове иезуитского звереныша встают волосы дыбом... Колдовство! Черная магия! Убить... Убить, чтобы освободить человечество от безбожного врага, — вот какая мысль прокалывает изувеченные мозги Мартино. Рука добровольного защитника алтаря и трона обрушивается на голову вольтерьянца Луиджи. И как замечательно в повести вот это исчезновение звуков в самый момент смерти хозяина их, всю жизнь искавшего своего имени мастера. Мистификация, на которую так рассчитанно, убедительно и встать пошел писатель, обрывается вдруг возвращением в комнату потревоженной тишины. Здесь кульминация прекрасной повести П. Слетова. Каждым моментом своей жизни Луиджи зовет к необходимости овладеть материалом, чтобы ремесло стало мастерством, к труду, одухотворенному талантом. Печальная и мужественная судьба этого человека, одного из немногих представителей блестящего мастерства Италии кануна XIX в., в изображении П. Слетова приняла действительные очертания пушкинской малезькой трагедии.

Подобно хору, прозвучавшему в предсмертные дни Луиджи, повесть «Мастерство» сделана истинно музыкально, с все нарастающим волнением и скрытой торжественностью, а ее части похожи на тщательно распиленные и выдержанные куски альпийского клева, из которого так неподражаемо искусно складывал мастер свои скрипки.

В результате понятие «мастерства», стоящее в заголовке повести, становится автотентичным как для героя, так и для автора. В русской литературе примером подобной слиянности, применительно к данному материалу, являются недавно переизданные «романтические повести» любимудра В. Ф. Одоевского: «Себастьян Бах» и «Последний квартет Бетховена». Почему же все-таки торжествует изуродованный слепотой Луиджи, а не зрячий и сильный Мартино? Потому ли только, что он талантлив, а Мартино — лишь трудолюбивый упрямец, не способный переять секрет мастерства своего учителя, что один из них — Моцарт, а другой — Сальери? Если бы коллизия была взята П. Слетовым именно так, в великом пушкинском объеме, то наш вопрос был бы риторичным. Но в том-то и дело, что современный писатель захотел раздвинуть рамки этой вечной темы. Луиджи не только лично талантлив, но и общественно талантлив, т. е. общественное сознание его передовое, он свободен, в смысле отказа от католицизма, и открыто симпатизирует передовой идеологии своей эпохи, эпохи Великой французской революции.

Для него три сакраментальные литеры Л.Ф.Е. («свобода, братство, равенство») и математический значок бесконечности, которые он выгравировывает на этикетках своих скрипок, бесконечно дороже, как символы политической свободы, всех даров палского благословения. В образе же фанатичного Мартино дан тип общественной косности и художественного покоя, предельного подчинения церковно-деховой обществу. И оба они жестоки. Никаких слез и вздыханий. Луиджи презирает, издевается над своим учеником, а Мартино убивает, подстрекаемый святой инквизицией. Выходит, таким образом, что не только талант и бездарность должны были столкнуться в этой повести, но и два общественных типа, две культуры — буржуазно-революционная и феодально-реакционная. Иначе зачем было П. Слетову именно так распределить свет и тени?

По привлеченному писателем материалу тема повести глубже и шире ма-

стерства, как такового. Слил ли автор эти два параллельных потока в один, чтобы превосходство Луиджи как художника стало естественным именно с точки зрения его общественного бытия? Поставлена ли свобода луиджизма мастерства во внутреннюю связь с его революционным свободным сознанием? Политическая эгалитарность и вдохновенное творчество — переплетаются ли они в одну ткань? А что если бы изувер Мартино был достойным соперником Луиджи в мастерстве, — разве такое сочетание невозможно? Это не кавверзные вопросы, а органические, вытекающие из самой сути слетовской повести. П. Слетов эти два явления, исторически и психологически родственные, разрешил недостаточно: не планиметрически, а лишь стереометрически.

Послушайте, что говорит Луиджи: «Ты играешь на скрипке, а не на мастере. Был ли он безбожником или точил слезы о страстях Христовых — какое тебе дело? Лишь бы скрипка звучала». Иными словами, конечно, этот представитель революционного третьего сословия и не мог выразить своих взглядов на творчество, субъективно он прав, как индивидуалист и художник. П. Слетов всем внутренним ходом действия подтвердил правоту этих слов и не дезавуировал, выражаясь языком дипломатии, это субъективное сознание. Но тем самым он отошел еще дальше от своей двойной темы, требовавшей от писателя не только игры на скрипке, но и игры на мастере — революционере, для которого молодая наполеоновская армия была так же близка и дорога, как этикетка на предметах своего вдохновенного мастерства и как картины Перуджино в кременских храмах.

Несмотря на «историчность» темы, «Мастерство», подошедшее на специфическом материале вплотную к проблеме взаимопроникновения личности и революции, во всей ее сложности и оторужении, для нашего времени обладает многими чертами животрепещущего произведения. Ни одно произведение современной литературы пока не разрешило успешно этой основной

проблемы, требующей синтетического планиметрического охвата. Не разрешил ее и П. Слетов. Вот почему в самом коренном пункте повесть его пока еще не мастерство, в ответственном значении этого слова, а лишь важный шаг к мастерству.

Шло время. Прошел XIX век, век зрелого капитализма, когда свободные художники типа Луиджи еще встречались, и наступил XX век. От Луиджи осталась одна тень. Изошренное искусство отдельных представителей века все больше и больше становилось беспредметным, самодовлеющим, условным мастерством. Крайним выражением этой беспредметности, последним отпрыском свободного художества, которому П. Слетов не отказал в известной идеализации, является... бильярдный игрок Дима Итяков из гор. Петербурга.

Писатели проходили мимо этого распространяемого искусства, звонкого удара, рассчитанного движения, обладающего всеми чертами чистой бескорыстной игры. А между тем именно в этой области мастерство, техника играет всеми красками вдохновения, спортивного воодушевления. В иных (биографических и общественных) условиях Дима был бы не талантливейшим игроком, а мастером любого прикладного искусства, резчиком, часовщиком и пр., где его выучка и увлечение дали бы высокопоучительный эффект. Не даром Дима в часы досуга любил исследовать механизм музыкального ящика и возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики». В нем есть многое от Луиджи, но он несчастлив неустроенностью своего бытия. Поневоле замечательному Диме пришлось спуститься в подвалы пивных и бильярдных комнат. Свою ущербленность и бесполезность существования он чувствует и тоскует, не в силах найти выход и понять причину столь печального положения. Для людей он — отрезанный ломоть, но в своей «мастерской» он — жрец бильярдного искусства. Бильярдная не только источник существования Димы, но и, как говорит П. Слетов, «портник греческого храма». Аркад-

ская академия, художественное училище, где «святость своеобразных традиций» чистой игры довлела над всеми личными интересами. Как многие стороны луджиева мастерства понятны только для «посвященных», так и искусство Димы, окруженное своеобразным ритуалом, принадлежит только ему одному. Трогательный и печальный образ бильярдиста, преследующего все низменное среди своих партнеров, имеющего в лице некоего Поливанова своего идеолога, апологета движения в его совершенном, освобожденном даже от формулы, виде, обязан своим ярким художественным бытием П. Слетову. Подчеркнем, что в выборе персонажа П. Слетов проявил огромную оригинальность, доказав на примере Димы, во что вырождается талант, если он поставлен в вынужденные внеобщественные условия существования. Его уродливое одиночество и жречество, бесполезность его мастерства бесконечно далеки от форм жизни его предшественников с иностранными именами Луджей Руджери и Гваданини. Мастерство с течением времени не только изменило точку приложения своих сил, но и стало подпольным мастерством, загнанным искусством, и люди типа Димы стали никому ненужными.

Луджи и Дима только формально близки друг другу. Почему дереву в руках первого соответствуют поющие кий и шары, со звоном падающие в лузу, второго. Зрители Диминой игры очаровываются благородством его движений. Когда мгновенным взглядом игрока — «точней этого взгляда нет ничего в жизни» — Дима начинает движение «совершенное, как ход паровозного поршня», то все смолкает. Он не потерпит вторжения в его храм грубого расчета, низких поступков (случай с рукоприкладством). В своей частной жизни он не меньший чудак. Наверно и чистосердечно реальна его первая связь с женщиной, с такой же, как и он, вольной и бездумной служительницей своей профессии, с проституткой! Только в ее обществе он сам по себе, ибо для других женщин, надо думать, он презренный горбун и игрок.

«Это было в городе Санкт-Петербурге». Петербург сменился Петроградом, городом войны и революции. Двигательная натура Димы ищет выхода. Зеленое поле бильярдных разляпистых столов слишком узко и как бы безобидно для одаренного страстным движением человека. Водоворот революционных событий втягивает и Диму.

Но вот судьба! Не вычеркнешь прошлого. Рука привыкла к кию; важно направление удара, а не цель. Да и откуда могла появиться цель у нашего героя, — ведь он не Луджи... Влекомый своим искусством удара, вепугнутый событиями, Дима машинально берет винтовку и вступает в уличную перестрелку. Мастерство, долготелая шлифовка глаза и руки проявляются во всей своей бесполезной красоте. С изумительной меткостью опытного стрелка наш Аника-воин бьет, сменив шары на человеческие мишени, в красных, потом в белых. Не все ли равно? Он — зеленый, человек зеленого сукна. И, наконец, падает сам, закатив навеки зрачки. Немезида. Горбатого могила исправит. Самозабвенная жизнь, и еще раз: бесполезное, несвоевременное мастерство. Дима достоин не презрения и издевательств, а сожаления и удивления, как жертва предреволюционного безвременья. Последний удар его кия совпал с первым ударом «Авроры» по Зимнему дворцу. Революция пришла для Димы слишком поздно. «Смелый аргонавт» (так называется эта повесть<sup>1</sup>) — название, несомненно, ироническое для Димы — мечтателя, чудака, артиста, для которого бильярд — единственно доступное ремесло, где мог он укрыться от общественной непогоды Санкт-Петербурга. Глубоко правдив и предостерегающ конец Димы: революции он оказался ненужным, как ненужны на рассвете огоньки уличных фонарей. Клапан открылся слишком поздно. Человек взорвался.

«Смелый аргонавт» ближе по своей художественной полноте к мастерству, чем само «Мастерство». В нем почти все основное и важное учтено и изложено

<sup>1</sup> Читателям «Нового Мира» она известна под названием «Листья», см. 1929 г., № 2.

Голько вот зачем писатель наделил героя таким отчетливым сознанием своей неполноты, чувством выброшенности: «как-будто меня не пускают жить и держат у какого-то бессмысленного порога?..». Ведь в самом-то главном моменте, в уличной перестрелке октябрьских дней 1917 года, Дима вовсе не чувствует своей выброшенности, и его субъективное самочувствие тут не играет важной роли. В решающем всю его судьбу поступке он предельно машинален, продолжая как бы и на мостовой игру в бильярд. «Очеловечивание» героя затуманило образ. То же можно сказать и о «горбе» Димы: он по ходу действия недосугаточен, так сказать, функционален, не является тем чеховским ружьем (прибегаю к этому яркому, часто используемому сравнению), которое обязательно должно выстрелить. Не обязательна также такая деталь, как перенесение в самом конце повести действия в Москву (расчет тут был таков: двигательная сила, заключенная в Диме, бросает его как перышко...). Однако, именно Петербург важен — в нем одном все узлы Диминой, прекрасной в своей уродливости, жизни. Вот почему (надо быть строгим) и эта повесть — при всех своих достоинствах — лишь важная, почти решающий шаг к мастерству.

\* \* \*

Во всяком случае повести П. Слетова отличаются большой сюжетной оригинальностью и почти безукоризненным оформлением. Один уже выбор профессий героев требовал от писателя тщательного знания и вкуса к этим особым профессиям. Мы действительно видим, что автор не меньше своих героев владеет их мастерством. Насколько это немаловажно, пусть судят знатоки. Тщательное знание предметов изображения было для П. Слетова обязательным. Вообще выбор тем у него не случаен, — обстоятельство, встречающееся далеко не всегда в современной литературе. Можно, конечно, с легкой руки бросить ему упрек в «отходе от современности» (скрипичный мастер и бильярдист!), но это будет явным недоразумением. Историче-

скую неизбежность прихода Октября можно показать, изображая не только события на «Авроре», но и происшествия в жизни обреченных людей, подобных Диме, для которых выстрел с «Авроры» был напоминанием о скорой гибели. Итальянский же мастер времени французской революции говорит сам за себя, ибо художник, познавая современность, в праве обращаться к характерным моментам прошлого.

Стилистические особенности «Мастерства» тоже могут вызвать неоправданную, впрочем, недоверчивость к автору. Повесть написана в духе «итальянских новелл и хроник», в жанре достаточно каноническом и ныне не культивируемом. Но ведь все дело в впечатляющей силе произведения. «Итальянская» повесть П. Слетова ею обладает и никак не воспринимается, как что-то отжившее, музейное. Замечательный писатель этого жанра Стендаль сумел из «Хроник» сделать живые шедевры, ибо «любил заниматься перегонкой сухого материала итальянских документов» («Новеллы, хроники и эпизоды», пер. А. К. Виноградова, 1923 г. стр. XLIII).

Искусной перегонкой элементов установившегося стиля в непосредственно действующую, прозрачную по своей структуре и языку повесть занялся, и очень удачно, П. Слетов. В русской литературе до него эту манеру использовали также разные писатели, как А. Волконский (середина XIX века), Д. Мережковский, Б. Зайцев и П. Муратов. Ближе всего, пожалуй, П. Слетов к последнему (Д. Мережковский в своем итальянском цикле очень далеко от приверженности к оригиналам, его «Микель-Анжело», напр., не более, как особая историческая, известная ныне под именем романизированной биографии, беллетристика). Например, эзопозиция их произведений схожа. В «Эгерии» П. Муратова (новелла здесь переросла в роман), как и в «Мастерстве», на первых же страницах приводятся мотивы, почему герои берутся за перо: «судьба сделала меня свидетелем и отчасти участником происшествий, превосходящих уровень повседневности», «запису подробно и без утайки... в назидатель-



ние потомству», и вслед за этим приступают к своей краткой автобиографии. Летописное повествование от первого лица, напоминающее исповедь и бесстрастное сказание о днях минувших, придает этим произведениям внешне-сухой, буднично-торжественный характер. И там и здесь герой — работники искусства, П. Слетову, более чем Муратову, удалось хроникальные свойства жанра преобразовать в собственно-художественные (у П. Муратова речь медлительна, витиевата, содержание перешло подробно, как это и должно быть в «архаике»). Достигнуто это им сведением к минимуму всех традиционных элементов этой формы, он непринужденно свободен в пользовании некоторыми из них. Однако, кое-что существенное осталось: внешняя эмоциональность, например. Драматизм темы показан так, что слышишь только внутреннее биение его. От автора требовалась большая внутренняя со-

средоточенность, чтобы такими средствами вызвать в читателе волнение. Теперь так герои не пишут. У П. Слетова язык и фразировка отличаются истинно-романской ясностью, плавностью и логичностью, переходящей иногда в жесткость.

В «Смелом аргонавте» стилистическая своеобразность П. Слетова не менее отчетливо сказалась. Конечно, здесь он совершенно независим от «хроники», но известная холодность сердца при большой интеллектуальной напряженности и самодисциплине в выборе слов и эпизодов, отсутствие авторской, как выразился один из писателей, подсказанности в приемах характеристики — придают этой повести особый колорит скупости художественно богатого человека<sup>1)</sup>.

Есть много оснований серьезно думать, что П. Слетову предстоит отличительная и богатая писательская будущность.

#### 4. ВОССТАНИЕ ПРОТИВ РАЗУМА

(Новинки французской литературы)

Августа Рашковская

Установилась привычка, уплотнившаяся уже в традицию, утверждать в статьях, литературных разговорах, спорах, что «... в наш век радио, авиации, кино, в наш век научных открытий и технических изобретений литература злужит лишь рупором науки или особенно тонким и чувствительным аппаратом для передачи жизненных вибраций. Быстрота темпа жизни отражается в сжатом, коротком стиле и в быстроте темпов литературного произведения. Старомодный психологический роман вытесняется короткой, энергичной новеллой...». Ну, и так далее. Вероятно, кажется очевидным, что многотомная медлительнейшая эпопея Марселя Пруста или восьмисотстраничный «Улисс» Джамса Джойса — произведения, стоящие в центре всеевропейского внимания, — примеры «быстроты» темпов и «сжатости» стиля. Совершенно ясно, что ни радио, ни авиация, ни кино, ни

теория относительности никаких прямых воздействий на искусство слова и в искусстве слова не имели. Другое дело «обратные» влияния или воздействия, отталкивания и реакции. Они несомненно существуют.

Особенно ярко это ощущается в сегодняшней французской литературе. Там происходит то, что можно назвать «восстанием против разума». В ряде произведений, вышедших в свет в Париже в последние месяцы, произведе-

<sup>1)</sup> Художник, пользующийся таким методом изображения, должен быть постоянно на чеку, чтобы скупость не повредила живости, что и произошло, напр., с П. Слетовым во второй половине его рассказа «Перевозчик» (см. «Новый Мир», книга 11-я за 1929 г.), где сугубо экономические приемы привели важный эпизод рассказа к отходу от жизни, к замораживанию ткани, к изощренному следопытству в духе Кюнан-Дойля, где образная точность стала эвристической, точностью слишком дисциплинированного писателя: насколько естественна и тепла картина встречи гребца с девкой, настолько в этом рассказе безжизненно уместенна сцена допроса гребца.

ний, совершенно отличных друг от друга и часто полярно-противоположных авторов и разных жанров, прежде всего и острее всего сказывается тяга к иррациональному или к мистическому откровению. Новый роман Блэз Сандрара «Le Plan de l'Aiguille» (1929) открывается характерным посвящением Абелью Гансе: «Тебе, мой милый Абель, посвящаю я этот роман не интеллекта или чувства, но животной силы и физиологии. Не ищи в нем ни новой формулы искусства ни новой манеры письма. В нем есть зато лозунг выздоровевшего общества, завтрашнего дня — отказ от рассудка. Кто хочет стать ангелом, делается зверем. Да здравствует человек!» Трудно определить жанр этого романа, одновременно авантюрного, психологического, фантастического, то переносящего вас в довоенный Петербург и рисующего быт петербургской богемы и «знаменитой» «Бродячей собаки», то забрасывающего своих героев в невероятнейшее путешествие в полярным странам. В поисках «самого себя» герой романа Дан-Жак, «герой нашего времени», бросается в прямо-противоположные стороны, создает самые рискованные предприятия... Как-будто так трудно спастись от здравого смысла, угрожающего миру!

Роман еще не закончен. Впрочем, уже и теперь очевидно, что сам Блэз Сандрар интереснее своего героя и что его интеллектуальные приключения эффективней выдуманных приложений Дан-Жака. Соратник Аполлинера, один из главных зачинщиков новой французской поэзии, искатель необычного, солдат империалистической войны (потерявший в бою руку), автор «19 эластических поэм» и 19 страничек рассказа о войне «Я убил», выделяющихся среди антимилитаристической западной прозы наших дней, — Блэз Сандрар, человек с насмешливыми глазами и острым интеллектом, ищет обновления в «отказе от рассудка».

И в этом, (расходясь во всем остальном) ему вторит Жан Кокто в своем последнем романе «Les Enfants terribles» (1929). «Les Enfants terribles» — это повесть о снах, о видениях, о бреде...

В центре Парижа, на Монмартре двое подростков-сирот, брат и сестра, живут, отгороженные от реальной жизни причудливой психикой (или психозом), в вымышленном мире фантазий и сомнамбулических упоений. «Это были великолепные создания, совершенно лишённые интеллекта». — говорит Кокто о своих героях. Реалист, натуралист, самый жесткий рационалист тоже мог бы написать роман с галлюцинирующими героями, книгу о бреде, видениях и снах. Но Кокто сам пишет, как в бреду, сам верит в «высшую реальность» грез и для него, как и для Шопенгауера, мир — это «представление» о мире. Первая часть формулы — «воля» — конечно, выпадает. При первом же столкновении с настоящей жизнью герои Кокто погибают, кончая один за другим самоубийством. Но правда на их стороне. Так думает Кокто.

Так думает, так хочет думать буржуазия Запада, тот класс, к которому принадлежат и Сандрар и Кокто. Сюрреализм, с которым соприкасается Кокто, как-будто противопоставляя себя сытому и скучному буржуа, однако, в сущности расцветает, как крайнее выражение философии того же класса, но деградирующего, склоняющегося к упадку... «Сюрреализм, — гласит манифест этой группы писателей, — это диктовка мысли в отсутствии всякого контроля со стороны разума». Восстание против разума захватывает обширнейшие и, казалось бы, наиболее удаленные от бунтовщических помыслов такого рода территории французской литературы. Жюльен Грин, молодой талантливый писатель, реалист, доводящий свое наблюдение над явлениями до великолепной, почти жестокой точности, в своем новом романе «Левинафан» (1929) вычерчивает, однако, двупланный чертеж мира. Вы как-будто бы находитесь в конкретной обстановке современной французской провинции. Вы как-будто бы находитесь в мире, управляемом неотвратимыми законами экономики, статистики и психологии: перед вами жизнь маленького городка, скандальная хроника провинциальных будней, застывшие черты героев, —

все это подается Грином с детализацией, равной здесь жестокости. Но «видимость» и «ощутимость» конкретного мира — лишь маска на подлинном лице вещей — абстрактных, нематериальных, «сверхреальных» (чтобы не сказать «сверхъестественных») сил. Параллелизм планов — вот основа «геометрии» Грина. И в конечном счете все-таки приоритет «скрытых» сил над явными, победа стихии (по теме романа — стихийная власть страсти, разрушающая человека) над разумом. Стараюсь во что бы то ни стало разрешить загадку «явного», современный писатель Запада создает «тайны полуденного часа», тогда как время тайн — полночь — уже давно отзвонило в творчестве символистов, романтиков, нео-католиков и всяческих мистиков.

На опасное распространение своеобразного восстания указывает еще и то, что этот аристократический заговор, начавшийся на «верхах» литературы, проникает теперь и в литературу «среднюю», «второсортную», как определил бы ее Майкл Уэбб, герой вудвордовского романа, автор «теории второсортности». Типичный «второсортный» роман Гомена и Сэ «Plus vrai que la vie» (1929), например, рисующий «клинический» случай наследственного «мечтательства», пытается сквозь всю путаницу авантюрных походов и бредовых видений героя (кстати сказать, мелкого провинциального нотариуса) провести мысль о том, что игра воображения, бредовые мечты «действительной, правдивой жизни». И в какую сумятицу фантастики и ложно понятого «индустриализма» погружают авторы читателя затем лишь, чтобы увенчать удачливого нотариуса, остроумно решившего «загадку жизни», трудно себе даже представить.

Мы вовсе не желаем затушевывать тот факт, что на ряду с мистическими тенденциями и тягой к иррациональному в сегодняшней французской литературе существует большой интерес к документации, к очеркизму, к репортажу большого стиля, чему свидетельство «индустриализованное производство» *biographies romancées* и широко распространенный жанр путевых

очерков. Но, останавливаясь на нескольких книгах этого типа, вышедших в последние месяцы в Париже, видишь, как глубоко отличается заграничная продукция «литературы факта» от нашей. На Западе «документ» подается в лирическом оформлении. Автор прежде всего и главным образом (где бы он ни был, что бы он ни видел) рассказывает о себе: объективность факта презирается. Ведь быть объективным — это значит смотреть глазами многих, это значит участвовать в плебисците, это значит потерять свою индивидуальность, чего больше всего боится западный писатель-индивидуалист. Оттого люди, едущие на край света, заняты главным образом собственными переживаниями, смакуют неожиданные ассоциации, в изысканной форме выражают неодобрение «пришедшему» миру и, в конце концов, больше всего оживляются, описывая возвращение в Париж. Таково наше впечатление и от блестящей книжки Анри Мишо «Equador» (1929).

Что касается романа-биографии, то эти *biographies romancées* основаны на «подлинных» документах, большинство из которых... не основано ни на чем. Такова научная ценность этого жанра по мнению критика «La Revue de Paris» Анри Биду.

Но еще «несомненной» в смысле восстания против разума отбор «романизированных» жизней: после серии «Великих Куртизанок» появляется в изготвлении Мура и Луве «La vie de Vatel». Ватель? Но, может быть, это имя ничего не говорит вам? Напрасно. Ватель — величайший кулипар Франции; жил в XVII веке и служил поваром при дворе принцев Конде. Его смерть являет собой высокий пример чувства профессионального долга: не перенеся какого-то упущения за королевским столом на празднике, данном маршалом Конде в честь Людовика XIV, Ватель на месте пронзил себе грудь шпагой.

Здесь тоже своеобразный возврат к «простым душам» (наивным героям), к утраченному примитиву и если не восстание против разума, то — презрение к нему.

## Книжное обозрение

1. ВЕРА ИНБЕР «Так начинается день». Н. Виленской. — 2. Р. ФРАЕРМАН «Буран». Бориса Анибала. — 3. М. КОНСТАНТЭН-ВЕЙЕР «Человек над своим прошлым». Я. Фрида. — 4. М. АРОНСОН и С. РЕЙСЕР «Литературные кружки и салоны». И. Сергиевского. — 5. И. М. ФАЙНГАР «Америка и Европа в мировом хозяйстве». А. Бонч-Осмоловского.

**Вера Инбер.**—«Так начинается день». Изд-во «Пролетарий». Стр. 162. Ц. 1 р. 50 коп.

Миниатюры эти фиксируют все то, что течет ежедневно мимо нас, запечатлеваясь лишь в подсознательном. Это бытовые зарисовки с натуры, окрашенные особой манерой художественного восприятия.

В. И. не гонится за ультра-идеологией, но путь, прорезанный ею от первых будничных произведений до последней книжечки рассказов, говорит о том, что продвижение в сторону «полного принятия революции» не идет в ущерб дарованию писательницы.

Все больше и больше освобождается она от лишнего эстетизма, экзотики, игрушечности и других «грехов молодости».

Жизнь советского человека, хорошее и плохое, новое и пережитки старого, трогательное и возмущающее изображены с обычной для В. И. формальной выразительностью и оригинальностью. Уменьше подмечать в мелком значительное, в будничном — праздничное, лирические отступления, эскизы в область прошедшего и стремление заглянуть в будущее делают их особо насыщенными.

Вот провинция. Там еще вольно разгуливает по улицам сонное окуровское бытие. Оно в гитаре, в подсолнухах, в господе бже, в «том» и «этом» берегу. Но сквозь него неуверенно пробиваются молодые побегы будущего.

Москва уличная, базарная, трамвайная, бульварная, Москва спящая и бодрствующая, суетливая и пусты-

ная, меняющаяся в окраске дня и ночи, мастерски изображена Верой Инбер.

В рассказе «От хорошей жизни» хорошо передана преображенная психика полетевшего человека, почувствовавшего через аэроплан «качественное изменение жизни».

Интересен рассказ «Весна в зеркале». Ответственный работник, ушедший с головой в работу, утрачивает связь с внешним миром, перестает замечать его, реагировать на него, превращается в манекен, автоматически двигающийся по заведенному порядку.

Есть у В. И. свойство одновременно положительное и отрицательное. Ей удается изображать хорошие, светлые стороны жизни. Заклеймить, изобразить она не умеет; ей не хватает силы, резкости. Уродливые, нездоровые явления она дает не в сатирическом, а в юмористическом разрезе, завуалированном смягчающей, снисходительной дымкой.

Особняком стоят рассказы, посвященные нашим советским журналистам. Много, что о них говорится, применительно к самой В. И. Подобно Л. Рейснер, ее богатство — в сравнениях, «в чем, быть может, оказалась женская сущность со свойственной ей любовью к вещам». Характерные для В. И. сравнения чаще логически обдуманы, чем интуитивны. Иногда же они получаются вообще слишком заумными. «Волга еще течет медленно, как астраханский верблюд, пережевывает Стежку Разина» (?).

Образов живых людей у В. И. не получается, но неодушевленные вещи,

наоборот, приобретают под ее пером особенную одухотворенность. Самолет, книжка, кастрюлька превращаются в живые существа.

Сфера В. И. — повествование, описание. Диалоги у нее надуманы. Даже дети, которых она так любит, говорят не по-настоящему. У Веры Инбер нет еще ясно выраженного мирозерцания и общих перспектив. Но вместе с тем ее очерки, пронизанные особой лирической настроенностью, глубокой верой в непрерывное совершенствование жизни, оставляют цельное, органическое впечатление, трогают ум и душу.

В заключение еще хочется отметить уменьше В. И. одной последней фразой рассказа суммировать его сущность, раскрыть основную мысль: «В этом все, что еще можно добавить к этому».

«Нет, дружок, теперь тебя не оправдает никто».

«Если ты пришел к занятому человеку, скорей принимайся за жизнь».

«Я думаю о хорошей, о прекрасной жизни, когда полетят все».

*Н. Виленская.*

**Р. Фраерман.**—«**Буран**». Повесть. Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 154. Ц. 85 к., папка 15 к.

«Буран» — повесть о дальневосточных партизанах, действие которой в главной своей части разворачивается в маленьком городке на Амуре.

В окружении японцев и еще неразбитых белых партизаны, руководимые анархистами всех оттенков, на своем пути к большевизму медленно преодолевают их влияние, пока, наконец, уже на последних страницах повести, главного из них — Котова — не расстрелявают.

Но все это служит лишь фоном для описания сердечных страданий партизана Семена и его влечения к поповне с пухлыми губами, дочери расстрелянного партизанами протоиерея, в доме которого стояли японцы.

Семен — бывший студент и типичный интеллигент, плачущий на субботнике «в восторге от непонятной, изумительной силы революции» (стр. 92).

Содержание повести без особой натяжки может характеризовать следующая фраза:

«Он (Семен) говорил еще о революции, держа на ладонях конец Марусино платка, и казалось, что слова застревают в его пушистых петлях. Тогда он замолчал и поцеловал теплые колени Маруси» (ibid).

Вот эти разговоры о революции и хватанье за теплый платок поповны снижают труды и дела Семена как партизана, храбро дравшегося и вынесшего на своих плечах все тяготы боевой жизни.

Когда их роман завершился разрывом, для Семена «даже революция, классовая борьба, коммунизм, — все, что так хорошо усвоил он за этот год из книжек и разговоров, все, что до сих пор было таким понятным и необходимым, вдруг стало ненужным и безразличным. К чему это все!» (стр. 150).

Несмотря на то, что свое упадочное настроение Семен в конце концов все же преодолевает, читатель к этому преодолению не чувствует никакого доверия, тем более, что оно наступает совершенно внезапно, на самой последней странице.

Написана повесть довольно грамотно и местами не лишена известной живости, но в общем она не поднимается над тем средним, почти стандартным и унылым уровнем, к которому мы так привыкли и который терпим, скрепя сердце, просто потому, что хороших произведений всегда немного.

*Борис Анибал.*

**М. Константэн-Вейер.** — «**Человек над своим прошлым**». Перев. с франц. Моргулиса с предисл. Ив. Анисимова. «Земля и Фабрика». М. - Л. 1929. Стр. 136. Ц. 85 к.

«Великое белое безмолвие», ставшее благодаря Джеку Лондону литературным героем, продолжает играть эту роль и после его смерти. Но в творчестве «французских Джеков Лондонов» — Л. Рукета (типичного эпигона) и М. Константэн-Вейера — на фоне традиционного белого безмолвия и пафоса безмолвной борьбы со стужей по-

является мотив уныния, разочарованности, отечественного шатобрианства. У Рукета — до отказа наивный, примитивный «кино-шатобрианзм» (ах, — там, в цивилизованном мире осталась о па, ж-жестокая!). У Константан-Вейера — узор сложнее и литературная ткань доброкачественнее. Но и здесь в сверхающие снега Канады рядится мешанина трагикомедия неувыдаваемой адюльтерной схемы, и к обширнейшей галлерее литературных персонажей-рогоносцев присоединяется экзотический рогоносец-ковбой, рогоносец-авантюрист, делец. Обманутый муж, борющийся с природой по Д. Лондону и переживающий чуть ли не по Бурже, — если это и не образ современного Шатобриана, то, во всяком случае, нечто в роде литературного меланхолического фокстрота.

Но вместе с тем наш авантюрист-ковбой, так любящий Шекспира и Паскаля и умеющий так тонко напомнить, что первыми колонизаторами Канады были французы (а не эти англо-саксы, уничтожившие индейцев), — наш «герой» не является литературной окаменелостью, неумело загримированным персонажем Лондона (как персонажи Л. Рукета). Он, в сущности, неотделим от своего бытового окружения, для которого так характерен пафос борьбы за благосостояние, «пафос ренты», и хотя психологизм романа довольно примитивен, но уже само по себе то обстоятельство, что наш делец-авантюрист добросовестно старается нудно, как полагается, переживать и мучительно анализировать свои переживания, — уже одно это свидетельствует о связи данного образа с человеческими образами произведений среднебуржуазных и мелкобуржуазных современных французских писателей, которые, от Дюамеля до Жюльена Грина, с одинаковой настойчивостью, но с различным успехом анализируют «ущербную» внутреннюю жизнь надломленного, неудовлетворенного растерянного мещанина, претендующего на роль «стержневого героя» современной литературы.

Психологизм повести Вейера, как бы «благородивший» примитив северной

экзотики и в то же время в достаточной мере поверхностный, чтобы не повредить читабельности этой умело, сжато написанной книги, дал возможность присудить автору повести Гонкуровскую премию.

*Я. Фрид.*

**М. Аронсон и С. Рейсер.** — «Литературные кружки и салоны». Редакция и предисловие Б. М. Эйхенбаума. Изд. «Прибой». Л. 1929. Стр. 312. Ц. 3 руб.

О том, что монтаж и сводка документальных материалов по тому или иному вопросу представляют собою явления скорее антиномичные, чем родственные, говорилось в последнее время достаточно много. К сожалению, под модной вывеской монтажа продолжают появляться вещи до такой степени никому и ни для чего не нужные, что поневоле приходится вновь и вновь возвращаться к этой надоевшей истине. К ввиге Аронсона и Рейсера вышеприведенная оценка может быть отнесена в полной мере.

Литературные общества, кружки и салоны — тема, вообще говоря, не новая в нашей историографии. Материал здесь собран обильный и разнообразный, во всяком случае вполне достаточный для того, чтобы от голого описания можно было перейти к историко-литературному изучению проблемы.

Сейчас, когда вопросы социального бытования литературы стоят в центре нашего внимания, такое изучение могло бы быть особенно интересным и плодотворным. Различные типы литературных объединений, их место в процессе производства эстетических ценностей и в процессе их распределения, их организационные функции в различных социально-бытовых формациях литературной жизни — все это темы, стоящие сейчас на повестке дня.

К сожалению, этой углубленной проработке вопроса наши авторы предпочли такой метод работы, при котором основными производственными орудиями являются ножницы и клей. Что получилось в результате? Научной

монографии не получилось, ибо она и не входила в намерения авторов. Монтажа тоже не получилось, ибо монтаж обязательно предполагает известную фабулярность компануемого материала, некоторый заранее предустановленный порядок в соотношении отдельных его частей. Получилась скорее всего весьма примитивно и поспешно сколоченная хрестоматия по кружкам и салонам, не подводящая никаких итогов и не открывающая никаких перспектив, ненужная ни квалифицированному читателю, которому сгруппированные в ней материалы и так хорошо известны, ни читателю середняку, которому они все равно ничего не дадут вне историко-литературной их интерпретации.

Правда, кое-какие намеки на такую интерпретацию в книге имеются. Такова, повидимому, роль большой вступительной статьи, предпосланной документальному материалу. Но и здесь по какой-то странной нерешительности автор не идет дальше самых скромных попыток дать некоторую дифференциацию различного рода объединений и наметить общую схему их исторического развития. Во всем остальном она как две капли воды напоминает аналогичные по теме работы представителей старой академической историографии. То же повышенное тяготение к внешней, узко фактической стороне обследуемых явлений, та же боязнь выводов и обобщений. Те вопросы, которые выдвигает при изучении салонно-кружковой культуры современная историко-литературная наука, не затронуты вовсе.

О комментариях лучше не говорить. Авторы и не пытались сколько-нибудь серьезно овладеть этим довольно сложным искусством, предпочитая вместо объяснения отдельных моментов, остающихся неясными в документальном материале, предложить под видом комментария простой пересказ этого материала.

В общем, на путях современного научного литературоведения рецензируемая книга — полный и абсолютный провал.

*И. Сергеевский.*

**И. М. Файнгар. — Америка и Европа в мировом хозяйстве.** Популярная серия «Мировое хозяйство» под ред. Ш. М. Дволайцкого и Н. Г. Петрова. «Московский Рабочий». М.-Л. 1929. Стр. 124. Ц. 1 р. 10 к.

Рецензируемая книжка имеет задачей обрисовать пред читателем роль Европы и Америки в мировом хозяйстве. Фактически книжка трактует об экономических отношениях между Соед. Штатами и странами европейского континента. Правильнее было бы озаглавить ее «Соед. Штаты и Европа в мировом хозяйстве». В самом деле, удельный вес других, кроме Соед. Штатов, американских государств в мировом хозяйстве невелик, и ось мировых противоречий проходит между Соед. Штатами и Европой, а не между неопределенным конгломератом находящихся на разном экономическом уровне стран американского континента и европейскими государствами.

В пределах задачи осветить экономические отношения Соед. Штатов и Европы автор дает достаточно полный и удачно подобранный материал. Основные выводы автора сводятся к следующему.

Соед. Штаты включены в сферу единого мирового хозяйства и связаны с Европой многообразными нитями взаимной зависимости. Неравномерность развития капитализма в отдельных странах, конкуренция на рынках сбыта товаров, борьба за сырье родят соперничество между Соед. Штатами и европейскими государствами, имеющими до известной степени общие интересы в борьбе с могуществом Соед. Штатов. Ряд благоприятных факторов вызвал перемещение центра мирового хозяйства из стран старой Европы за океан. Здесь производится основная масса главнейших товаров, здесь сосредоточились главные богатства человечества, наибольшее количество золота. Концентрация и рационализация производства вызвали в Соед. Штатах такой рост излишков, что американское хозяйство за последние годы переросло потребности внутреннего рынка, стало на путь борьбы за рынки и в этой борьбе вынуждено было столк-

путся со странами старого капитализма. В борьбе за сырье и рынки на стороне Соед. Штатов целый ряд преимуществ, однако, по мнению автора, «представление о победоносном завоевании американским империализмом всего земного шара, и в первую очередь Европы, для нашей эпохи следует признать по меньшей мере преждевременным... окрепшая Европа пытается в ряде областей вернуться к своей довоенной роли» (стр. 82, 83). Европа вновь обрела конкурентную способность на мировых рынках. Удельный вес Европы в мировом производстве за последние годы повышается. Некоторые отрасли европейской промышленности растут быстрее, чем в Америке. Рост мировой торговли идет главным образом за счет увеличения внешней торговли европейскими стран. Это оздоровление создано благодаря вкладам Соед. Штатов в европейское хозяйство. Возврат этой задолженности может быть произведен только путем развития европейского экспорта в Соед. Штаты. Но американский рынок охранен высокими таможенными пошлинами. Создается неустрашимое противоречие между Америкой и Европой. Для погашения задолженности нужен импорт европейских товаров в Соед. Штаты, но этот импорт противоречит интересам американского промышленного капитала.

Америка стоит перед дилеммой или допустить европейские промышленные товары для погашения долгов, но тем обострить кризис сбыта американских товаров, или, продолжая политику протекционизма, сделать проблему возврата долгов не только не разрешимой, но и осложняющейся с каждым годом.

Притекшие в Америку из Европы капиталы в оплату военных поставок стали возвращаться в Европу путем вкладов и кредитования европейской промышленности. Это укрепило европейское хозяйство и способствовало усилению капиталонакоплений в самой Европе. Американский капитал сам укрепил своего соперника, борьба с которым крайне осложняет вопрос о размещении излишков американской продукции. Разжиревшее американское хозяйство вступает в полосу депрессии и кризиса. Таков тупик, в который зашел мировой капитализм в разрезе европейско-американских финансовых и торговых отношений.

Т. Файнгар описывает эти отношения достаточно выпукло. Кое-где приводимые им данные не в ладу с официальной статистикой, кое-где можно было бы дать более свежие цифры. Приводимые им сведения об инвестициях американского капитала в Европе — кроме военных займов — довольно смутны.

*А. Бонч-Осмоловский*